

# И. Грекова

## На испытаниях

Повесть.

Рассказы



2002

УДК 882

ББК 84(2Рос-Рус)

И 52

Художественное оформление и макет  
*Андрей Бондаренко*

**И. Грекова**

И 52 На испытаниях. — М: Зебра Е, ЭКСМО, 2002.  
— 304 с.

**ISBN 5-94663-066-3**

«Они уезжали, а он оставался. Потом они улетят в Москву, всякие там свои диссертации писать, а он опять останется. В степи, в жаре, в мошке. Жара не жара — вкальвай. И всегда так. Приедут, поглядят, покрикуют — и снова к себе, на север. Дождь у них идет. Мостовые блестят, девушки в разноцветных плащах, как розы. Москвичи, сукины дети».

**ISBN 5-94663-066-3**

© И. Грекова, 2002

© Издательский Дом «Зебра Е», 2002

© А. Бондаренко, оформление, 2002

# НА ИСПЫТАНИЯХ

*Повесть*

## Полетный лист

1.07.1952 г.

БОРТОВОЙ № 18 942

Командир корабля л-т *Ночкин А. В.*

### Список пассажиров

№ п/п	в/звани	Ф. И. О.	Примечание
1.	генерал-майор ИТС	Сиверс А. Е.	
2.	инж.-подпол- ковник	Чехардин Д. Г.	
3.	инж.-майор	Скворцов П. С.	ответств.
4.	гражд.	Теткин Н. Т.	
5.	гражд.	Ромнич Л. К.	
6.	гражд.	Джапаридзе М. Г.	
7.	гражд.	Манин И. Ф.	

Начальник

*О. П. Луговой* (подпись)

Летнее подмосковное утро только еще начинало просыпаться, потягивалось. Полегшая за ночь, седая от росы трава потихоньку выпрямлялась, скатывая по усам тяжелые ртутные капли. Деревенскими голосами перекликались петухи. На летном поле неподвижно застыли самолеты, похожие на больших, чем-то озабоченных рыб. Раннее солнце ярко отсвечивало на скошенных крыльях. Тугой прохладный ветер надувал над метеобудкой длинный шахматно-клетчатый «чулок». Ветер был с северо-запада, благоприятный.

У служебного здания на низких скамейках, поставленных буквой «П», расположились люди с чемоданами в ожидании вылета. Опрятный желтый песок площадки, надпись на фанерном щитке «Курить только здесь», урны, сделанные из корпусов авиационных бомб, — все это придавало обстановке деловой, аэродромный характер.

Ответственный за предстоящий полет майор Скворцов, высокий загорелый офицер в полевой форме, узко перехваченный в поясе ремнем, быстрым, озабоченным шагом переходил с места на место и казался поэтому находящимся сразу везде. Стальной нержавеющей зуб сверкал у него во рту. На большом ящике с черной надписью «Не кантовать!» сидел немолодой худощавый генерал, зябко засунув руки в рукава серого плаща с голубыми петлицами. Он как будто спал. По крайней мере,

глаза его за стеклами очков были покойно закрыты. Несколько человек хлопотали у багажа. Высокая женщина в брюках, циркулем расставив длинные ноги, осторожно передвигала ящики с приборами. Ей помогал среднего роста, плотный человек в гражданском, с блестящей коричневой лысиной. Он для чего-то поднимал каждый ящик и, покачивая, подносил к уху. С одним ящиком он замешкался и поднял палец.

— Теткин, в чем дело? — спросила женщина.

— Перекат содержимого, — с видимым удовольствием ответил Теткин. — Недопустимый перекал содержимого.

— Фу-ты, как пышно, — сказал, прислушавшись, артиллерийский офицер с изможденным лицом и блестящими, неистово-светлыми глазами. — «Перекал содержимого!» Замечали, как любит казенщина обрастать цветами красноречия? Современный церковнославянский язык! На днях еду по улице и читаю — что бы вы думали? — надпись: «Объезд разрытий!» Каково громыхание? Истинный перл канцелярской поэзии. Слог, достойный Тредьяковского!

Худощавый генерал приоткрыл один глаз и спросил:

— Кто здесь поминает Тредьяковского?

— Я, товарищ генерал.

— А, подполковник Чехардин! Рад вас видеть. Я тут приспнул немного и слышу: голос как будто знакомый и, как всегда, разводит демагогию. Насчет Тредьяковского вы зря. Читали вы его? Или так, понаслышке, судите?

— Должен признаться — понаслышке, — ответил Чехардин, скомкал папиросу и сразу же зажег другую. — Не успеваешь как-то следить за современной литературой.

— А напрасно. Надо бы прочесть. А ну-ка, кто из присутствующих читал Тредьяковского?

Теткин с готовностью открыл рот и сказал:

— Екатерина, о! поехала в Царское Село...

Генерал сморщился, как от боли.

— Ну, вот. Снова я слышу про эту несчастную «Екатерину, о!». Это апокриф.

— Что, товарищ генерал?

— Апокриф, — повторил генерал. — К вашему сведению, апокрифом называется произведение на библейскую тему, признаваемое недостоверным и церковью отвергаемое. Убежден, что никакой «Екатерины, о!» Тредьяковский не писал. Это был один из величайших поэтов России! Вот, например... — Генерал нахмурился и, понизив голос, торжественно произнес:

Вонми, о небо, я реку!  
Земля да слышит уст глаголы.  
Как дождь я словом протеку,  
И снидут, как роса к цветку,  
Мои вещания на доли...

— А и в самом деле неплохо, — заметил Чехардин.

— «Неплохо»? Замечательно! Какое величие, какая сила! «Вонми, о небо, я реку!» Ну, кто еще из российских поэтов решился бы так, запросто, разговаривать с небом?

— Маяковский, — сказал Чехардин. — «Эй вы, небо!»...

— А? Правда, я и забыл, — генерал снова закрыл глаза.

Прерванный спор Теткина с длинноногой женщиной возобновился.

— Так вы же сами паковали, — досадливо сказала она, — а придираетесь.

— Самокритика — движущая сила, — ответил Теткин и засмеялся. Засмеявшись, он сразу похорошел. Зубы у него оказались крепкие, крупные, выпуклые, как отборные ореховые ядра. Блестящая приветливая лысина его не старела.

Майор Скворцов подозвал к себе Теткина.

— Кто такая? — спросил он вполголоса, указав подбородком на женщину.

— Это? Лидка Ромнич, наш конструктор. Мировая баба, даром что тощая. А ты разве ее не знаешь?

— Что-то слышал. Из группы Волкорезова, по боевым частям?

— Ага.

— Я думал, Ромнич — мужчина.

— Многие так думают. А как она тебе?

— Больно уж некрасивая.

— А по-моему, ничего. Впрочем, я уже привык.

Из служебного здания вышел высокий вялый летчик в обвисшем комбинезоне. Скворцов подошел к нему.

— Послушайте, где тут все ваше начальство?

— А что?

— Мы с группой сотрудников и багажом прибыли для специального рейса в Лихаревку. Полетный лист у меня. Вылет назначен на шесть сорок. Почему не дают вылета?

Скворцов говорил с военным щегольством, подчеркивая официальность и беглость речи. Летчик, не отвечая, уминал табак в трубке.

— Кто командир корабля? — спросил Скворцов.

— Ну, я, — неохотно ответил летчик.

— Я вас спрашиваю, когда вылет?

— Когда полетим, тогда и полетим.

Скворцов обозлился:

— Потрудитесь отвечать, как полагается, и назвать себя.

Летчик неохотно вытянулся:

— Командир корабля лейтенант Ночкин.

— Так вот, товарищ лейтенант, я вас спрашиваю: почему задерживаете рейс?

Летчик снова обмяк в своем комбинезоне и задумчиво сказал:

— Погоды не дают.

— Ерунда! Я справлялся на метео: погода есть. В чем дело?

Лейтенант Ночкин указал трубкой на Лиду Ромнич:



— Членов семейства на борт не беру. Не имею права.

— Что за бред! Это не член семейства, а конструктор боевых частей. Конструктор Ромнич. Неужели не знаете? Эту женщину во всем Союзе знают.

— Не знаю, — сказал Ночкин. — Все равно — женщина. С женщиной на борту не полечу. Пока не будет специального распоряжения.

— Так она же внесена в полетный лист! Смотрите, под номером пять Ромнич Л. К.

— Мало ли что внесена. В полетный лист и кошку внести можно.

Ночкин стукнул трубкой по колену, отвернулся и пошел к небольшой двустворчатой будке, ярко сверкавшей на солнце свежими буквами «М» и «Ж». Не туда же за ним идти? Скворцов вернулся к ожидающим.

— Что там за задержка? — спросил генерал.

— Командир корабля лейтенант Ночкин отказывается брать женщину на борт.

— А разве с нами женщина?

— В некотором роде. Ромнич, конструктор боевых частей.

— Вот уж истинно сказано, — съязвил Чехардин, — «где кончается порядок, начинается авиация». На вашем месте поставил бы я этого Ночкина по стойке «смирно», по уставу, как положено стоять перед старшим по званию...

— Нет, — возразил Скворцов, — это, знаете, не в духе наших авиационных традиций. Устав уставом, а командир корабля при всех обстоятельствах — персона грата. На него словно бы устав не распространяется... Впрочем... Поговорили бы вы с ним, товарищ генерал!

— А я чем могу помочь?

— Все-таки генеральские погоны...

— Ну, ладно уж. Иверскую подняли, — сказал генерал, вставая, и двинулся в сторону будки.

— Эх, авиация! — опять желчно поддразнил Чехардин. — Это даже у Теркина отмечено: «Лишь в согласье все подряд авиацию бранят...»

— К сожалению, на пушке не полетишь.

— Что верно, то верно.

— Вот увидите, генерал Сиверс его уговорит.

Тем временем лейтенант Ночкин уже возвращался из будки. Генерал Сиверс подошел к нему. Ночкин вытянулся, держа трубку у колена.

— Здравия желаю, товарищ генерал.

— Здравствуйте. Если не ошибаюсь, лейтенант Ночкин?

— Так точно, товарищ генерал.

— А это что у вас, лейтенант Ночкин? — спросил генерал Сиверс, указывая тонким, ехидно искривленным пальцем на самолет.

— Самолет, товарищ генерал.

— А, самолет? А я думал — летучий мужской нужник.

— Какой нужник, товарищ генерал?

— Мужской. Знаете? «М» и «Ж». Напрасно вы на дверце своего самолета не изобразили «М». Было бы куда проще.

— Я вас не понимаю, товарищ генерал, — мучаясь, сказал Ночкин. — Это самолет, а не нужник.

— Нет, видимо, зрение вас обманывает, и это именно нужник.

Ночкин стоял, мрачно уставившись в землю.

— Вы шутите, товарищ генерал?

— Что вы, это не я шучу. Это шутка великого математика Давида Гильберта. Слыхали про такого?

— Никак нет, товарищ генерал!

— Ну, вот, — горестно вздохнул Сиверс. — Придется мне заняться вашим образованием. Слушайте. В прошлом столетии знаменитая женщина-математик Эмми Нётер, ранга нашей Софьи Ковалевской... тоже не слышали?

— Никак нет, товарищ генерал.

— Эх вы! Так вот, когда Эмми Нётер баллотировалась в профессора Геттингенского университета, ученые мужи вашего типа отклонили ее кандидатуру: она-де женщина, а членом университетского сената женщина быть не может. Узнаете аргументацию, а?

— Так точно, товарищ генерал.

— И тогда великий математик Давид Гильберт, о котором вы никогда не слышали, что не мешает ему быть великим, задал вопрос председательствующему. — Тут генерал быстро и отчетливо произнес несколько слов по-немецки. — Вы меня поняли, лейтенант Ночкин?

— Никак нет, товарищ генерал. Английский с школы не повторял, подзабыл.

— К вашему сведению, это был не английский, а немецкий, и означало это следующее: «А что, сенат разве баня, что в него нет хода женщинам?» Не правда ли, остроумно?

— Так точно, товарищ генерал.

— Ну, а теперь, вооруженный передовой теорией, я полагаю, вы полетите с женщиной на борту?

— Полечу. Извиняюсь, товарищ генерал.

— Кстати, усвойте, лейтенант Ночкин, поборник патриархата: говорить «извиняюсь» невежливо. Это значит: «извиняю себя», «снимаю с себя вину». Люди воспитанные говорят: «Извините» или «Извините, пожалуйста», а по уставу: «Виноват». Поняли?

— Понял. Извиняюсь, товарищ генерал. Разрешите идти?

— Что ж делать с вами. Идите.

Ночкин лихо повернулся через левое плечо и направился к самолету. Генерал Сиверс вернулся на площадку для курения.

— Ну как, товарищ генерал?

— Все в порядке — полетит. В таких случаях лучше всего поразить воображение.

— Спасибо, выручили, товарищ генерал.

— Не стоит благодарности.

Началась погрузка в самолет. Ящики осторожно вносили по трапу.

— Не кантуй! — орал Теткин. — Я тебе покантую!

Лида Ромнич стояла рядом и с величайшим страданием глядела на ящики. Тут только Сиверс заметил, какие у нее большие серые, какие печальные глаза. И не так уж она дурна, как показалась ему с первого взгляда. Только очень уж худа — до болезненности. На запястье левой руки так и ерзал тонкий ремешок мужских часов. Брюки на ней были смяты под коленками, но и в этих мятых брюках было что-то изящное. Главное, как-то просто стояла она на земле — просто и твердо. «Какая самодовлеющая женщина», — подумал Скворцов.

Пока шла погрузка, летчик Ночкин в рулевой рубке тихо разговаривал со вторым пилотом, младшим лейтенантом Кудрявцевым.

— А генерал-то Сиверс меня как песочил... И по-английски и по-всякому. Гильберта какого-то приводил, Давида. Ты не знаешь, что за Гильберт?

— Понятия не имею. Давид... Сиверс вообще всякие имена любит. Тяжелый человек. Знаешь, мне что про него Санька Кривцов рассказывал?

— Этот техник с усиками? Фасонщик?

— Ага. Так вот, идет Санька по улице, зимой было дело, на нем, естественно, шапка, и уши от шапки распущены, а не завязаны. Усек? Так вот, идет Санька, а навстречу ему генерал Сиверс. Плясливой такой походкой, даром что генерал. Увидал Саньку и зовет: «Лейтенант! Сюда!» Санька к нему на полусогнутых — подбежал, вытянулся. А генерал обмахнул его легонечко так перчаткой по ушам и спрашивает: «Кто вы? Лейтенант или спаниель?» Санька отупел, говорит: «Я лейтенант, товарищ генерал». А генерал ему: «Вот как? А я думал: спаниель». И пошел себе. Санька стоит как мешком ударенный. Долго переживал.

Второй пилот стоял задумавшись. Потом спросил:

— А кто такой «спаниель»?

— Какой-то иностранный ученый.

— А я думал — собака.

— Я тоже сперва так подумал. Потом соображаю — нет. Намек какой-то в этом слове был.

Ночкин почесал за ухом и сказал:

— Мало еще у нас с этим низкопоклонством борются. Мало. Я бы еще боролся.

Кудрявцев издал согласное ворчание.

## 2

Самолет, оторвавшись от земли, с натугой набирал высоту. Одна ребристая плоскость круто уходила вверх, другая — вниз. Люди скользили по металлическим сиденьям откидных скамеек. В круглых окошках-иллюминаторах быстро мельчала удаляющаяся земля. Все на ней становилось маленьким, игрушечным, необыкновенно чистым. По сверкающей нитке шоссе божьей коровкой полз красный автобус. Быстро закладывало уши. Плохо закрепленные ящики, вздрагивая, сползали вбок. От громкого рева двигателей все тряслось, вибрировало.

— Экая консервная банка, — заметил Теткин. — Так и дребезжит: дзы, дзы.

— Это же не пассажирская машина, — возразил ему длинношей, длинноногий молодой человек с темными преданными глазами, похожий на мальчика-переростка. — Машина строгая, военная, один металл.

— Эх, Ваня-Маня, а я и не знал! Спасибо надоумил! — засмеялся Теткин.

Ваня Манин работал в седьмом институте и был известен тем, что всегда все всем объяснял. Называли его обычно Ваня-Маня.

— Да, комфортабельной эту машину не назовешь, — солидно сказал пухлый блондин в светло-серой рубашке, похожий на зрелый гриб-дождевик.

— А вы откуда? — дружелюбно спросил Теткин. — То же из семерки?

— Нет, я из двадцатого ящика. Инженер Джапаридзе.

— Будем знакомы: Теткин, из КБ Перехватова. А почему вы Джапаридзе?

— Вы имеете в виду мою белокурую внешность? Чисто случайно. Меня отчим усыновил, природный грузин. От рождения я, в сущности, Лютиков, а не Джапаридзе. А мак там с условиями?

— Где?

— В этой вашей Лихаревке.

— Ничего. Жить можно.

— Я колбасы твердого копчения захватил.

— Правильно захватили.

Самолет пробил слой облачности и пошел горизонтально. Моторы ревели теперь ровнее, и ящики успокоились.

— Ну как, кончились ваши фокусы с набором высоты? — спросил в пространство генерал Сиверс.

— Так точно, товарищ генерал, — ответил Скворцов.

— Отлично. Теперь можно и соснуть. Спишь — меньше грешишь.

— А мы вам не будем мешать разговорами? — вежливо осведомился Ваня Манин.

— Сделайте одолжение, не стесняйтесь.

Все-таки разговор оборвался.

— Был у меня приятель, Коля Нефедьев, — сказал вдруг генерал Сиверс, не открывая глаз. — Хороший человек, Царство небесное, ровно десять лет тому назад погиб — в июле сорок второго. Так вот, Коля очень любил спать и относился к этому делу, можно сказать, профессионально. Называл он это занятие «сидеть на спине»

и особенно любил спать под разговоры... Даже стрельба ему не мешала...

Генерал умолк.

— А дальше? — спросил Теткин.

— Дальше ничего. Это я так рассказал. Просто захотелось вспомнить хорошего человека.

Все замолчали.

Самолет теперь шел спокойно, как уют, время от времени плавно подныривая и опять выравниваясь. Становилось заметно свежо, металлические сиденья холодили. За бортом — минус тридцать пять.

— Один человек эквивалентен ноль целых три десятых секции отопления, — сказал Теткин. — Прошу товарищей дышать.

Майор Скворцов смотрел в окошко. Небесный пейзаж в круглой раме. Ведь сколько он летал, всю жизнь, можно сказать, был при авиации, а все не мог привыкнуть к этой картине, когда самолет летит над облаками, а они освещены солнцем. Край ледяной, фантастический, клубящийся. На горизонте дыбом встают снежные горы. А внизу, под самолетом, облака плавают, как льдины, как шуга на замерзающей воде. Между ними — голубые просветы. А если взглядеться — таинственно в этих просветах становятся видны затянутые дымкой земные подробности: дороги, овраги, леса, поселки.словно все это утонуло и лежит на дне озера.

— Невидимый град Китеж, — сказал над ухом Скворцова подполковник Чехардин.

— Представьте, я сейчас об этом же думал, только не теми словами.

— Что слова? — сказал Чехардин, своими чрезмерно светлыми глазами глядя на облака. — Что можно ими передать, кроме самой элементарной информации? «Идет дождь, человек умер, самолет летит на высоте десять тысяч метров» — такие вещи с грехом пополам словами пе-

редаются. А попробуй объясни: что здесь красиво? Почему красиво? Кроме «Ах, как!», ничего не скажешь...

— Я рад, что вам понравилось, — сказал Скворцов, польщенный, словно бы был хозяин всем этим облакам. — А вот когда будем к Лихаревке подлетать, вы не пропустите. Такая там красота, что... словом: «Ах, как!» Воды — километров на сорок-пятьдесят, и это все изрезано, с рукавами, островами, протоками... Пойма реки Машуган, знаете?

— А я видел, — сказал Чехардин. — Я уже не первый раз.

— Ну и как там в Лихаревке — ничего? — спросил Джапаридзе.

— Вполне ничего, — ответил Скворцов. — Впрочем, вру. Летом ничего, а зимой трудновато. Мороз градусов тридцать, ветер пятнадцать-восемнадцать метров в секунду. Один раз у нас ветром гальюн снесло, так называемый гуалет. Прихожу утром — будки нет, одни кучи. Ветер такой, что сквозь кирпичную стену продувает, честное слово. Приходишь домой после пурги, а в углах — сугробики.

— Плохое качество строительства, — пояснил Манин.

— А что там есть замечательного? — спросил Джапаридзе.

— Свины, — засмеялся Теткин.

— Да, — поддержал его Чехардин. — Пожалуй, самое замечательное в Лихаревке — это местная порода свиней. Высокие, поджарые, на длинных ногах... Сразу не поймешь, свинья или борзая. Воинственные, боевые свиньи... Дерутся на помойках, визжат, кусаются... Какой-то свиной цирк.

— А их хозяева не кормят, — сказал Теткин. — Там считается, что свинья сама себе найдет пропитание. Вот они и трудоустраиваются — на помойках.

— А съедобные они? — поинтересовался Джапаридзе.

— Относительно, — ответил Скворцов. — Мясо рыбой воняет. Я-то неприхотлив, для меня любое органическое вещество съедобно, а другие обижаются.



— Братцы, что я вам расскажу по случаю этих сви-ней, — вмешался Теткин. — Купил я однажды такой сви-ньи окорок и сильно на нем проиграл. Я тогда ухаживал за одной местной, ничего была женщина, как же ее звали?.. Кажется, Настя.

— Нина, — подсказал Скворцов.

— Не путай, Нина — это в другой раз. А на этот раз бы-ла Настя, я теперь твердо вспомнил. Позвала она меня в гости. Я, конечно, волнуясь. Купил плодоягодного, то-го-сего, мелкого частника в банке...

— Частика, — поправил Манин.

— Ну, все равно — частика. И, как последний аккорд, решил ее поразить — взял на рынке целый свиной окорок. Иду к ней нагруженный. Вручаю окорок: «Зажарь, На-стенка». От великодушия еле жив. А она даже не порази-лась. Понюхала. «Так и есть — рыбой воняет». Представ-ляете? Я до того разочаровался, что взял плодоягодное и ушел. Так ничего у нас и не вышло.

— А отчего они рыбой пахнут? — спросил Манин.

— А черт их знает. Может, они сами рыбу в реке ловят. С них станется. Такие свиньи на все способны.

Джапаридзе слегка порозовел и, стесняясь, спросил:

— А как там в области напитков?

— В этой области как раз неважно, — ответил Сквор-цов. — В городке, сами понимаете, продажа запрещена, а в самой Лихаревке — одно плодоягодное, вино в высшей степени не вдохновляющее. Кстати, неудачи Теткина в любви надо на восемьдесят процентов отнести за счет плодоягодного. Выпив такого вина, женщина...

— Оставь свои пошлые намеки, — сказал Теткин. — Для тебя нет ничего святого.

Скворцов не слушал:

— А вам, товарищ Джапаридзе, раз уж вы едете в Лиха-ревку и интересуетесь напитками, вам надо знать, что та-кое Ноев ковчег.

— А что это?

— Ноевым ковчегом там называют забегаловку, которой заведует некий Ной Шошиа, личность в своем роде замечательная. У Ноя всегда можно достать и водку, и коньяк, и пиво, если только он вас полюбит. Я думаю, что за одну фамилию он всегда обеспечит напитками вас — и нас заодно.

— Моя фамилия только номинально грузинская...

— Ну, тогда вам придется победить Ноя с помощью личного обаяния.

Джапаридзе задумался, словно усомнившись в своем личном обаянии.

В самолете становилось все холоднее. Пар дыхания облачком окружал каждый говорящий рот. То один, то другой из пассажиров вставал и, пытаясь согреться, топал ногами и бил в ладоши. Джапаридзе открыл чемодан и застенчиво облачился в мохнатый свитер.

— В предусмотрительности нет ничего плохого, — пояснил Манин. У него самого отчетливо посинел нос и темные влажные глаза смотрели очень уж по-собачьи.

— А как же наш генерал спит в такой холодине? — вполголоса спросил Теткин.

— Я спал, — сказал Сиверс, — но теперь, по милости вашей, проснулся.

— Вам же холодно, товарищ генерал.

— Мне не холодно. Мне никогда не бывает холодно. Как, впрочем, и жарко. Ваше замечание напоминает мне, как однажды моя маменька — шнырливая старушка, даром что ей восемьдесят годов — разбудила меня и спросила: «Саша, как ты можешь спать, ведь тебе мухи мешают?»

Кругом засмеялись. Подошла Лида Ромнич, растирая замерзшие руки. Она была правильного синего цвета и узко вжалась в свою короткую курточку.

— Однако холодно.

— Хотите, я вас согрею? — спросил Скворцов.

Она подняла на него медленные серые глаза. Теткин захохотал.

— Нет, я без пошлости. Я вас заверну в чехол от мотора. Хотите?

В углу лежали большие замасленные чехлы, похожие на ватники великанов. Скворцов взял один, встряхнул и галантно завернул в него Лиду Ромнич.

— И черным соболем одел ее блистающие плечи, — сказал Чехардин.

Она засмеялась. Посиневшие губы, плотно прилипшие к деснам, раздвинулись неохотно, в подобии гримасы. «Как она нехороша все-таки», — подумал Скворцов. Лида уселась на пол, плотно завернувшись в чехол.

— Небось тепло? — завистливо спросил Теткин.

— Нет еще, но будет.

Теткин поднял второй чехол:

— Чего добру пропадать? Кому утепление? Скорей признавайтесь, а то сам возьму.

— Ну, да бери уж.

— Не в порядке эгоизма... — бормотал Теткин, заворачиваясь в чехол.

— А токмо волею пославшей ты жены. Знаем, — отвечал Скворцов.

Теткин, окуклившийся, опустился на пол рядом с Лидой. Они молча сидели бок о бок, притихшие, словно потерпевшие бедствие. Самолет, монотонно рыча, всверливался глубже в мороз. Среди оледеневшего металла двое в чехлах казались единственными островками тепла. Манин не выдержал:

— Теткин, пусти погреться.

— А я что? Я не протестую. Полезай. Ишь, орясина, как тебя вымахало! Мослов одних, мослов сколько.

Повозились, укутались, затихли.

— А что ж у меня второе место пропадает? — спросила Лида и вопросительно взглянула на Чехардина. — Хотите?

— Нет, спасибо, я почти не чувствую холода.

— А вы? — обернулась она к Скворцову, подняв на него свои серые скорбные глаза.

Черт, что за глаза! Опять она показалась ему не так уж дурна.

— Ну как я могу отказаться? — фатовски ответил Скворцов. — Желание дамы — закон.

Она даже внимания не обратила, спокойно потеснилась, давая ему место, и сцепила края чехла перед грудью узкой, побелевшей на сгибах рукой.

— Ребята, я жрать хочу, — заявил Теткин. — Такая закономерность, что в воздухе я всегда жрать хочу.

— Если бы только в воздухе, — сказал Скворцов.

— Нет, серьезно. Только взлетишь — так и разбирает. Надо было в дорогу жратвы купить.

— Что же не купил? Тут вот запасливые люди со своей колбасой летят.

— Психологически не могу. Когда плотно наемся, не могу жратву покупать. А вчера как раз зашел в сашисечную...

— Куда? — спросила Лида Ромнич.

— В сашисечную, — невинно повторил Теткин.

— А ну-ка по буквам, — предложил Скворцов.

— Сергей, Александр, Шура...

Все засмеялись.

— Вы напрасно смеетесь, — подал голос генерал Сиверс, — это особое заболевание: органическая безграмотность. У меня двоюродный брат тем же хворал. Цивилизованный человек, инженер-путеец, а до самой смерти писал «парабула».

— Теткин, а как пишется «парабола»? — бессердечно спросил Скворцов.

— А ну вас к черту. Не обязан я вам тут кандидатский минимум сдавать.

Солнце постепенно переместилось и било теперь в правые окошки вместо левых. Чехардин курил, глядя на облака. Генерал Сиверс по-прежнему четко спал, прислонясь

к стене. Скворцов начинал согреваться и размышлял о тысяче дел, ожидающих его в Лихаревке. Справа от себя он слегка чувствовал худое, со слабой косточкой, плечо Лиды Ромнич, но не думал ни об этом плече, ни о ней самой.

Он представлял себе Лихаревку, обжитую за эти годы, как второй дом, деловую свободу командировки, каменную офицерскую гостиницу (прошлый раз не было мест, пришлось жить в деревянной)... «А как прилетим, — думал он, — сегодня же непременно купаться». И он представил себе, как спустился по пыльной крутой тропинке вниз, к реке, в благословенную зеленую пойму, как разделся, затянул плавки, прыгнул... И сразу же обступила его в мыслях теплая блистающая вода, и он резал ее, отталкивая от себя ногами, чувствуя, как он споро плывет, как он бесконечно, ликующе, по-дурацки здоров, каждым мускулом, каждым пальцем, каждым ногтем здоров... А вечером — пульку. Ребята, кажется, подобрались ничего, и Теткин — для смеху, и вообще хорошо — в Лихаревку. Самолет поревывает, поныривает, а он, Скворцов, летит туда, в Лихаревку, — легкий, бодрый, ничего лишнего; в чемоданчике — эспандер, трусы и бритва, а главное, здоров. Это хорошо: потребует жизнь, любые обстоятельства — пожалуйста, я тут, здоров.

А еще он думал, что многие будут ему там рады, и среди многих — Сонечка Красникова...

### 3

Последний раз, как он был в Лихаревке, месяца полтора назад, стояла жестокая ранняя жара. Майор Красников праздновал присвоение очередного звания. Гости собрались в небольшой квартирке Красниковых — уютно, зажиточно, на диване подушки — болгарский крест. Жесткие тюлевые занавески не колыхались. Гости сидели за столом

мокрые, разварные и даже водку, с трудом добытую у Ноя (Скворцов пустил в ход личное обаяние), глотали неохотно. Водка была теплая и желтая, как спитой чай. На тарелке, выпучив мертвые глаза, лежала селедка, лилово окольцованная луком. Напротив Скворцова сидел совсем разомлевший капитан Курганов, а рядом с ним — его жена, смутлая, недоброглазая женщина с большим вырезом, косо спустившимся на одно плечо. Курганов, передернув шей, выпил водки и только что занес вилку, чтобы закусить селедочкой с луком, как жена отчетливой и злой скороговоркой сказала:

— Будешь есть лук — разверну к стене.

Рука с вилкой повисла в воздухе и послушно опустилась. «Экая стерва», — подумал Скворцов. Слева от него сидела жена начальника отдела, Люда Шумаева, худая высокая блондинка с длинной шеей и озабоченными глазами.

— Людочка, отчего не пьешь? — спросил ее Скворцов.

— Жарко, душно. До чего мне здесь надоело, знал бы ты. Кажется, все бы отдала — уехать. Город, шум города я люблю... Театр, оперетку. Оперетку особенно. Я все арии из опереток прямо наизусть знаю. «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?» — пропела она ему на ухо.

— Помню, — сказал Скворцов.

— Ты все смеешься, а мне не до смеху. Ну, посуди сам, что я здесь вижу? Рынок, магазин, кухня, дети... Я, как заводная кукла, — прикована к керосинке...

— А ты бы работать пошла.

— Куда? Здесь на каждое место по десять жен. Нет, уехать, только уехать.

— Ну что ж. Уехать тоже можно. Уговори Сергея...

— Он! Да разве он отсюда уедет? Это такой эгоист, до того в свою работу влюблен, просто ужас. Нет, послушай, почему это так выходит: ему все удовольствия — и днем, и ночью...

Скворцов засмеялся и спросил:

— А тебе ночью разве нет удовольствия?

— Очень редко, — печально и просто ответила Люда.

Он поцеловал ей руку. С другого конца стола подполковник Шумаев, маленький человек с черными горячими глазами и бритым, слоновой кости черепом, крикнул ему:

— Что тебе, Пашка, жизнь надоела?

— Вот видишь, какой собственник, — вздохнула Люда.

Капитан Курганов опять робко потянулся к селедке: в эту минуту жена разговаривала с соседом. Скворцов услышал ее слова:

— От этой жары я становлюсь злая, как Муфистофель.

— Муфистофель, — повторил Скворцов.

— Это правда, — печально сказала Люда. — Сколько ему достается — это нельзя передать. Он и дочку в садик, он и на рынок, и все он.. Я и сама хозяйка неважная, ничего не скажешь, но сготовлю и на стол подам безропотно. А она ему швырком: ешь! Прошлый раз Сергей у них в карты играл, так она им тарелку с помидорами прямо по столу так и двинула — кошмар! Нарезаны помидоры как ногой, ни маслом не заправлены, ни что. А она...

— Не надо о ней, Людочка, — попросил Скворцов. — Ну ее к бесу.

Заиграла радиола. Столы сдвинули, начались танцы. Две-три пары вяло задвигались по крашеному, до блеска натертому полу. Подполковник Шумаев подошел к жене и вежливо поклонился. Люда встала и положила ему на плечо руку, желтоватую и тонкую, как церковная свечка. Она была на полголовы выше мужа. Скворцов заметил, что она босиком. Узкие босые ступни — про них хотелось думать: не ступни, а ладони. На этих ступнях-ладонях она двигалась легко, проворно, чуть изгибаясь, как очень худая молодая кошка ходит вокруг ног своей хозяйки.

— И все-таки она бисиком, — сказала Муфистофель. — И как только муж терпит.

— Жарко, — ответил сосед.

— Всем жарко, но никто, кроме нее, не позволяет. Все в каблуках. Не деревня.

Скворцову сделалось душно, он встал из-за стола и пошел проветриться. По дороге его кто-то перехватил за руку. Это был сам хозяин, герой торжества, новоиспеченный майор Красников. Большая звезда празднично поблескивала на его новеньком двухпросветном погоне. Красников был счастлив и пьян.

— Посиди со мной, Паша! Я тебя во как люблю. Все собирался тебе сказать, да случая не было. Я тебя люблю. Не веришь?

— Отчего же? Верю.

— Ну, садись, друг мой закадычный.

Скворцов сел.

— Выпьем, Паша, за... В общем, за наши достижения. Вот я, майор...

Выпили. Водка была еще теплее, чем вначале. Просто горячая водка. Скворцова чуть не стошнило.

— Ну, люблю я тебя, как сукиного сына, честное слово, — говорил Красников в судорогах пьяной любви к ближнему. Он стиснул Скворцова поперек шеи и стал целовать.

— Пусти, брат, душно, — сказал Скворцов.

— Брезгаешь? Ну, ладно, брезгай. Все равно я тебя люблю.

— За что же ты меня так особенно полюбил?

— Ты — человек политически подкованный.

— Вот как? — удивился Скворцов.

— Честное слово. И я тоже политически подкованный. Я все перевожу на уровень теории. Вот недавно приходит ко мне моя Соня — хорошая женщина, но развитие еще не на высоте — и жалуется на трудности в домашнем хозяйстве. Я сказал: «Соня, во всем нужно базироваться на теории». И с трудом достал книгу «Мужчина и женщина», том второй.



Очень глубокая книга. Прочитала. И как ты думаешь? Помогло. Ей-богу, помогло! Вот она сама тебе подтвердит. Соня!

Подошла, улыбаясь, невысокая крепенькая женщина с гладко натянутыми на круглой головке черными волосами. Красников, не вставая, притянул ее к себе.

— Хочу тебя познакомить. Это — Паша Скворцов, любимый человек моего сердца. А это — Соня, законная жена.

— А мы уже знакомы, — сказал Скворцов.

— Ничего, я вас еще раз познакомлю, крепче будет. Дай ему руку, Соня.

— Красникова Соня, — сказала она, подавая руку дочечкой. Черные глаза у нее были выпуклые и чистые до сияния.

— Я тут. Соня, рассказывал майору, как я тебе по хозяйству помог. Было дело?

— Было-было, — сказала Соня, чуть-чуть подмигнув Скворцову. — А теперь тебе пора баиньки, ты уже набрался достаточно.

— Я-то? Я еще как штык.

— Слушайся маму.

Красников покорно встал и сделал ручкой:

— Гуд-бай.

Сонечка вывела мужа в соседнюю комнату и довольно быстро вернулась.

— Готов, спит. Он у меня, когда выпьет, такой послушный, такой сознательный, ну прямо прелесть. Другие мужья издеваются, посуду бьют, а он все культурно. Сам ботинки снимет, на цыпочках идет — детей не разбудить. Нет, ничего не скажешь, я сравнительно с другими счастливая.

— Приятно видеть счастливую женщину, — сказал Скворцов.

Кто-то принес гармошку. «Русского, русского!» — закричали гости. Гармонист развернул мехи, и родные, поскрипывающие, заикающиеся звуки так и поплыли, под-

мывая, по доскам пола. Соня Красникова пошла плясать. Этаким кубариком она плясала — плавно и складно. Казалось, именно так должны были плясать наши бабушки, целые поколения наших бабушек — и пра, и пра... Скворцов смотрел на нее, очарованный каким-то сложным чувством, очень ощущая себя русским. Когда снова завели радиолу, он пригласил Сонечку танцевать. У нее оказалась очень тонкая, прямо-таки муравьиная талия, резко делившая ее пополам, и за эту талию он ее поворачивал, и она слушалась, снизу глядя ему в глаза. Маленькое золотое сердце на тонкой цепочке подрагивало в вырезе ее голубого платья, на самой границе загара. Скворцов танцевал с наслаждением и неохотно остановился, когда кончилась музыка.

— Пойдите, у меня, наверно, чайник вскипел, — сказала Сонечка. — Пойду, посмотрю.

Он пошел за ней. В кухне горела керосинка. Теплый свет падал сквозь слоистое, слюдяное окошко. Чайник молчал.

— И не шумит... — сказала Сонечка.

На столе, под полотенцами, отдыхало что-то печеное, должно быть пироги. Рядом стояли чашки — ручками все в одну сторону. Сонечка тихо дышала. В оранжевом свете, поблескивая, поднималось и опускалось золотое сердечко. Стоя рядом, он обнял ее, и она опять послушалась, как в танце. Вокруг ее рта стоял островок чистого дыхания. Он поцеловал источник этого дыхания и обомлел: он провалился во что-то свежее и душистое, как только что скошенное сено...

Но тут зашумел чайник...

---

— Братцы, пойму видать! — закричал кто-то.

Все бросились к иллюминаторам. Внизу лежала широкая, в полземли, зеленая полоса, вся изрезанная темноватыми водяными жилами. Могучая река, разветвленная на множество рукавов, показывала сразу все

свои извилистые изгибы. Время от времени солнечный луч, отраженный от водной поверхности, ударял в глаза, и какой-нибудь участок реки на миг становился пролитой ртутью. Даже отсюда, далеко сверху, было видно, как все это огромно.

— Да, неплохая речка, — сказал генерал Сиверс.

— А вот и наша Лихаревка! — закричал Скворцов.

— Где, где?

На резко очерченном, как ножом срезанном, берегу виднелась одна длинная улица с домами-бусинками по краям. Немного поодаль белели домики побольше.

— Жилой городок — видите?

— По местам! Идем на посадку! — крикнул второй пилот.

Все расселись по скамьям. Самолет, круто кренясь и поворачивая, начал снижаться. Из круговращения внизу постепенно выплыли аэродромные постройки, взлетно-посадочная полоса, метеобудка, длинный, натянутый ветром шахматно-клетчатый чулок. Самолет с жужжанием выпустил шасси, ощутимым толчком коснулся земли и побежал, подпрыгивая, по грунтовой дорожке.

Кругом лежала совершенно плоская, совершенно пустая степь. Ветер пригибал к земле иссушенные до невесомости остовы мертвых трав. Самолет остановился. В последний раз взревели моторы и замолчали.

— Прибыли, — сказал лейтенант Ночкин.

Прибывшие, толкаясь чемоданами, начали пробираться к выходу. Снаружи солдат прислонил к борту самолета жидкую металлическую лесенку. Люди спустились на сухую, горячую землю. Жара сразу же навалилась на них, тяжелая, как кирпич.

Из голубого павильона вышел офицер и направился к самолету. Майор Скворцов, держа руку у козырька, сказал:

— Товарищ дежурный, прибыла специальная группа из Москвы для выполнения работ в войсковой части. На бор-

ту спецгруз весом четыреста килограммов. Старший группы майор Скворцов.

— Здравия желаю, — ответил дежурный, подавая руку. — С приездом вас.

#### 4

Жилой городок, расположенный невдалеке от райцентра Лихаревка, еще не имел своего названия. Он состоял из двух-трех совершенно одинаковых каменных домов в два этажа, с ампириными веночками по фасадам, нескольких деревянных барачков и множества сараев с толевыми крышами. Еще была здесь кирпичная красно-белая школа, совершенно такая же, как во всех других городах, и недостроенный Дом офицеров с двенадцатью пузатыми колоннами, грубо облицованными цементом.

В городке было три гостиницы: деревянная, каменная и «люкс». Деревянная — для тех, кто попроще, гражданских и вообще всякой мелочи. Строение было барачного типа, хотя и большое; так называемые «удобства» — на улице. Каменная гостиница считалась рангом повыше, селили там главным образом офицеров. Стояла она на круглой площади, задуманной строителями как центр городка. В каменной гостинице был предусмотрен водопровод и удобства внутри. Последней ступенью роскоши был «люкс», где размещали генералов и вообще большое начальство. Здесь были фикусы, по верхней кромке стен — золотой багет, и при каждом номере ванна. Впрочем, в летние месяцы вода шла редко, а когда шла, то со свистом и совершенно ржавая, так что разница между деревянной, каменной и «люксом» сказывалась больше не в быте, а в почете. Строено было это все плохо, хромо, щелясто. С повышением ранга увеличивалось, главным образом,

количество картин на стенах, стекляшек на люстрах и золоченных цапек «под бронзу».

Конструктора Ромнич разместили, конечно, в деревянной. Заполнив анкету у дежурной, она заплатила за неделю вперед и взяла квитанцию.

— Одно женское место, третий номер, вторая дверь направо, — нелюбезно сказала дежурная.

Лида Ромнич вошла в небольшую комнату, оклеенную пестрыми, в букетиках, обоями. Окно было завешено мокрой простыней, пахло предбанником. По стенам стояли три железные койки; две были заняты, одна свободна. На занятых спали две фигуры, с головой укрытые простынями; по простыням путешествовали мухи. Свободная койка была застлана темно-синим грубошерстным одеялом с надписью «Ноги». В изголовье торчком стояла взбитая подушка с запровленными внутрь уголками, а над надписью «Ноги» висело чистое вафельное полотенце. Стульев не было. Лида осторожно, чтобы не стукнуть, поставила чемодан на пол и села на кровать. Кровать под ней задвигалась и жестоко заскрипела. Толстая женщина напротив проснулась и высунула из-под простыни помятое сном, пятнами покрасневшее лицо. Увидев Лиду, она улыбнулась, и стало видно, что она молода, добра и хорошо выспалась. Лида улыбнулась ей в ответ. Женщина протянула ей маленькую влажную руку с рыжими на концах пальцами фотографа:

— Лора Сундукова.

— Лида Ромнич.

— Ой, я про вас знаю! Вы — конструктор, правда?

— Правда.

— Очень уважаю женщину, если она конструктор. Мне про вас Теткин рассказывал. Вы ведь тоже у Перехватова?

— Да. Кстати, Теткин с нами прилетел. Только что.

— Да неужели? — просияла Лора, — Радость какая! Где ж его разместили? В каменной?

— Нет, как будто здесь.

— Здесь! Если здесь, это хорошо, — откровенно светясь, сказала Лора. — Подумать, как мило! Томка, Теткин приехал! Надо одеваться.

Она откинула простыню и села, беззастенчиво показывая милое белое тело, обзолоченное солнцем по выпуклостям. Напряженно нагнув голову, она стала застегивать сзади обширный голубой бюстгальтер. На второй кровати зашевелилась простыня, из-под нее высунулась темная мелкокудрявая голова со смуглым смешным личиком.

— Лора, страдальца, опять Теткин приехал, снова переживать!

— А я не против переживать, я за.

Накинув сарафан, Лора взяла полотенце и вышла.

Из-под простыни вылезла черненькая девушка, вертлявая и кудрявая, как пуделек. Темные красивые глаза смотрели скорее печально, в противоречии со смеющимся ротиком, полным неправильных, сдвинутых зубов.

— Я Тамара, зовут Томка. А та, полная, это Лора. Она в Теткина влюбилась, прямо смех. Я ей говорю: брось, а она продолжает, прямо как психованная. Теткин и Теткин, и никого другого, это надо же! Я лично в нем ничего не вижу особенного, мужчина как мужчина, лысый и довольно пожилой, хотя и молодой годами, но интересным его не назовешь, правда?

Томка не говорила, а словно журчала, слитно, без передышек, только иногда наклоняла голову, спрашивала: «Правда?» — и смотрела вбок. Она начала одеваться, проворно шевеля локтями.

— Вы не смотрите, я такая худая, прямо стыдно! Лора, она даже чересчур полная, а я худая, кому что, но Лорка, она по-своему очень даже интересная. Хотя у нас в КБ ее интересной не считают, слишком полна. А по-моему, полнота, если не слишком, даже украшает женщину, правда?

Лорке полнота идет, она все-таки мать, девочка и мальчик, Маша и Миша. Лорка — она до ужаса рукодельница, французской гладью умеет, для меня это недоступно, я только русской, по сеточке, без набивки, но я рукоделием не увлекаюсь, это слишком несовременно, правда?

Лида сначала хотела отвечать, но быстро убедилась, что «правда?» — вопрос риторический.

— Подумать только, мы с Лорой тут скоро месяц, время бежит, условий никаких, жара, мухи, койки жесткие, на пленке эмульсия так и ползет, дешифрируй, как хочешь, в столовой суп «бе эм» и котлеты «бе гэ»; «бе эм» — значит без мяса, а «бе гэ» — без гарнира. Дома я большая любительница изящно покушать, я салат «оливье» сделаю — как художественная картина, я создана для хозяйства, так муж говорит. Он у меня мужчина интересный, хотя росту мало и лысина пробивается. Меня он называет «макака», но это так, а в душе он меня до ужаса любит. Получку принесет — и все мне, из рук в руки. Я бы не работала, но хочу на телевизор скопить, чтобы дома была культура, а то, говорят, муж будет куда-то стремиться, правда?

— У меня тоже нет телевизора.

— Ну, вам, с вашей зарплатой на телевизор скопить — раз плюнуть, не то что мне. Я техник-лаборант, шестьсот получаю, да муж тысячу<sup>1</sup>, от таких денег не каждый месяц отложишь, все на еду уходит, прямо смешно, никаких последствий. Все мои подруги сбережения имеют, а я нет. Я только так говорю — хозяйственная, но нет, это я пострепать хозяйственная, а экономить я не умею, для этого не создана, я люблю, чтобы деньги не считать, чтобы по ветру летели деньги. Я ресторан люблю посещать. Для чего и жить, если себе отказывать, детей нет, скоро конец мо-

---

<sup>1</sup> В тогдашнем масштабе цен.

лодости, правда? Лорка, она здорово экономная, ну да ей и надо, все-таки одинокая, муж у нее ушел, слышали? Ушел к какой-то зануде, оставил двух детей, Маша и Миша, — ужас какая трагедия, я даже плакала, честное слово, ведь это...

Она не договорила, потому что пришел удар — глубокий, красивый, бархатный. Стекла лениво отозвались.

— Звуковой барьер, — сказала Томка.

— Нет, тол, килограммов двести, — поправила Лида.

— Ну так вот, я и говорю: ведь это очень трагично, когда муж уходит от жены! Прорабатывали его, но без результата. Я своего вот так держу: он только одним глазом посмотрит на женщину, я и то не пропускаю, говорю: не смотри. Он смеется: никто мне не нужен, кроме тебя, макака. Любит. Я его тоже люблю, только я не такая уж темпераментная, я и в девушках целоваться не любила, особенно когда страстно целуются, я этого не выношу, наверно, оттого, что очень худая, как вы думаете? Вы вот тоже худая, наверно, тоже не особенно страстная?

Лида не успела ответить: в дверь постучали.

— Кто там? — спросила Тамара.

— Можно войти?

— О Боже, мужчина! — засуетилась Томка, засовывая под матрац какой-то предмет туалета. — Входите!

Вошел майор Скворцов — весь подобранный, сапоги блестят, ремень с португесей затянут до предела.

— Лидия Кондратьевна, я за вами.

— Почему за мной?

— Если я правильно понял обстановку, вы еще не обедали. В здешней столовой время обедов кончилось, а время ужинов еще не началось. Но я, вступив в переговоры с персоналом, решил эту проблему. Приглашаю вас к столу.

— Ладно, сейчас иду. Только мне надо умыться и переодеться.

— Сколько времени вам на это понадобится?



— Минут десять.

— Отменно. Ровно через десять минут жду вас в вестибюле.

Скворцов откозырял и вышел.

— Какой интересный! — воскликнула Томка. — Это ваш поклонник?

— Что вы! Мы с ним сегодня только познакомились.

— Тем лучше. Я таких мужчин очень люблю: в точности мой вкус! Дома я себе не позволяю, соблюдаю семейный очаг, а здесь — отчего нет? На серьезное нарушение не пойду, а так — потанцевать, посмеяться — не вижу ничего дурного. Мужчина интересный, рост высокий, я это люблю, хотя сама вышла за низенького, и лицо интеллигентное, хотя прелести особой нет, но зато сразу виден ум, правда?

— Пожалуй, да. Я как-то не обратила внимания.

— Зато он на вас очень даже обратил, поверьте моему опыту. Я всегда вижу, кто на кого обращает, это у меня как ясновидение, даже муж говорит. Он только еще успеет подумать в направлении, а я уже ревновать начинаю. Все чтобы было мое, каждая мысль и каждое дыхание: вот как я понимаю семейную жизнь!

— Где здесь можно умыться?

— Во дворе налево, корыта такие стоят с умывальниками. Я вас провожу, хотите?

— Нет, спасибо, найду.

Пока Лида умывалась, прошло еще два удара. Вообще воздух в Лихаревке был насыщен ударами, и пора было уже не обращать на них внимания.

## 5

— Пока не достроен Дом офицеров — а судя по замыслу, это будет дворец, — я вынужден кормить вас в пред-

приятии общественного питания, которое лучше всего характеризуется русским термином «живопырка».

Майор Скворцов говорил очень по-своему: бегло, складно, щеголевато, голосом, натянутым, как струна, с каким-то даже легким дребезгом на гласных. Как будто звон невидимых шпор молодецкато сопровождал каждое слово. Наверно, из-за контраста манеры говорить и содержания все вместе выходило почему-то очень смешно. «А он ничего, — подумала Лида Ромнич. — Хорошо, что он за мной зашел».

Столовая помещалась в нескладном одноэтажном здании с грибообразной пристройкой. У входа росло деревце на подпорке с тремя жалобно растопыренными ветками. Пыльные серо-зеленые листья, скрученные от жары полутрубочками, словно просили пить. На дереве висел плакат: «Старший техник-лейтенант Неустроев».

— Почему старший техник-лейтенант?

— Grimасы быта, — отвечал Скворцов. — Заместитель по тылу, генерал Гиндин, после неудачных опытов по озеленению городка распорядился прикрепить к каждому офицеру персональное дерево, за которое означенный офицер отвечает головой. Судя по состоянию данного конкретного дерева, голова старшего техника-лейтенанта Неустроева находится в угрожаемом положении.

— Ну-ну, — сказала Лида. — А проще говорить вы не можете?

— Если надо, могу, — смеясь, ответил Скворцов.

Они вошли в дверь с надписью «Общий зал». В довольно обширном помещении толпились столы, покрытые синей клеенкой. На столах ножками вверх стояли стулья. Уборщица мела пол, сердито шаркая веником.

— Здесь, кажется, уборка... — нерешительно сказала Лида.

Ее робкий тон воодушевил Скворцова:

— Ничего, ничего, проходите.

Он провел ее между столиками, под раскаленным взглядом уборщицы, к дальней двери с табличкой: «Зал № 2. Пользование, кроме старших офицеров, воспрещается». Лида опять замялась.

— Будьте спокойны, — сказал Скворцов. — Вы имеете дело со мной. Пока я здесь, вам обеспечен офицерский харч.

В маленьком «зале № 2» было светло и даже довольно игриво: белые занавески, веселенькие, трафаретиком, стены, голубые клеенки. Между окнами висел плакат с лозунгом: «Предотвратим залет мухи!» — а сами окна были забраны частой проволочной сеткой. Несмотря на это, мух в зале было порядочно. С потолка свисали безопасные для них, высохшие от жары липучки. Горячий солнечный свет крутыми, твердыми какими-то столбами входил в окна. За столами уже сидели сегодняшние попутчики. Лида кивнула им и села, осматриваясь.

На стене напротив висела большая, масляными красками, картина, по-видимому, копия с васнецовского «Ивана-царевича на сером волке», но копия вольная, фантастическая. Писанная явно неумелой рукой, она дышала какой-то дикой искренностью. Сказочные, аляповатые цветы розово светились в лесной черноте. Царевич, глупый и пучеглазый до одури, крепко держал поперек туловища поникшую в обмороке девицу. Ее рыжие волосы летели вбок, как пламя горящего самолета. Волк, насмешливо улыбаясь, вывалив язык, скакал прямо вон из картины, грудью на зрителя...

— Вас, кажется, заинтересовало данное произведение изобразительного искусства? — спросил Скворцов. — Даю пояснения. Всегда мечтал работать гидом. Это грандиозное полотно писал местный самодеятельный художник майор Тысячный. Страдает безответной любовью к живописи.

— Почему безответной?

— А неужели вам нравится?

— Чем-то — да.

— Пронзительная картина, — подтвердил генерал Сиверс. — Я бы ее купил. А он не продает своих работ, этот Тысячный?

— Кажется, нет.

— Жаль, я бы купил.

Чехардин, прищурившись, взглянул на картину:

— Народный примитив... Впрочем, не без чего-то.

— Вы это серьезно? — по-детски спросил Ваня Манин, перебегая глазами от лица к лицу. — Ну, значит, я дурак.

— Я тогда тоже дурак, — сказал Скворцов. — Никакой художественной ценности в этой картине я не вижу, хоть убейте.

— Правильно! — поддержал его Теткин. — Я тоже не вижу. Говорят, в капиталистических странах ослу кисть к хвосту привязывают, он и рисует, а потом эти картины продают за большие деньги...

— Молчите, Теткин, — отмахнулась Лида и повернула к Скворцову страдающие глаза. — Вы ничего не видите в этой картине? Нет, ничего вы не видите! Какие же вам картины нравятся?

— Какие? Ну, многие... — неопределенно отвечал Скворцов.

К этому вопросу он был не подготовлен. В живописи он был слаб. Он вообще во многих вещах был слаб и отлично это сознавал, но до того был восприимчив и чуток и к тому же так хорошо владел речью, что зачастую с полуслова понимал что к чему и умел казаться неопытному глазу чуть ли не знатоком. Сейчас он тянул время, чтобы поймать намек, хоть маленький... Тут бы он развернулся.

— Какие же именно?

Фу-ты черт, как на грех, он не мог вспомнить ни одной картины: ни названия, ни художника. Одна, впрочем, сейчас представилась ему очень отчетливо: тюремная камера, вода, крысы на кровати, бледная женщина с открытыми плечами, откинувшая голову в страшном отчаянии... Красивая картина! Как же ее?

— «Не ждали», — подсказал Джапаридзе.

— Да, «Не ждали», конечно, неплохая картина, — мгновенно подхватил Скворцов и только что собрался по поводу этой совершенно неизвестной ему картины сказать что-нибудь этакое общее, ни к чему не обязывающее, как ему стало стыдно халтурить при этих простых и печальных серых глазах. Неожиданно для себя он признался: — По правде говоря, я ничего не понимаю в живописи.

— Я так и думала.

Разговор об искусстве на этом кончился, потому что вошла официантка в белом передничке — толстенная, румяная, лакированная, до того похожая на кустарную «матрешку», что хотелось разнять ее и вынуть другую.

— Симочка! — закричал Скворцов. — Здравствуйте, деточка, вы цветете, как роза, рад вас видеть! Посмотрим, чем вы нас накормите, не знаю, как другие, а лично я уже почти умер от голода.

Симочка лупнула на него круглым синим глазом и сказала:

— Блюдов нет, супа не в чего ложить.

— Ай-яй-яй, как же так?

— Да ничего, мы зараз намоем, давайте заказы приму.

— А что у вас есть?

— Борщ, котлеты.

— Борщ «бэ эс»?

— Сметану всю покушали, осталось только для генеральского.

— А вы, Симочка, как-нибудь, а? — подмигнул ей Скворцов.

Симочка, не отвечая, записала: «Семь борщей, семь котлет» — и вышла.

— Делать нечего, — сказал Скворцов. — Придется ждать, пока будут намыты эти блюда — так здесь называют глубокие тарелки.

— Черт, я здесь почему-то всегда жрать хочу, — пожаловался Теткин. — Пока ожидать, можно и загнуться.

— Теткин, тебе необходимо усвоить лучшие черты русского народа: ясный ум и терпение, — сказал Скворцов. — Вот, например, в нашей тяжелой ситуации что может сделать терпеливый человек? Отвлечь себя от пошлой мысли о еде чтением художественной литературы.

Он снял с углового столика серую тетрадь с карандашом на веревке.

— Перед вами, как следует из надписи на обложке, «Книга жалоб и предложений». Предложения, как обычно, отсутствуют или интереса не представляют, зато жалобы... Сам Чехов мог бы позавидовать. — Ему все еще было неловко, что он осрамился с живописью, и он особенно напирал на Чехова: — Проезжая мимо станции, у меня слетела шляпа.

— Читай-читай, — сказал Теткин. — Знаем, что грамотный.

— Внимание! — начал Скворцов. — Пример номер один. Скромная, сдержанная, немногословная жалоба, полная, несмотря на это, подлинной душевной боли: «Прошу обратить самое серьезное внимание на обслуживание посетителей столовой, которое происходит крайне медленно и грубо. Подполковник Ляхов». Погодите смеяться, главное здесь не жалоба, а ответ на нее: «Товарищ подполковник, рассмотрев вашу жалобу, факты не подтвердились, ибо ваша грубость отвечалась взаимностью. Зав. столовой Щукина».

Засмеялись все, кроме Лиды Ромнич. Нет у нее чувства юмора, что ли?

— Зав. столовой Щукина — талант! — сказал генерал Сиверс.

— А вот, — читал дальше Скворцов, — жалоба номер два: крик души, оставшийся без ответа. Слушайте, это почти стихи: «Возмущен приготовлением гуся. Сырой совершенно, да к тому же, вероятно, старый гусь. Снимает ли кто-нибудь пробу с подобного деликатеса, как гусь?»

Подержал в зубах и положил обратно в тарелку. Уплатил три пятнадцать. За что?»

Засмеялись все, даже Лида. Она смеялась словно с неохотой, нагнув голову и отвернувшись, по-детски вытирая слезы ладошкой, и Скворцов рад был, что она смеется, ужасно рад! Хорошо смеялся и Чехардин. Он все повторял: «Гусь! Гусь! Гусь!» — и опять начинал хохотать. Смеясь, он казался куда добрее и проще.

— А вот еще... — начал Скворцов, но не закончил.

Появилась Симочка с подносом, на котором в два этажа громоздились тарелки. Борщ был коричневым, пожилой, очевидно не раз разогретый, но зато в каждой тарелке плавал кружочек сметаны.

— Ай да Симочка! — завопил Скворцов. — За сметану вас расцеловать надо!

— Я — мужняя жена, — рассудительно ответила Симочка.

Принялись за борщ. Тут отворилась дверь и, неся перед собой живот, вошел огромного роста, толстоплечий, львино-седой генерал. Бодро подрагивая плечами и грудью, он направился прямо к столу, за которым сидел Сиверс.

— Здравия желаю, товарищ генерал. Меня зовут Гиндин, Семен Миронович. Вы меня еще не знаете, зато я вас знаю. Ничего, теперь вы меня узнаете; раз уже приехали в мое хозяйство, вам придется меня узнать. Прошу свободно обращаться по любому вопросу. А сейчас — я за вами. Мне только что донесли, что вы собираетесь обедать здесь, во втором зале. Зачем же? Для таких гостей, как вы, у нас есть другой зал, специальный. Напрасно вас сюда даже пустили, надо было направить прямо туда! Но, знаете, пока дисциплинируешь этих людей... Пройдемте со мной, товарищ генерал!

— Вольно, — сказал генерал Сиверс. — Садитесь.

Это Гиндину не понравилось, но он придвинул стул и сел.

— Так как же, пойдём?

— Да нет уж, лучше я здесь останусь, со своим народом. — Сиверс обвел рукой присутствующих. — Я, знаете, из тех руководителей, которые неразлучны с народом.

— Вольному воля, — сказал генерал Гиндин, начиная сердиться, но сохраняя светский тон. — Все-таки я еще раз советую пойти. Угощу жареной уткой.

— Уткой, говорите? — Сиверс как бы задумался. — Нет, покорнейше благодарю, не надо. Огорчен, но вынужден отказаться. Кстати, пользуюсь случаем выразить вам свое восхищение.

— По какому поводу?

— Изумлен тонкостью обращения, достигнутой во вверенной вам части.

— В каком смысле? — щекотливо спросил Гиндин.

— В гоголевском. Помните: «У нас на Руси если не угаданы еще кой в чем другом за иностранцами (прошу прощения, не я, не я, Гоголь!), то далеко перегнали их в умении обращаться... У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, как с тем, у кого их триста...»

— Поражен вашей прекрасной памятью, — прервал его генерал Гиндин. — В других условиях я душевно рад был бы вас выслушать, но теперь меня призывают дела. Служба, знаете ли, долг службы...

— Скажите! А вот у меня времени как раз сколько угодно. Тем более что во вверенной вам столовой не очень-то торопятся со сменой блюд. Прошу вас, прослушайте еще один — только один! — поучительный отрывок...

— Мне, право же, некогда. — Генерал Гиндин стал вставать.

— Одну минуточку, — засуетился генерал Сиверс, удерживая его за руку. — В качестве личного одолжения. «Чичиков заглянул в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся...»

— Не понимаю, какое это имеет...



— Сейчас поймете. Помните, как о них было сказано в газетке: «Город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых деревьев...»

— Мне, право...

— «...и было умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику...»

У Гиндина покраснел лоб. Он встал.

— Я вас понял, товарищ генерал. К вашему счастью, я долго служил на Кавказе и усвоил заповедь: гость — лицо священное. Выше всего — долг гостеприимства. Несмотря на это, я все же сообщу вам свое мнение по затронутому вопросу: легче выучить наизусть Гоголя, чем вырастить хотя бы одно дерево. Будьте здоровы.

Он поклонился и вышел. Дверь с ветром захлопнулась.

— Забавное кино! — захохотал Теткин.

Генерал Сиверс невозмутимо принялся за свой остывший борщ.

Лида Ромнич спросила:

— Это тот самый генерал Гиндин, который к каждому дереву прикрепил офицера?

— Тот самый, — ответил Скворцов. — Любопытный человек, кстати говоря.

— Матерый бюрократ? — полуутвердительно спросил Ваня Манин. Он очень ценил формулировки и каждое явление сразу старался увязать с терминологией.

— Ну, нет, — ответил Скворцов. — Что хотите: властолюбец, деспот, хам, но не бюрократ.

— Власть любит, что верно, то верно! — поддержал Теткин. — Он тут таких строгостей понавел! Этой зимой — знаете, как здесь бывает холодно? — вызвал он одного капитана, стружку снять, а тот — в шинели. Гиндин на него: «Почему в шинели?» — «Холодно, товарищ генерал». — «Ничего, снимите, сейчас вам будет жарко».

Теткин захохотал.

— Самодур? — с надеждой спросил Манин.

— Пожалуй, и самодур, — ответил Скворцов, — но только его это не исчерпывает. Гиндин — сложное явление. Энергичен, умен, талантлив, дело у него горит... Знаете, что здесь до него было? Пустыня, глушь, дичь, одни землянки да помойные ямы. За водой на реку с коромыслом ходили. Весь наш городок — это же Гиндин построил! И в каких условиях! Жара, воды нет, люди от болезней так и валятся...

Скворцов говорил горячо и почему-то даже без юмора. Его поддержал Чехардин:

— Согласен с вами. Генерал Гиндин — любопытнейший тип. Это хозяйственник особого рода, хозяйственник-гений, такие могут вырастать только у нас, выковываются в процессе преодоления трудностей... Вы подумайте только, каково хозяйственнику в наших условиях: направо пойдешь — коня потеряешь, налево — сам погибнешь... А этот Гиндин ни черта не боится. У него к законам отношение конструктивное. Если надо — заплатит сверхурочные, проведет расходы по другой рубрике, из-под земли достанет лимитные фонды, бездельника уволит, хорошего работника переманит... Вместе с тем, без сомнения, субъективно честен. Никогда ничего не сделал для себя лично. Здесь ему предлагали отдельный коттедж — отказался. Так и живет в гостинице.

— А семья? — спросил Манин.

— В Москве, — ответил Теткин. — Жена пожилая, дети взрослые — чего они сюда поедут? Он к себе выписал папу — занятный, между прочим, старик! — так и живет вдвоем с папочкой. Очень любящий сын.

— Так долго жить в разлуке с семьей — это может привести к моральному разложению, — заметил Манин.

— Не беспокойся, уже привело, — засмеялся Теткин. Генерал Сиверс положил ложку и сказал:

— Достойный человек. Зря я его обидел. Попутал бес. Симочка внесла вторые.

Испытания затянулись. Генерал Сиверс вернулся в свою гостиницу поздно вечером. Он довольно долго звонил у подъезда. Заспанная дежурная в наскоро наброшенном халате, с волосами, накрученными на бигуди, открыла ему дверь и конфузливо скрылась. Он поднялся к себе на второй этаж. В двухкомнатном номере было душно. Очень хотелось вымыться.

Он прошел в ванную, отвернул кран — воды не было. Ну-ну. Кое-как, черпая кружкой из ведра, он вымыл над раковиной лицо и руки, вернулся в номер и распахнул окно. На улице было так же душно. Удручающе теплый ночной воздух не шевелился. Вдали, чуть смягченные дрожащей дымкой, мигали и роились огни Лихаревки. Где-то завывала сирена и замолчала; потом послышался отдаленный гул, похожий на рыкание множества львов; яркий огненный след стремительной дорожкой пересек небо, осветил и погас... Как всегда, в ночное время на объектах шли работы.

Генерал Сиверс отошел от окна. Нет, нельзя сказать, решительного успеха сегодня не было. Но и отрицательного результата — тоже. А это важно — отсутствие отрицательного результата. Посмотрим, посмотрим.

Тишина в номере была настороженной, полной мелких разнообразных звуков. В водопроводных трубах не прекращалась чмокающая, булькающая суетня. У потолка, в матовом плафоне, с легким постукиванием возились лесные клопы особой местной породы — крупные, жесткие, панцирные — клопы-рыцари. К этим обитателям номера он уже привык; они жили своей странной, сосредоточенной жизнью, особенно оживляясь по ночам, когда они собирались в ламповом колпаке на какие-то свои клопьиные турниры...

Под лампой, на круглом столе, покрытом зеленой бархатной скатертью, белел прямоугольник — письмо. Сиверс его распечатал.

«Дорогой Саша, — писала жена, — как ты там поживаешь? Ради бога, будь осторожен, я всегда за тебя волнуюсь. Я без тебя скучаю, мальчишки — тоже. У нас пока все благополучно, главное — здоровы. Володя ходит весь счастливый и гордый: его корреспонденцию напечатали в «Комсомольской правде». Юра получил премию на конкурсе авиамоделлистов. А Коля вчера опять упал в грязь и штаны порвал...»

Генерал Сиверс усмехнулся и пробормотал:

— От каждого — по способностям, каждому — по потребностям.

Коля, младшенький, был его любимец: красив, строптив, черноглаз — картина!

«Постарайся не слишком задерживаться, — писала дальше жена, — мне что-то страшно без тебя и очень тоскливо. Приходят разные мысли. Вчера был Борис Николаевич, рассказывал: Доллер заболел. Ситников тоже. Относительно Доллера еще можно было ожидать, но Ситников всех удивил. Борис Николаевич беспокоится о твоём здоровье. Здесь все время идут дожди, так и лето пройдет, а тепла мы еще не видели. Ну, будь здоров. Целую тебя, мой дорогой, и жду. Твоя Лиля». ... «Заболел»... Так давно уже называют арест... Тоже секретность! Что ж, болей не болей...

Письмо было без даты — глупейшая женская манера! Сиверс исследовал конверт — отправлено авиапочтой, четыре дня назад. Он еще раз перечитал письмо — выражение какой-то досадливой нежности прошло по его лицу. «Глупая ты моя, глупая», — сказал он куда-то в себя. Потом разорвал письмо на мелкие квадратики, искал под столом корзину — ее не оказалось — и бросил обрывки в пепельницу. В дверь постучали.

— Avanti! — крикнул Сиверс.

Никто не входил.

— Войдите! Avanti по-итальянски «войдите»!

Дверь открылась. На пороге, занимая чуть ли не весь дверной проем, стоял генерал Гиндин. В руках у него была бутылка коньяка.

— Разрешите войти?

— Конечно, конечно! Милости просим! Садитесь, гостем будете.

Генерал Гиндин сел и поставил бутылку на стол.

— Пришел поинтересоваться, как вы тут устроились? Долг хозяина. Нет ли у вас в чем-нибудь недостатка? Только откровенно!

— Нет, благодарю вас, недостатка ни в чем не замечается. Напротив, все превосходно.

— Как вас устраивает номер?

— Благодарю вас, номер замечательный.

— Обслуживание?

— Отличнейшее.

— Летом у нас, — сказал Гиндин, — нередко бывают перебои с водой... Знаете, трудности роста... Вам приходится в связи с этим испытывать неудобства...

— Помилуйте, какие неудобства? Я даже не заметил, что воды нет.

Генерал Гиндин засмеялся:

— Ну, ладно, довольно церемоний. Я долго работал на Дальнем Востоке и слышал там одну китайскую формулу вежливости; на русском языке она звучит примерно так: «Шарик моей благодарности катится по коридору вашей любезности, и пусть коридор вашей любезности будет бесконечным для шарика моей благодарности». Хватит катать шарик по коридорам. Говорю просто и ясно: зашел я к вам потому, что хотел с вами поближе познакомиться, провести время в приятной беседе, выпить бутылочку коньяка... Кстати, коньяк французский, настоящий «мартель». Здесь,

в нашей деревне, такой коньяк оценить некому. Я в вас подозреваю знатока.

— Помилуйте, какой же я знаток? Впрочем, в свое время я этим вопросом отчасти интересовался. Знаете, в чем главное преимущество знаменитых французских коньяков? Отнюдь не в качествах самой лозы, а в качествах дуба, из которого делаются бочки. Сама по себе французская лоза, так называемая *folle blanche*, из которой выделываются коньячные спирты, не так уж превосходит наши кавказские, особенно армянские, сорта. Но дуб...

— Второй раз убеждаюсь в вашей обширной эрудиции и блестящей памяти. Тем более приятно угостить вас коньяком, который выдерживался, несомненно, в самой высококачественной дубовой таре. Попробуем?

— Давайте.

Сиверс взял со стола один стакан и пошел было в ванную за вторым, но генерал Гиндин его остановил:

— О нет, не беспокойтесь. В нашем «люксе» все есть — и рюмки, и бокалы, и фарфор, и столовая посуда.

Он нажал кнопку звонка. Явилась все та же заспанная дежурная. Увидев Гиндина, она спешно стала раскручивать бигуди.

— Зина, вам известны обязанности дежурной? — спросил Гиндин.

— Известны, товарищ генерал. Вы уж меня простите, я на одну минуточку только заснула, честное слово.

— Еще раз напоминаю: в круг ваших обязанностей входит не спать в часы дежурства и сразу являться по вызову. И являться прилично одетой и причесанной, а не в виде распатланной марсианки. Если вас эти условия не устраивают, скажите только два слова, и я вас немедленно освобожу.

— Товарищ генерал...

— Хватит. Об этом мы поговорим в другой обстановке. А теперь разбудите, пожалуйста, Аду Трофимовну и ска-

жите, что я прошу ее принести сюда коньячные бокалы и закуску. Заметьте — коньячные, а не просто фужеры.

— Слушаю, товарищ генерал.

Дежурная ушла.

— Видали? — спросил Гиндин. — С такими людьми приходится работать! Плохо, что их уровень жизни почти не зависит от качества их работы. А самое главное — внутреннее сопротивление. У нас вообще до того отвыкли от так называемого «сервиса» — да, строго говоря, у нас никогда его и не было... у нас до того незнакомы с идеей сервиса, что каждое начинание в этой области встречается в штыки, причем и с той и с другой стороны, вот что интересно. Протестуют и те, которые должны обслуживать, и те, которых должны обслуживать. В вашем выступлении — помните, тогда, в столовой? — прозвучал, по-моему, протест второго рода.

— Ах, бросьте, — чистосердечно сказал Сиверс, — какой протест? Просто я тогда не подумавши наговорил лишнего. Простите великодушно.

— Не стоит, не стоит извиняться, — перебил его Гиндин, видимо, впрочем, обрадованный, — что старое помнить? Я только хотел отметить, что у нас из-за такого ложно понятого демократизма люди легко мирятся с любыми условиями жизни. Спросишь у такого демократа: «Ну, как условия? Хорошо ля вас обслуживают?» А у него уже на языке готовый ответ: «Спасибо, обслуживают превосходно!» А на деле обслуживают паршиво, так и надо сказать: паршиво обслуживают!

— Мне много не нужно.

— Дело не в вас, а в принципе. Чтобы приучить народ к идее сервиса — кстати, идея благородная, ничуть не холуйская! — надо не благословлять распушенность, а наоборот — требовать и требовать! — Гиндин опустил на стол большой, красный, жестко сжатый кулак: — Требовать! И никаких поблажек! Неужели же я не знаю, что легче

спускать, чем требовать? Что проще всего быть этаким всепрощающим христосиком в мундире? Требовательность — она требует всей жизни! Я себе на этой требовательности заработал инфаркт миокарда и еще не то заработаю. Пускай я умру, но умру, требуя!

— Что вы, Семен Миронович! Мы еще с вами поживем.

— Позвольте рассказать вам один эпизод, — не слушая, говорил Гиндин. — Сразу после войны я по некоторым причинам попал в немилость, меня отстранили от больших дел и послали командиром дивизии на Сахалин. Что же, я солдат. Пусть будет Сахалин. А знаете, что такое Южный Сахалин? Нет, вы не знаете, откуда вам знать? Условия — хуже некуда, жилья нет. Домишки какие-то бамбуковые, с бумажными стенами — ветер так и гуляет. Размещались мы там попросту: где работаем, там и живем. Прибыл я к новому месту службы, принял дела, а вечером понадобилось мне посетить, извините за подробность, туалет. Вышел на улицу, походил — ничего не нашел. Вызываю начальника тыла: «Простите, товарищ полковник, что обеспокоил в ночное время, но где у вас туалет?» Смущился: «Туалета не предусмотрено. Часть только разворачивается, а раньше здесь японцы жили, у них вообще туалетов не было». — «Их дело, — говорю, — может быть, японцы и могут так жить, а евреи не могут. Поэтому, будьте любезны, распорядитесь, чтобы к завтрашнему утру, ровно к восьми ноль-ноль, у меня был туалет. Не будет — взыщу с вас». — «Есть, товарищ генерал!» Утром встаю: «Ну как?» — «Всю ночь строили, товарищ генерал. Только разрешите доложить, к восьми ноль-ноль готов не будет». — «А когда будет?» — «В восемь двадцать». — «Ничего, двадцать минут я еще могу потерпеть». И что же? Ровно в восемь двадцать...

В дверь постучали, и вошла с подносом в руках красивая, стройная женщина, безукоризненно одетая и причесанная, с огромными диковатыми глазами. Она спокойно



поздоровалась и поставила поднос. На нем были высокие, тонкого стекла, бокалы, печенье, сыр, тонко нарезанный лимон.

— Спасибо, дорогая, — светским голосом сказал Гиндин. — Познакомьтесь: генерал Сиверс, Александр Евгеньевич; Ада Трофимовна — хозяйка нашей гостиницы «Люкс».

— Очень приятно, — сказала Ада Трофимовна. Генерал Сиверс встал и поклонился.

— Присядьте, Ада, — сказал Гиндин.

Ада Трофимовна села, сложив на коленях сухие, продолговатые руки.

— Генерал — наш уважаемый гость, и я вас прошу отнестись к нему с особым вниманием. Вы меня поняли?

Ада Трофимовна кивнула.

— Завтрак в номер?

— Ради Бога, не надо, — поспешно возразил Сиверс. — Это бы меня только стеснило, к тому же я не имею привычки завтракать.

— Может быть, обед, ужин? — спросил Гиндин.

— Покорно благодарю, ничего.

— Видите, Ада, наш гость ничего не хочет. Тем более интересная задача — угодить ему. Я вас прошу, Ада, иметь это в виду. А теперь я вас больше не задерживаю...

Ада Трофимовна встала, улыбнулась, поклонилась и вышла.

— Какова? — спросил Гиндин. — Герцогиня! Прямо Элиза Дулитл из пьесы «Пигмалион».

— Красивая женщина, — ответил Сиверс.

— Главное, манеры. За манеры я ее и держу. На начальство она действует без промаха. Приедет какой-нибудь такой, начнет метать громы и молнии, а я на него — Аду. Смотришь, через небольшое время этот громовержец из рук ест. Да, в этом смысле Ада незаменима... Одна беда — глупа как гусыня.

— Чему это мешает? — сказал Сиверс. — Женщина — как поэзия. Знаете, у Пушкина: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой».

— Действительно, некоторые любят женственность в чистом виде, так сказать, о натюрель. Но о вкусах не спорят. Я лично предпочитаю женщин, с которыми в промежутках можно еще и разговаривать. Разрешите вам налить?

— Пожалуйста.

Гиндин налил понемногу коньяку в оба бокала.

— Коньяк, я слышал, требует больших бокалов, не так ли?

— Совершенно верно, только нужно перед тем, как пить, слегка его взболтать круговым движением: вот так, ополоснуть им стенки, чтобы лучше чувствовался букет.

Генералы взболтнули свой коньяк круговыми движениями, принялись и выпили.

— Ну как?

— Первоклассно, — сказал Сиверс, закрывая глаза.

— Я рад вашей высокой оценке. Повторим?

— Можно.

— За наше знакомство.

Чокнулись, выпили.

— Вы сыром закусывайте, Александр Евгеньевич.

— Нет, я лучше лимончиком.

— Кстати, — сказал Гиндин, разглядывая коньяк на свет, — прошлый раз с вами в столовой, если не ошибаюсь, была женщина. Кто она такая?

— Да, как будто была, — равнодушно ответил Сиверс. — Ромнич Лидия Кондратьевна, конструктор, кажется, по боевым частям. А что?

— Она показалась мне интересной. Запоминающееся лицо. Я и потом встречал ее раза два-три — в столовой, на улице... Какие глаза, вы заметили? Торжество скорби. Глаза великомученицы, святой! Откуда такие глаза у совет-

ского инженера-конструктора, да еще по боевым частям? Загадка! А главное, эта правдивость, обжигающая правдивость на лице...

— Однако вы хорошо описываете, со знанием дела. Даже меня проняло.

— А что, она вам не нравится?

— Как вам сказать... Слишком худа.

— Женщина не может быть слишком худой.

— Ну это на вкус. О вкусах, как вы правильно заметили, не спорят.

— Вы, конечно, женаты? — спросил Гиндин.

— Женат, — ответил Сиверс, отсекая голосом продолжение разговора.

— И дети есть?

— Трое мальцов.

— В каком возрасте, позвольте узнать?

— Старший школу кончает, а младшему двенадцать стукнуло. Колей зовут. Красавец.

— Это хорошо, — сказал Гиндин. — У меня две дочери. Замужем, внуков народили. Жена там, с внуками, а я здесь один с папой. Вроде холостяка на старости лет.

— Это хорошо, — сказал Сиверс.

Коньяку убавилось уже порядочно. Генералы беседовали в обстановке полного, немного размягченного дружелюбия.

— Знаете, — говорил Гиндин, — если вы хотите что-нибудь на этом свете делать, а не сидеть, как Будда, глядя на свой пуп, то на вас будут клеветать — это как дважды два четыре. Возьмем меня. Чего только про меня не говорят! Я и деспот, я и вор, я и развратник. Вором, я клянусь вам, никогда не был, копейкой не воспользовался для себя лично, наоборот, сам с ворами воевал, и очень успешно; это факт, мои подчиненные не воруют! Пункт два: развратник. Развратником рад бы быть, да годы не позволяют, а после двух инфарктов особенно. Здесь на меня стали всех собак

вешать за то, что я будто с Адой живу. Это почти клевета, я с ней очень мало живу, и нужна она мне совсем для другого. Я люблю, чтобы вокруг меня были мои люди, мой стиль. Принять, угодить, блеснуть. Это в ней есть. Мне советуют уволить ее, чтобы не было разговоров! Пха. Разговоры все равно будут. Пока жив Гиндин, о нем будут разговаривать, такова моя судьба.

— *Habent sua fata libelli.*

— Как вы сказали?

— Это по-латыни: книги имеют свою судьбу. Люди тоже.

— Мне, к сожалению, не удалось получить классического образования: процентная норма. Кончал реальное. В сущности, даже не кончил: началась гражданская война, граната у пояса, знаете: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...» Вы тоже недоучились?

— Нет, я гимназию кончил в восемнадцатом. На гражданскую попал уже потом.

— А вы знаете, Александр Евгеньевич, что это классическое образование может сыграть с вами злую шутку? Сейчас не очень любят людей, которые злоупотребляют иностранными языками, живыми и мертвыми. Я бы на вашем месте поостерегся. Особенно с вашей, прямо сказать, нерусской фамилией.

— Я — российский дворянин, — надменно отвечал Сиверс, — предки мои проливали кровь за Российскую империю, а я — за Российскую Федеративную. Как-нибудь мы с Россией разберемся, русский я или нет.

— Я только предупредил, — мягко сказал Гиндин. — За ваше здоровье!

— С месяц назад, — перебил его Сиверс с некоторым воодушевлением, — вызвал меня начальник штаба отдела кадров, некто Мищенко. Надо вам сказать, что на этом месте прежде сидел другой деятель по фамилии Тищенко — вот ведь как бывает. Тищенко сняли (посадили), во-

дружили Мищенко. Вызывает меня Мищенко и начинает разговор о том о сем, а карт не открывает. Я тоже перед ним Швейком прикинулся. Водим этак друг друга за нос — кому скорей надоест? В конце концов оказалось, что его интересует моя фамилия. Откуда, мол, у меня такая фамилия? Читай: не агент ли я иностранной разведки? Я говорю ему: «Это дело серьезное, позвольте, я к вам завтра зайду». Назавтра являюсь, захватив необходимые документы, в том числе фамильную реликвию: жалованную грамоту за собственноручной подписью императрицы Елисавет, где удостоверено, что прапрапрапрадед мой, Карл Иоахим Флориан Сиверс, за верную службу в российских войсках пожалован потомственным дворянином. Показал я Мищенко эту грамоту, даже печать сургучную предложил обследовать, он обследовал и, знаете, весьма даже доволен остался. Ушел я от него и думаю: воистину чудны дела твои, Господи! Я ли это, тот самый, которого в двадцать первом году из университета выперли за дворянское происхождение? Видали?

— Да, наша жизнь часто совершает крутые повороты, — сказал Гиндин. — Когда становится плохо, я всегда на это надеюсь. Я оптимист.

— А знаете, — снова заговорил Сиверс, — я по этому поводу вспомнил одну историю про Дмитрия Дмитрича Мордухай-Болтовского, был такой профессор, математик. Случилась эта история то ли в двадцать втором, то ли в двадцать третьем году. В университете, где Дмитрий Дмитрич имел кафедру, проходила очередная кампания по выявлению классово чуждых элементов. Роздали анкеты. Дмитрий Дмитрич возьми да и напиши в графе «сословная принадлежность до революции»: дворянин, мол, но это неправильно, потому что по справедливости род Мордухай-Болтовских княжеский; что интригами царского правительства княжеский титул был у рода отнят и что он просит советскую власть его восстановить: «Бывший князь, —

пишет, — это все равно как бывший пудель». Что тут началось — вы себе представляете. Старика отовсюду поперли в три шеи. Он и сам понял, что сглупил, но было уже поздно. Совсем бы ему плохо пришлось, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что семья Болтовских не раз прятала Михаила Ивановича Калинина от полиции. Так вот, когда вся эта история разразилась, поехал Дмитрий Дмитрич в Москву к Михаилу Ивановичу на прием: «Так и так, мол, заступись, гонят меня отовсюду». Михаил Иванович, конечно, его принял, выслушал, обещал помочь. Сидят они друг против друга — старое вспоминают. И говорит Михаил Иванович Калинин: «Дмитрий Дмитрич! А помните, как вы мне тогда говорили: «Брось, Миша! Лбом стену не прошибешь!» — «Помню». — «А ведь прошибли-таки, Дмитрий Дмитрич».

Генерал Сиверс умолк.

— Я не совсем понял, к чему вы это рассказывали? — любезно осведомился Гиндин.

— К тому, что лбом стенку как раз и прошибешь, если только бить систематически.

— Золотые слова, — сказал Гиндин и поднял бокал. — Итак, за лоб?

— За лоб, Семен Миронович. А еще лучше, за лбы.

...Внезапно раздалось какое-то утробное гоготание, всхлипы и свисты, а затем из ванны донесся плещущий шум: пошла вода.

## 7

На другой день генерал Сиверс встал рано, чтобы ехать на опыты. Голова у него болела, во рту был железный вкус. «Старею, — подумал он, — и выпили-то всего ничего». Он пошел мыться — кран защебетал, выронил ржавую каплю

и иссяк. Сиверс неохотно умылся теплой водой из ведра; на дне отстоялся за ночь бархатистый слой ржавчины. Опять: «Старею, начинаю чувствовать неудобства». Он прошел обратно в номер, взял с подноса зачерствевший, обмаслившийся вчерашний ломтик сыра и с отвращением съел. Через пять минут должна была прийти машина. Он спустился вниз. У лестницы стоял низенький старичок, серый, как мышь, с бритой головой и небритым лицом.

— Здравствуйте, — сказал Сиверс.

— Здравствуйте, — ответил старичок трагическим шепотом, — я вас специально здесь дожидаюсь. Я Гиндин, Мирон Ильич, папа генерала.

Сиверс подал ему руку:

— Очень рад познакомиться.

— Я ждал вас, потому что имею твердое намерение с вами поговорить. Я вас ждал как спасителя!

— Пожалуйста. Чем могу служить?

— Пройдемте к нам, — сказал старичок, робко оглядываясь, — только прошу тет-а-тет, строго между нами.

— Будьте благонадежны.

Они вошли в комнату, пустоватую, точно такую, как номер «люкс» наверху, только похуже и попроще: без зеленой скатерти, без зеркала, без филодендрона в углу. Комната казалась нежилой, только на стуле, растопырив золотые плечи, отдыхал огромный генеральский китель да из-под кровати показывала стоптанные задники пара разболтанных шлепанцев.

— Вы простите, здесь не совсем порядок, не успеваю убирать. Знаете, семьдесят пять лет — это семьдесят пять лет, а жара есть жара.

Руки у старика дрожали, и он все топтался.

— Вы бы присели, — сказал Сиверс.

— Вы садитесь, вы! — воскликнул папа Гиндин. — Вот на это кресло, а я на стуле, я так, я на стуле посижу, что вы.

После короткой борьбы Сиверсу пришлось-таки сесть в огромное кресло, хранившее, казалось, отпечаток мощных плеч генерала Гиндина, а старик примостился напротив на стуле, робко поджав ноги.

— Ваше имя-отчество, позвольте узнать?

— Александр Евгеньевич.

— Я в энциклопедии читал про одного Сиверса, так это не вы?

— Нет, это мой дядя.

— Очень плохо у нас еще работают энциклопедии. Такого человека, как вы, — и не поместить.

— Мирон Ильич, — сказал Сиверс, — я надеюсь, речь идет не о том, чтобы устроить меня в энциклопедию? Если у вас есть такая возможность, я об этом охотно поговорю в другой раз, а теперь я должен ехать...

— Что вы, простите, я сейчас, — заволновался старик. — Мое дело совсем не в этом. Я к вам обращаюсь потому, что вы имеете влияние на моего сына. Пожалуйста, запретите ему пить.

— Помилуйте, как я могу ему запретить? Мы с ним едва знакомы.

— Нет, не говорите, я видел, в каком состоянии он вчера от вас пришел. Ему нельзя пить ни капли, это для него яд, смерть. У него очень большое сердце!

— Охотно верю, но я тут ни при чем. Я его не совращал. Он сам ко мне пришел с бутылкой «мартеля». Ей-богу.

— Знаю, знаю, — горестно поднял ручки Мирон Ильич. — Но если бы вы его не поддержали в этой идее... Он не стал бы пить один.

— Ваш сын, кажется, не совсем мальчик.

Старик заплакал.

— Вы не знаете моего Сему. Это же такая душа! Нежный, чувствительный... Вы видите только оболочку, грубую оболочку солдафона. Я, только я один, знаю, какая это душа! Это цветок, а не человек.



Сиверс невольно улыбнулся.

— Не смейтесь, ради Бога, не смейтесь, — взмолился папа Гиндин, сложив ладошками мохнатенькие руки, — не знаю, как передать вам, чтобы вы поняли! Никто не понимает. Его собственная жена не понимает! Не поехала с ним сюда... Я не осуждаю, но, если бы я был его женой, неужели бы я с ним не поехал? Куда угодно поехал бы, на край света... А как он переживает, Сема, это страшно смотреть. «Папа, — говорит он мне, — никто меня не любит, ты один меня любишь, папа». Так и говорит! И это правда, святая правда. Я у него один, и он у меня один. Не пей, говорю, Сема. Пьет...

Старик вынул из кармана заношенный серый платочек, сложил плотным квадратиком и вытер слезы. Сиверс болезненно сморщился. Не слезы пронзили его, а этот платочек.

— Ну-ну, — сказал он, — пожалуйста, Мирон Ильич, не плачьте, а то я сам зареву, я человек нервный. Скажите, чем я могу помочь, ну право же, я постараюсь.

— Чем помочь? Будьте ему другом. У него же нет друзей, ни одной души. Гордый, одинокий. Здесь на него смотрят косо, не прощают ему принципиальности. Он же честный, как брильянт, а люди этого не любят. Он говорит «плевать», а разве ему плевать? Все эти сплетни, разговоры — они ему ложатся прямо на сердце. А самое главное, ему нельзя пить, ни грамма. После второго инфаркта профессор так и сказал: «Будет пить — покупайте сразу место на кладбище». Хорошо? А он пьет.

— Успокойтесь, Мирон Ильич, я больше с ним пить не буду и его удержу при случае...

— А разве в этом все? — вскричал Мирон Ильич. — Эта Ада рядом с ним, видели? Страшная женщина! Разве она его любит? Она любит только свою красоту, и больше ничего! Это сердце, неспособное к любви. Мрачная пустыня, а не сердце! На меня она смотрит, как... Клянусь вам, я на

паршивую собаку смотрел бы добрее, чем она смотрит на меня! Нет, ничего, я терплю, я все стерплю ради бедного Семы...

— Послушайте, Мирон Ильич, зря вы отпеваете своего сына. Ваш Сема — мужик могучий. Деятелен, энергичен, сам черт ему не брат. Вчера мы с ним ноздря в ноздю пили, даже я маленько покосился, а ему хоть бы что. Его надолго хватит, честное слово. Он еще вас похоронит.

— Вы это серьезно? — робко обрадовался старик. — У вас такое впечатление?

— Совершенно серьезно.

— Может быть, вы и правы, может быть... Я тут все один да один, не с кем посоветоваться, поневоле начинают появляться мысли... Может быть, может быть...

— Не может быть, а именно так, — авторитетно заявил Сиверс. — А что касается вина, так я вам напомню прекрасное четверостишие Омара Хайяма:

Я пил всю жизнь, умру без страха  
И хмельный лягу под землей.  
И аромат вина из праха  
Взойдет и встанет надо мной!

Папа Гиндин вдруг чрезвычайно оживился:

— Омар Хайям! Вы любите Омара Хайяма? Не может быть!

— А вы тоже любите?

— Обожаю!

— Прекрасно! А помните...

...Шофер за рулем машины, ожидавшей генерала Сиверса у подъезда гостиницы «люкс», несколько раз уже давал нетерпеливые сигналы, но Сиверс и Мирон Ильич его не слушали. «А помните вот это?» — спрашивал Сиверс. «Да-да, прекрасно, возвышенно, — отвечал Мирон Ильич, —

а помните вот это?» И они все читали и читали стихи, и старик хлюпал от радости, да и Сиверс был растроган.

Они не заметили, как подъехала машина, как поднялся по ступеням вышедший из нее большой человек, как приоткрылась дверь. Посредине комнаты на цыпочках стоял Мирон Ильич и, размахивая руками, декламировал:

Когда я трезв, нет радости ни в чем,  
Когда я пьян, мутится ум вином.  
Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье,  
Которое люблю за то, что жизнь — лишь в нем.

— Да-да, — отвечал Сиверс из кресла, — именно так!

— Здравствуйте, Александр Евгеньевич, — сказал, входя, генерал Гиндин. — Я вижу, что вы с моим папой уже нашли общий язык.

## 8

Дни в Лихаревке шли горячие и тяжелые, они начинали задыхаться уже с утра. По мере того как крепчала жара, командование переносило начало рабочего дня все раньше и раньше. Теперь он начинался уже в пять часов, и все равно спасения не было. В служебных помещениях люди сидели измученные, потные, злые, прилипшие к своим стульям. Иногда даже напиться было нечем, и служащие бегали из отдела в отдел в поисках воды. Об испытательных площадках и говорить нечего — там был суший ад, и все-таки изнуренно и упрямо работали черные, на себя непохожие офицеры и солдаты. И среди этого раскаленного окаянства особым миром приволья была пойма. Наверху — плоская степь, мертвое однообразие, карающий зной. Внизу — пойма.

Пойма была бесконечно разнообразна. Она менялась от места к месту и от дня ко дню. Река здесь распадалась на сотни рукавов, намывала и снова разрушала песчаные острова, затопляла ивняковые заросли, выворачивала вверх корни — разнузданная смесь воды, песка и растительности. Кусты и деревья в пойме росли где попало; где только удавалось зацепиться корнями: на берегу так на берегу, в воде так в воде. Все это пускало листья, произрастало, буйствовало. В узких протоках, где вода бежала особенно быстро — на веслах не выгребешь, — ветки затопленных кустов напряженно дрожали, согнутые течением, и все-таки зеленели, зеленели изо всех сил. Были и широкие рукава, где все более или менее приходило в порядок: посредине — вода, по краям — зелень. Один из таких рукавов, рукав-богатырь шириной полкилометра, а то и больше, облюбовали приезжие — командировочные — для купанья. Местные жители купаться почему-то не ходили, отсиживались после работы в домах.

— Черт их знает, — сказал Теткин, — окопались у себя в квартирах, окна завесили, детей воспитывают, а здесь — такая красотища! Силой бы притащил.

На песчаном берегу большого рукава расположилась группа купальщиков: Скворцов, Манин, Теткин, Джапаридзе, а из женщин — Лора, Томка и Лида Ромнич. Они пришли с площадки; рядом с Теткиным лежал мегафон, который он «для форсу» таскал с собой на испытания, любил при случае ругнуться в трубу, но в присутствии женщин удерживался. Сейчас женщины отдельной кучкой жались поближе к кустарнику с его мелкой, коротенькой тенцой; мужчины добросовестно загорали. Один Джапаридзе солнца избегал, потому что по неосторожности уже обгорел. Он сделал себе небольшой шалашик из простыни, подпертой мерной линейкой, и лежал под ним на одеяле, спрятав от солнца упитанный малиновый торс, но выставив наружу ноги. В руках у него был «Огонек», он решал кроссворд.

— Гляди-ка, наш нежный Лютиков па одеяле устроился, — сказал Теткин. — Под собой — индивидуальное одеяло, над собой — индивидуальная крыша. Непримирымый борец за собственное благополучие.

— Он же обгорел, — вступился Манин.

— Обгорением можно оправдать шалаш, но не одеяло. Мишка, откуда одеяло? Для гостиничного — слишком красивое.

— Одна знакомая дала.

— Другья, — сказал Скворцов, — вы недооцениваете человека. Перед вами — Казанова лихареvского масштаба. Каждый вечер он бреется с риском для здоровья, надевает галстук-бабочкой системы «смерть девкам» и уходит на поиски любовных утех...

— Вы преувеличиваете, — польщенный, сказал Джапаридзе.

— Не скромничайте, мне все известно. У меня своя агентура по всей Лихаревке работает. Знаю, например, что вы предпочитаете брюнеток средней упитанности, в отличие от Теткина, который более разнообразен в своих вкусах... Теткин, подобно трудолюбивой пчеле, снимает мед с любого цветка...

— Ты циник, — сказал Теткин. — Я должен бороться с твоим влиянием на массы. Ты опустошаешь нас своим цинизмом.

— Тебя опустошишь, как же, — сказал Скворцов. — Ну, не знаю, как массы, а я в воду. Кто со мной? Поплыли на ту сторону, а?

Он встал и расправил плечи, противоестественно втянув загорелый живот чуть не до позвоночника.

— Вы по системе йогов работаете? — спросил Джапаридзе.

— Нет, по своей собственной.

— И чего хвастаешься? — сказал Теткин. — Ничего красивого в тебе нет! И за что только тебя женщины любят?

— Тебя они, кажется, тоже не обижают.

Лида Ромнич в каких-то выцветших трусиках, с узкими лямками лифчика на худой разноцветной спине молча встала и пошла в воду. Войдя по пояс, она бросилась и поплыла. «Да она — разрядный пловец», — сразу отметил Скворцов. Лида шла кролем с той непостижимой мягкостью слитных движений, которая делает человека в воде похожим на рыбу, на выдру, на дельфина. Скворцов тоже кинулся в воду и, подстроившись, поплыл рядом с ней. Лида высунула голову, гладко облипшую мокрыми волосами. Чужое, озорное лицо казалось лилово-коричневым.

— Давайте на ту сторону, — предложил Скворцов. — Не бойтесь?

Вместо ответа она нырнула, он — за ней, не успев толком набрать воздуха. Под водой было светло и слабо солнечно. В метре-полтора от себя сквозь пронизанную солнцем воду он увидел длинные, мягко колеблющиеся ноги и плоско очерченный живот; плывущая фигура уходила вглубь, в полупрозрачную зеленоватую муть. Небольшая рыбка, юрко махнув хвостом, сиганула мимо его лица; от нее бисером бежали вверх блестящие пузырьки. Скворцову не хватило дыхания, он вынырнул. Огляделся — Лиды не было видно. Только он начал беспокоиться и собрался опять нырнуть, как небольшая темная голова появилась поодаль, ниже по течению, обернулась, открыла рот с целым парадом белых зубов, крикнула: «Догоняйте!» — и бросилась поперек реки. Снова мягкой мельничкой завращались согнутые руки. «Отлично плывет, — подумал Скворцов, — а все равно мне ничего не стоит ее догнать, ведь я мужчина, царь природы». Он поднажал, с наслаждением вложил силу и пошел быстро, резво, с хорошим наплывом. Догнал, конечно, и перегнал, потом сбавил скорость и поравнялся. Он перешел с кроля на брасс — и она тоже, легко, естественно, словно перетекла из стиля в стиль. Теперь они шли рядом, не торопясь, отчетливо выделявая каждое движение.

- Отлично плывете.
- Спасибо.
- Второй разряд?
- Когда-то был первый.
- А теперь?
- Некогда. Сын.
- А жаль.
- Не только этого жаль.

Они говорили урывками, в те короткие секунды, когда поднимали голову, чтобы забрать воду. Толчок, скольжение, руки в стороны, рот на поверхность, слово. И опять: толчок, скольжение... Разговор в ритме брасса:

- Как сносит.
- Надо брать выше.
- Куда?
- На ту иву.
- Ладно.

«Вот как говорим, вот как плывем, — думал Скворцов. — Толчок, скольжение, слово. С этой женщиной можно плыть. Она молодец». Он плыл и наслаждался. Кругом был солнечный свет, прямой и отраженный, не поймешь, где небо и где вода.

С берега было видно, как две головы, согласованно поднимаясь и опускаясь, шли наперерез реки. Каждую голову сопровождал стройный треугольник.

— Вот пловцы! — сказал Манин. — Что значит тренировка.

— А то! — отозвался Теткин. — Пашка Скворцов у нас первый чемпион, да и она ему под пару.

— Смотрите, ребята, кто сюда идет! — крикнула Томка.

По тропинке к берегу шел генерал Сиверс в сугубо гражданском виде: затрапезные брючки, резиновые тапочки, серая рубашка с закатанными рукавами. Теткин вскочил, вытянулся по-военному:

— Здравия желаем, товарищ генерал.

За ним поднялся Манин. Генерал Сиверс снисходительно махнул рукой:

— О, прошу вас, не надо почестей.

Он сел на песок, снял тапки, вытряхнул их и, не торопясь, надел снова.

— Сегодня очень жарко, — завел разговор Ваня Манин.

— Хорошо, тепло, — сказал Сиверс.

— Нечего сказать, тепло! — захохотал Теткин. — Сорок два градуса, тепло!

Он один чувствовал себя с генералом непринужденно. Остальные поеживались. Сиверс уютно устроился на песке, скрестив ноги по-восточному. На груди у него ярко малиновел обожженный треугольник; голые худые руки тоже были розовые. Он с видимым наслаждением подставил лицо солнцу.

— Хорошо, тепло.

— Сгорите, товарищ генерал, — не унимался Теткин.

— Будьте покойны. Мой девиз, как у страхового общества «Саламандра».

— Какая саламандра?

— Теткин, вы еще молоды и вам простительно этого не знать. При проклятом царском режиме страхованием от огня занималось общество «Саламандра». На дверях у застрахованных прибывались бляхи с изображением саламандры и девизом: «Горю и не стораю». Одно из моих самых ярких детских воспоминаний. Кто знает? Может быть, если бы не эти бляхи, вся моя судьба была бы иной.

— А именно? — спросил Теткин.

— Горел бы и сгорел в конце концов.

— Саламандры, это у Чапека, я читала, — попробовала вмещаться Томка.

— Не перебивай, — остановила ее Лора.

— Да я уже кончил, — сказал Сиверс.

Разговор как-то не налаживался.



— Искупались бы, товарищ генерал, — посоветовал Теткин, потирая свой темно-коричневый кудрявый живот. — Право, не пожалеете.

— А что, теплая вода?

— Прямо горячая. В нашей столовой щи холоднее бывают.

— Сам не знаю, — задумчиво сказал Сиверс. — Нешто и в самом деле выкупаться?.. Нет, не буду.

— Жарко ведь, товарищ генерал.

— Пар костей не ломит.

— Искупайтесь, Александр Евгеньевич, — сердечно посоветовала Лора. — После купания такое блаженство наступает, просто не передать.

Она лежала вальяжно, пышным задом кверху, вся в песке, как обсыпная булка. Генерал не без одобрения на нее взглянул:

— А может, и в самом деле?..

— Конечно, искупайтесь.

Сиверс нерешительно потоптался с ноги на ногу. Видно было, что человек мучается.

— Раздевайтесь, Александр Евгеньевич, а мы отвернемся, правда? — с приглушенной бойкостью прожурчала Томка. — Лора, отворачивайся, я локтем прикроюсь.

Генерал Сиверс тяжело вздохнул и начал вылезать из брюк. Медленно стянул через голову рубашку. Алый треугольник на белой безволосой груди обозначился ярко, как вымпел. Вынув из кармана плавки, он долго завязывал их под трусами, потом снял трусы. Раздетый, он оказался белым и тонким, как макаронина.

— Что, можно уже смотреть? — спросила Томка, выглядывая из-под локтя.

— Сколько угодно, — сказал Сиверс. — Сказано: и кошка может смотреть на короля.

— Как, как? — пискнула Томка.

— Не слушайте, это я так, для моциона языка.

— А наши-то — смотрите где! — сказал Ваня Манин.

Две головы — два черных пятнышка, — все так же мерно поднимаясь и опускаясь, резали воду далеко, у того берега.

Генерал Сиверс подошел к кромке песка, осторожно пощупал воду породистой тонкой ногой и громко взвизнул.

— Что такое, товарищ генерал? — испугался Теткин.

— И эту воду вы называли теплой!

— Теплая, ей-богу, теплая, как парное молоко!

— Молодой человек, питаюсь в столовых, вы забыли, что такое парное молоко. Нет уж, увольте, не буду купаться.

— Да ну бросьте, Александр Евгеньевич! Я с вами, а? — предложила Томка.

— И не просите.

Генерал Сиверс отошел от воды и стал одеваться так же медленно и методично, как раздевался. В последнюю очередь он надел очки, сказал: «Честь имею кланяться» — и удалился, не оборачиваясь.

Сначала все молчали, глядя ему вслед, потом стали обсуждать.

— Странный человек! Воды боится, — сказал Джапаридзе.

— Не воды он боится, а холода, — возразила Лора.

— Какой же холод? Жарко, — заметил Манин.

— А ему холодно, — настаивала Лора. — Такой особенный человек. Я читала один роман про человека с Венеры. Он прилетел на нашу Землю, и ему все холодно, холодно... Никак не мог согреться, так и умер. Мне понравилось.

— Венера — планета любви, — мечтательно сказала Томка. Сегодня она была не по обычаю молчалива.

— Бросьте вы со своей Венерой, — перебил Теткин, — ничего ему не холодно, он в самолете без отопления летел и то не замерз. Нет, у него какая-то другая цель, но какая?

— Кстати, — крикнул из-под своего индивидуального шалаша Джапаридзе, — кто знает: спутник Марса, шесть букв, на конце «с»?

— Энгельс! — ответил Теткин.

— Балда! Не Маркса, а Марса.

— Тогда не знаю.

— Жаль, Сиверс ушел, — сказал Манин. — Он все знает. Исключительно образованный человек. Восемь языков изучил, если не больше.

— И откуда у него объем головы берется? — захохотал Теткин. — Я бы двух языков и то не выдержал. Да что языки? Мне в Главке совершенно ответственно утверждали, что генерал Сиверс помнит наизусть всю таблицу логарифмов. Я не поверил, конечно, и к нему: «Правду ли, Александр Евгеньевич, про вас говорят, что вы таблицу логарифмов на память знаете?» А он так странно на меня поглядел: «Вам это говорили? Ну что ж, распространяйте дальше». И пошел.

— В цирке один такой выступал, — вставил Джапаридзе. — В уме корни извлекал. Прямо ненормальный.

— Насчет таблиц сведения, конечно, не до конца проверены, — продолжал Теткин, — а насчет «пи» я своими глазами видел. Знает число «пи» наизусть до шестидесяти знаков. По этому «пи» он даже измеряет состояние опьянения. Напишет «пи» и считает знаки. Как дойдет до сорока — все. Ни капли больше не выпьет.

— Нам бы такое «пи», — сказал Манин.

— Тебе! Ты и без «пи» трезвенник. Одну рюмку полчаса сосешь, смотреть тошно.

— Однако не пора ли купаться? — спросил Джапаридзе из-под сени своего шалаша.

— Пора, пора, — закричал Теткин, вскакивая на ноги, — самая пора купаться, купаться!

Он подскочил к шалашу, ухватился за одеяло, на котором лежал Джапаридзе, поволок к берегу, приподнял

за край и скатил лежащего в воду вместе с журналом «Огонек».

— Не понимаю таких шуток, — кричал Джапаридзе.

— Куча мала! — завопил Теткин, ухватился за шею Манина и, ловко дав ему подножку, свалил в воду прямо на Джапаридзе, а сверху упал сам. Замелькали спины, ноги, руки. Теткин отфыркивался, как тюлень. Лора глядела на возню с умилением:

— Какой веселый. Какой общительный! Это надо же!

— Ничего, — согласилась Томка. — Только мне майор Скворцов неизмеримо больше нравится. Ты не обижайся, даже сравнения нет по культуре.

— Девушки, в воду! — крикнул Теткин.

Лора и Томка, чуть жеманясь и поджимая пальцы, вошли в реку, выбрав мелкое место. Течение перекатывалось через отмель, сильное, как струя из шланга. Пузырьки, деревяшки, веточки — все это, повертываясь и покачиваясь, летело мимо.

— Ух, и несет же, — сказала Томка. — Прямо с ног сбивает, жутко, правда?

— Ужас! — ответила Лора. — Нет, лично я такое купанье не люблю: того и гляди утонешь.

— А где наши-то? Лида с майором? Были две головы — и нет.

— А вон погляди, на том берегу. Да нет, правой смотри. Видишь? Вон куда их снесло. Как же они возвращаться-то будут, бедные?

Далеко, на противоположном берегу, в мелком раkitнике, виднелись две тощие знакообразные фигуры: мужская и женская. Лиц отсюда разглядеть было нельзя, но, судя по всему, они разговаривали, и довольно оживленно. Он, жестикулируя, что-то рассказывал, а она слушала, теребя одной рукой ветку, а другой опираясь на бедро. Издали это похоже было на разговор двух паяцев-дергунчиков.

— Как это люди в такую даль не боятся плавать? — сказала Лора. — Я бы умерла со страху. Ну, пускай он, мужчина все-таки, а она? Не понимаю таких отчаянных женщин.

— А я понимаю, я сама отчаянная, я только плавать не умею, а то бы поплыла. Я ничего не боюсь, в жизни все надо испытать, правда?

Две фигуры на далеком берегу изменили позы: теперь говорила она, а он слушал.

— Знаешь что, Лора, — сказала Томка, — а ведь между ними что-то намечается.

— Глупости! Тоже выдумала! Ничего не намечается. У нее муж и сын, и у него тоже жена и сын.

— Как будто это может помешать, — хихикнула Томка. — Вот у вас с Алексеем тоже двое детей, а он разве на это посмотрел? Наплевал и пошел по линии любви. В наше время на это не смотрят: дети. Понравилась, погуляли, раз-два-три — и семья разрушена. Правда? Вот так и у них будет.

— Какая ты, Томка, мещанская, прямо ужас. Ты всех, наверно, на свой аршин мерешь.

— Это я-то? Ну, нет, — засмеялась Томка. — Я-то как раз к мужчинам равнодушна. У меня семья крепкая.

— И про Лиду не говори. Лида не такая, чтобы позволить. Лида глубокая.

— Ну, ладно, давай сплаваем.

Надув щеки и выпучив глаза, Лора и Томка кинулись в воду и поплыли по-собачьи, сильно брызгая ногами. Течение подхватило их и понесло.

— Ой, боюсь, вода так и тянет! — кричала Лора. — Постой, коса упала.

Она остановилась по пояс в воде, выжимая воду из тяжелой своей косы. Томка тоже встала на дно, мелко и часто дыша, лопатки так и ходили.

— А Лидка-то с майором все беседуют, обсуждают. Я тебе говорила: что-то у них есть. Слишком уж долго беседуют.

Лора, не отвечая, глядела на тот берег, где все еще разговаривали две фигуры-закорючки — мужская и женская. Мужчина теперь почему-то сидел на корточках.

— Объясняется, — сказала Томка.

— Глупости, кто ж это на корточках объясняется?

— Верь моему слову, у меня на эту любовь нюх, как у милицейской собаки.

Тем временем Теткин, Манин и Джапаридзе, искупавшись, выходили из воды.

— Одна полна, другая худа, — говорил Джапаридзе, — нет золотой середины.

— Разве в этом дело? — отвечал Манин. — Важно, может ли женщина быть настоящим другом человеку.

— Правильно! — согласился Теткин. — Как вы думаете, братцы, жениться мне или еще погодить?

— А кандидатура есть? — спросил Манин.

— За этим дело не станет. Кандидатур у меня — вся Лихаревка да еще пол-Москвы.

— Нет, лучше не женись, — сказал Джапаридзе. — Распишешься — сразу свободу потеряешь, зарплату отдавай, пить не смей.

— Смотря какая жена, — заметил Манин. — Бывают очень чуткие.

— Ну, ладно, братцы, пора закруглять купанье, — сказал Теткин. — Солнце опускается, скоро комары нападут, наплачемся, да и ужин пропустим. А наши-то два чемпиона все на том берегу консультируются.

— Не ждать же нам их, — сказал Джапаридзе.

Теткин взял мегафон и крикнул в трубу:

— Пашка! Лида! Скворцов! Ромнич!

Голос утробно загрохотал над рекой. Две фигуры, два значка — мужской и женский — на том берегу замахали руками.

— Чемпионы! Черт вас дери! — басовито раскатывался мегафон. — Чего вы там развели конференцию? Сейчас давайте обратно! Без вас уйдем!

— Дём... — ответило эхо.

От того берега отделились два быстрых треугольника; у вершины каждого из них периодически появлялась и пропадала черная точка.

Теткин опустил трубу и сказал:

— Хорошо плывут... собаки!

## 9

Генерал Сиверс шел домой один. В душе у него что-то сосало. Эх, напрасно не выкупался... Может быть, все-таки надо было выкупаться?

Он шел, и вспоминался ему один день в детстве, очень похожий по ощущению. Было ему тогда лет семь или восемь. Домашние собрались в гости, звали его с собой. А он все не мог решиться: идти или нет?

— Ну, хватит полоскаться, — сказала мама, — решай.

А он все полоскался. Потом будто бы решил, сказал: не пойду. Но это он так сказал, ему очень хотелось, чтобы его уговорили. Но никто его уговаривать не стал, просто ушли, а он остался один. Ужасно один, и так хотелось в гости. Как сейчас помнит: голубые обои, один, и солнце, один прямой луч, и в нем пылинки звездочками.

Сейчас он шел по горбатой, изъезженной дороге с глубокими колеями. Окаменевшая грязь. Сколько предметов намертво в нее всохло: истлевший валенок с половиной галоши, моток ржавой проволоки, колесо... Какие здесь, должно быть, разыгрывались бои в героическую грязевую пору. Как завывали машины, как бились возле них люди, подсовывая под скаты брусья и колья, а то и ватники. Как дул холодный ветер, а люди закуривали, заслонив ладонями огонь, и между пальцами у них светило красным...

А сейчас по обе стороны дороги зеленели странные деревья — как их там зовут, ивы или ветлы? — бородастые, сказочные, сплошь оплетенные тускло-зелеными тяжами водорослей. Это весной поднималась вода, высоко, до самых верхушек, стояла вода, а потом ушла, оставив на деревьях водоросли. Как уходила вода — это и сейчас было видно по листьям: на самых верхних ветвях они были здоровые, блестящие, темно-зеленые; пониже — узкие, светлые, молодые; а совсем внизу только еще распускались почки. Генерал Сиверс вспомнил, как однажды, несколько лет назад — еще и городка не было, — в самое половодье лодочник Степан Мартемьянович — совершенно библейский старик, матерщинник и пьяница — привез его в лодке, кажется, сюда, на это самое место. Да, точно. Кругом была вода — на десятки километров одна вода, гладкая, без морщинки, розовая вечером вода, и из нее — верхушки деревьев черноватыми шапками. И, кажется, чайка была, старик держал весло, и с него капало, от каждой капли по воде бежал круг...

Дорога вышла к берегу реки. В тихой предвечерней воде по колено стояла лошадь, запряженная в водовозную бочку. Рядом расхаживал почернелый сухопарый возница в подвернутых штанах. Он черпал ведром воду и поливал лошади раздутые, дышащие бока. Генерал Сиверс с какой-то грустью и напряженным вниманием глядел на все это. Ощущение значительности происходящего еще усилилось необычайно глубоким, обширным и долгим ударом, который пришел издалека и огромным вздохом потряс окрестность.

И вдруг он увидел в воде двух совсем маленьких беленьких мальчиков — года по три, по четыре, не больше. Мальчики хлопотали то по пояс, то по плечи, то по самую шею в воде, присаживались на корточки, подныривали, шлепали ладошками, что-то кричали. Почему-то они купались одетые. Под солнцем мокро и ярко сверкала крас-



ная с синим, пестрая кофточка одного. Другой был одет скромнее — в голубой маечке. За плечами у первого висело ружье. Так и купался с ружьем.

Генерал Сиверс обратился к вознице:

— Послушайте, это ваши дети?

— Наши, наши, — с удовольствием ответил возница. Он выпрямился, рукавом обтер коричневое лицо. С усов у него капало.

— А зачем же они купаются вот так, в одежде? Да еще с ружьем?

— А и в самом деле, зачем?

— Так это я вас спрашиваю.

— А я вас.

«Хорошо все-таки без формы, — подумал Сиверс, — разве он так бы со мной разговаривал, будь я в форме?»

— Послушайте, — сказал он, — это все-таки не дело — таких маленьких ребят пускать одних в воду. Хорошо здесь, у берега, мелко. Зайдут дальше — утонут.

— И очень просто — утонут, — радостно согласился возница, глядя на детей из-под широкой черной ладони. — Три шага — и по шейки, а там с ручками, ей-богу. Только пузыри буль-буль — и все.

— Тьфу, черт, — рассердился Сиверс, — что же вы за ними не смотрите?

— А чего смотреть? Не моя забота. Чужая-то спина не чешется.

— Так вы же мне только что сказали, что это ваши дети?

— А то не наши? Самые наши дети...

Тут только Сиверс заметил, что возница пьян, и порядочно. Придется самому заняться детьми.

— А ну-ка, орлы, — крикнул он, — вылезайте на берег, живо!

Две белобрысые головенки — чуть повыше и чуть пониже — повернулись к нему. У той, что пониже, бы-

ли ярко-голубые глаза и брильянтовая капля на кончике носа.

— Не, не пойдем, — сказал маленький. — Мы тут играем.

— Во неслухи, — сказал возница, забираясь на облучок. — Я уж звал — нейдут. Таким одна дорога — тюрьма.

— Сейчас же на берег, кому говорю! — крикнул Сиверс. Головы снова повернулись, как винтики.

— Но, паразитка! — крикнул возница, хлобыстнул лошаадь кнутом и стал выезжать на дорогу. Бочка подрагивала, роняя воду.

— Чего ты с ними начинаешься? — спросил возница. — Брось их к лешему, айда со мной, к Ною.

— К какому Ною? К праотцу?

— Ты что, Ноя не знаешь?

— Не знаю.

— Пустой человек, Ноя не знает, — махнул рукой возница и отъехал.

Генерал Сиверс остался на берегу. Что поделаешь? Придется вытаскивать этих огольцов. Смерть не хочется лезть в воду. Может, словами их приманить?

— Эй ты, в красной кофточке! Как тебя зовут?

— Сережа, — ответил маленький.

— Ты что же, один сюда пришел?

— Не, я с Сережей.

— Ничего не понимаю! Кто из вас Сережа? Ты или он?

— Я Сережа. И он Сережа.

— Так вот. Сережа с Сережей, сейчас же вон из воды, а то силой вытасу.

— А я тебя застрелю, — сказал Сережа поменьше.

— Ну вот, и сразу застрелишь, — грустно сказал генерал Сиверс. — Это же превышение предела необходимой обороны.

— Какой обороны?

— Не слушай, это я так, для моциона языка. Да ты, наверно, из ружья и стрелять-то не умеешь.

— Фиг, врешь, умею.

— И со звуком?

— Пу! — крикнул Сережа.

— Ну, это что за звук. Скучно мне даже слушать тебя, братец ты мой.

— А ты с большим звуком стрелять умеешь? — заинтересовался Сережа.

— И с каким еще! Слышал, недавно ударило? Это мой был звук. Я умею стрелять из самой большой пушки, какая есть.

— Ты что же, солдат?

— Нет, генерал.

— Врешь. Генерал — он большой такой, золотой, красный, а ты серый.

Сиверс вздохнул и согласился:

— Я серый.

Тут неожиданно раскрыл рот Сережа побольше и спросил басом:

— А из лакеты ты умеешь?

— Это он говорит «лакета» вместо «ракета». Смешно? — сказал Сережа поменьше.

— Не смешно, — строго ответил Сиверс. — И вообще довольно демагогии. Живо из воды, поняли?

— Все равно я тебя не боюсь, — храбро заявил Сережа-маленький.

— Господи, согрешишь тут с вами.

Генерал Сиверс разулся и полез в воду. Было мелко, до колен, брюки он подвернул и почти не замочил. Мальчики довольно послушно дали ему руки и вышли на берег. С обоих обильно текла вода. Сиверс снял с них одежонку и неумело, по-мужски, выжал. Как их вести, голыми, что ли? Он подумал и надел на мальчиков трусы, а майку и кофточку дал им в руки — нести. Какие разные ребята!

Сереза побольше — крепенький, укладистый, как туго набитый тючок. Сереза-маленький — розовый, голубоглазый, похожий на новенькую перламутровую пуговицу.

— А ружье? — спросил маленький.

Сиверс надел ему ружье на прохладное молочное плечико.

— За мной, орлы!

Мальчики доверчиво подали ему маленькие холодные руки.

— Фу, до чего перекупались! Пошли домой. Где вы живете?

— На белом свете, — ответил Сереза-маленький.

— Остроумно, но неопределенно. Покажи пальцем, где ты живешь.

— Там, — махнул Сереза маленький по горизонту. — Где кустья.

«Кустьев» нигде не было видно. Генерал Сиверс подумал, вздохнул и двинулся по дорожке направо. Маленькие холодные руки лежали у него в руках, как влажные камешки.

— Знаешь, — говорил Сереза поменьше, — я тоже умею из ракеты. Я все умею. Когда буду большой, я всех постреляю.

— Ну уж и всех. Это ты брось.

— Вот увидишь, постреляю.

— Остается надеяться, что я до этого не доживу. Слушай, ты, будущий мировой убийца, как твоя фамилия?

Сереза подумал, огорчился и сказал:

— Забыл.

— Зайцев его фамилие, — вдруг сказал Сереза побольше. — А мое — Иванов.

— Ай да Сереза, — похвалил его Сиверс. — Умница!

— А он совсем не умный, — ревниво сказал маленький. — Он букву «рэ» не говорит. Знаешь, как он говорит? «Волона кличит кал!» Смешно?

— Я уже тебе сказал: не смешно. Не следует смеяться над недостатками своих ближних.

Внезапно Сережа-маленький остановился и протянул Сиверсу свою мокрую кофточку.

— Ты чего?

— Не могу больше нести кофту. Она тяжелая.

— Что же с тобой делать, братец? Давай понесу.

Навстречу шел офицер.

— Сережа, это не твой папа?

— Дай посмотрю. Нет, не мой.

— Послушайте, майор, — крикнул Сиверс, — вы не знаете, чьи это дети?

Майор остановился, несколько задетый бесцеремонностью обращения, и равнодушно оглядел ребят.

— Этого не знаю, а тот, поменьше, как будто полковника Нечаева внук, начальника штаба. А откуда вы их взяли?

— В воде нашел.

Майор засмеялся:

— Ведите скорей домой, их, верно, ищут.

— А где он живет, наш Нечаев?

— Вон там, в домах начсостава.

Сиверс поблагодарил и повел мальчиков в указанном направлении.

— У меня нет папы, только мама, — рассказывал Сережа-маленький. — У меня был папа, даже два, а теперь ни одного не осталось.

— А мама здесь?

— Не, уехала в Москву. На самолете.

— Ты что же, с бабушкой живешь?

— Больше с бабушкой. Бабушка мне эту кофту пошила, которую ты несешь.

Мокрая кофта прохладно висела на согнутом пальце генерала.

— Тебе не холодно? — спросил он.

- Не, тепло. Ведь мы идем на юг.
- Откуда ты знаешь?
- Я все знаю. Есть юг и север. На юге жарко, на севере холодно. А еще есть восток и запад, там среднее, не жарко, не холодно, просто тепло.
- Да ты, брат, образованный!
- Я все знаю. Вот мама у меня глупая. Не очень, а так, немножко глупая. Я ей говорю, а она не слушает. Я спрашиваю: «А машины вверх ногами ходят?» А она говорит: «Ходят». А сама плачет. Смешно?
- Я уже говорил: не смешно.
- Сережа примолк, а потом сказал:
- У меня жена и пять детей. Я их не бросил.

Вокруг дома начсостава, как грибы на опушке, разрослись деревянные бараки, покосившиеся, сумрачные, с антеннами на крышах. Из одного барака выбежала женщина лет тридцати, растрепанная, в пестрой юбке. Она метнулась к ним, как птица, упала в пыль и крепко обхватила Сережу побольше:

— Сереженька, куколка моя, ягодка ненаглядная, нашелся, родной.

Она плакала, резко мотая сухими мятыми волосами.

— Вы за ним лучше смотрите, — сказал Сиверс.

— Ой, гражданин хороший, вас-то я и не заметила! Это вы их привели? Где ж вы их разыскали?

— В реке.

Женщина побледнела и встала, отряхивая юбку.

— В реке? Надо же! Это все Зайцев, его так к воде и тянет! Говорила я тебе, — накинулась она на своего Сережу, — не ходи с этим бандитом! Он тебя хорошему не научит. Это есть бандит.

«Бандит» скромно стоял, глядя на свои маленькие ноги.

— В реке! Это подумать! Другой раз насовсем утонут! Нет, я его под замок, запру начисто, пусть дома посидит,

уголовник! А вас-то чем благодарить? Разве что пол-литра есть... Интересуетесь?

— Непьющий.

— А зовут-то вас как, вы меня простите?

— Александр Евгеньевич.

— Век буду вас помнить, Александр Евгеньевич! А может, зайдете? Не водочки, так чайку? Не прибрано только у нас, вы уж извините...

— Нет, спасибо. Мне еще надо этого вот архаровца довести. Где он живет?

— А вот, аккурат где агитпункт. Лучше давайте я вас провожу.

— Не беспокойтесь.

— Какое беспокойство? Вы их из воды... Да я век должна...

— Вот мой дом, — сказал Сережа-маленький.

Сережа побольше шел, крепко вцепившись в руку матери. Лицо у него было напряженное и гневное.

Они вошли во двор, где агитпункт. Навстречу им что-то яркое, топая, бежало по асфальту. Это была толстая женщина в пестром, большими цветами, халате. Она бежала, переваливаясь на очень высоких каблуках, и крупная грудь моталась туда-сюда.

— Вы еще за это ответите, Иванова! — крикнула она. — Я этой дружбы никогда не одобряла, и вот доплясались! Давайте мальчика! — Она резко дернула к себе Сережу-маленького и строго спросила: — Где его кофта?

— Вот, — сказал Сиверс.

— А почему мокрая? Безобразие! Я вашего сына теперь на порог не пушу, больше того, во двор не пушу! Это квинтэссенция хулиганства! Я обращусь в милицию!

Она повернулась и пошла прочь, таща за руку Сережу-маленького и размахивая мокрой кофтой. Коричневая дверь подъезда захлопнулась за ней с пушечным звуком. Сережа-большой заплакал.

- Не плачь, моя ягодка, не дам я тебя в обиду
- Ну, ладно, — сказал Сиверс, — я пойду.
- А к нам? Чайку?
- В другой раз, спасибо.

Сиверс пожал ей руку и пошел в сторону своей гостиницы.

- Хороший человек, — вздохнула женщина.
- Он из лакеты умеет, — сказал Сережа.
- Лакета, лакета. Горе ты мое, а не лакета.

## 10

На пятницу испытаний не было назначено, и Скворцов с удовольствием проспал лишних два часа. Он, когда удавалось, любил поспать, особенно проснуться и опять заснуть, зная, что торопиться некуда. Он даже просил товарищей, чтобы его будили и говорили: «Вставать еще рано». Черт его знает, что ему в этом нравилось. Должно быть, ощущение неисчерпанного счастья.

Сегодня его никто не будил. Он проснулся сам, оделся, умылся (вода была) и вышел в вестибюль. Дверь в дежурку стояла приоткрытая; там разговаривали две женщины.

— Не живет гриб, — говорила одна. — Сморщился, весь повял. Воздух, что ли, для него плохой? Нет, плохо здесь все-таки для русского человека.

- Чего хорошего.
- Ну, пойду. Спасибо на ласке. Гриба попила...
- Заходи еще когда, попьешь.
- Зайду когда. А тебя, я гляжу, все разносит.
- Чисто нервное. От нервов полнею.

Скворцов засмеялся, распахнул дверь, повесил ключ и сказал:

- Здравствуйте, девушки. Все щебечете?



«Девушкам» было лет по пятьдесят, но они смутились и захихикали.

— Товарищ майор? — сказала толстая заведующая. — А я-то смотрю, не захворали ли? Десятый час, а ключ в двери.

— Спал и видел вас во сне, Марья Евстафьевна.

— Все небось выдумываете.

— Честное слово. Люблю роскошных женщин.

Заведующая покраснела до самых плеч и прикрыла рукой вырез сарафана.

— Что вы только говорите, товарищ майор.

— А сами небось женатые, — сказала худая гостья.

— К сожалению, да. Поторопился. А был бы я свободен...

— Был бы свободен — то-то бы дал дрозда, — задумчиво заметила гостья.

— Очень метко сказано. Именно дрозда. Ну, ладно, девушки, пора мне идти. Ауфвидерзеен, на языке врага.

Скворцов отковырял и вышел. Прежде всего он зашел в столовую, где завтраки кончились, а обеды не начались, но, разумеется, Симочка его накормила. У выхода из столовой его задержал бродячий пес по имени Подхалим. Он дрался на помойке с высоконогой свиньей, но, узнав Скворцова, кинулся ему в колени, неистово виляя хвостом и повизгивая от счастья.

— Собака ты, собака, — говорил Скворцов, трепля его по загривку, — ну что тебе надо, собака? Есть тебе хочется, собака?

Подхалим глазами показал, что да.

Скворцов сбегал на кухню, насмешил судомоек, выпросил у повара кость, бросил ее Подхалиму, радостно посмотрел на радость собаки и пошел по своим делам. Ему нужно было зайти в отдел Шумаева, а потом в ЧВБ (чертежно-вычислительное бюро) к майору Тысячному.

Невысокий кирпичный корпус (так называемый лабораторный) был весь обсижен ласточкиными гнездами. Хозяйки-ласточки черно-белыми стрелками сновали вокруг него. Направляясь к входной двери, Скворцов с удивлением увидел, как из окна вывалился стул, ударился о землю, перевернулся и рассыпался. Вскоре за ним последовал второй стул, затем третий.

— Что это у вас стулья из окон летают? — спросил он у дежурного, входя в коридор.

— Подполковник Шумаев выбрасывает, — неохотно ответил дежурный.

— А зачем?

— Кто ж его знает? Не понравились.

Скворцов вошел в кабинет Шумаева в тот самый момент, когда хозяин, размахнувшись, выбрасывал в окно четвертый стул. Потом он тигром подошел к столу, взял стоявшее за ним кресло, повертел, осмотрел критически и поставил на место. Кресло было обыкновенное, канцелярское, с деревянными подлокотниками, и, видимо, его удовлетворило. Кроме Шумаева и Скворцова в кабинете стоял еще лейтенант Чашкин — молоденький мальчик с растерянным миловидным лицом.

— Насмехаться над собой не позволю! — крикнул Шумаев и раздул ноздри.

— Сергей, опомнись, — сказал Скворцов. — Конечно, Александр Македонский был великий человек, но зачем же стулья ломать?

— При чем тут Александр Македонский? — сердито спросил Шумаев.

Чашкин улыбнулся.

— Стыдно, Сергей, не знать классиков. А вот лейтенант Чашкин, тот знает, судя по его лицу. Ну-ка скажите ему, Чашкин, откуда это?

Чашкин покраснел и сказал:

— Из «Чапаева».

— Не совсем так, — поморщился Скворцов, — но по смыслу правильно.

— Товарищ подполковник, разрешите идти? — спросил Чашкин.

— Идите. Впрочем, постойте. Сначала дайте майору стул. Приличный стул, а не такое...

Чашкин принес обыкновенный венский стул и удалился.

— Садись, — пробурчал Шумаев.

Оба сели.

— Теперь расскажи толком, в чем дело?

Шумаев, затихший было, опять распалился:

— Это же издевательство! Поставить мне, начальнику отдела, четыре стула, и все с разной обивкой! Голубой, зеленый, розовый, черт-те какой! Я их пошвырял в окно.

— Кто же над тобой так издевается?

— Начальник АХО. Зачислил себя в клику святых и думает, что ему все можно! Вопиющий факт! У меня здесь солидные люди бывают: начальство, представители промышленности! Один раз даже замминистра был. Что же я, замминистра на разные стулья буду сажать?

— А что, он такой толстый, что сразу на двух стульях сидит?

Шумаев не слушал.

— Не кабинет начальника отдела, а спальня велико-светской проститутки! Это удар не только по моему престижу. Это удар по престижу войсковой части!

— Закурим, брат, с горя.

Они закурили. Шумаев понемногу начал отходить.

— Серьезно, Паша, сил нет работать, — сказал он уже мягче, вытирая платком голый череп. — Дисциплина умирает. Я не требую уважения к себе лично. Пусть уважает служебное положение, воинское звание, черт возьми! А такие щенки, как этот Чашкин, еще позволяют себе улыбаться в служебное время!

— Брось, он хороший парень.  
— У тебя все хорошие. Ты со всеми готов целоваться.  
— Есть такой грех. А знаешь, я к тебе по делу.  
— Что такое?  
— Подбрось мне человечка два на завтрашний день.  
— Два человечка? — заорал Шумаев. — Ты знаешь мои штаты? Откуда у меня два человечка? Кто?  
— Ну, хотя бы Бобров и Логинов.  
— Ты с ума сошел! Буду я швыряться Бобровым!  
— Тогда швырнишь Логиновым.  
— Не будет тебе и Логинова. У меня план! Приезжают тут всякие...

— Спокойнее, Сергей.

— Как тут будешь спокойнее? — закричал Шумаев. — Изволь, посмотри, какой мне отчет опять прислали! — Он вскочил мячиком, отпер сейф, вынул толстый, жестко переплетенный том и бросил на стол. — Полюбуйся, что они пишут, мерзавцы! — Он с усилием разогнул отчет, нашел нужную страницу и ткнул в нее пальцем: — На, читай! До чего все-таки доходит подлость! Это, можно сказать, высший пилотаж подлости!

Скворцов прочел несколько строк, гневно отмеченных по полям жирной линией, вопросительным знаком и двумя восклицательными.

— Ну и что?

— Как что? Они же, подлецы, явно против двухточки агитируют!

— Я этого не заметил.

— Не заметил! — сатанински захохотал Шумаев. — Младенец невинный! Нет, это их политика! Белыми нитками шито! И кто пишет? Крикун, приоритетчик, болван, неуч! Не может отличить электронной лампы от керосиновой! А ты посмотри, что дальше написано: «...такие нетерпимые факты допускались и в воинской части...»

Тут Шумаев бросил отчет на пол и стал топтать его коротенькими ножками.

— Ты полетче, Сергей, такое обращение с документами не предусмотрено правилами секретного делопроизводства.

Шумаев одумался, подобрал отчет и швырнул его обратно в сейф. Попал метко, на самую полку. Удачное метание несколько его умиротворило.

— Так подкинешь двух человек? — безмятежно спросил Скворцов.

— Черт с тобой, бери Лаврентьева и Мешкова — и ни копейки больше.

— А Логинов?

— Сказано: нет.

— Ну, ладно. Будь здоров, не огорчайся, никто на твою двухточку не посягает.

Шумаев махнул рукой. Скворцов направился в ЧВБ.

Большое помещение ЧВБ было тесно уставлено разнокалиберными столами, за которыми маялись девушки-расчетчицы, размокшие от жары до того, что ресницы поплыли. На некоторых столах стучали счетные машинки, на других были разложены чертежи. Воздух был, как в улье, окна — наглухо закрыты. Скворцов направился в главный угол, где за столом побольше других сидел майор Тысячный — невзрачный человек лет сорока с толстым носом.

— Здорово, Алексей Федорович! — бодро начал Скворцов. — Как жизнь?

Позвонил телефон. Подошла одна из девушек:

— Алексей Федорович, вас.

Тысячный поднял маленькие глаза.

— Кто?

— Генерал.

Тысячный засуетился, оправил китель, надел фуражку, подбежал к телефону и вытянулся:

— Слушаю, товарищ генерал.

Разговор был недолгий. Тысячный вернулся к своему рабочему месту, снял фуражку и бережно положил на стол.

— Послушай, — сказал Скворцов, — зачем ты для разговора по телефону фуражку напяливаешь?

— Касказать, на всякий случай.

— Странно, а впрочем, дело твое. Выражай свое уважение к начальству любым доступным тебе способом. А у меня, Алексей Федорович, к тебе просьба. Надо срочно обработать картограмму вчерашнего подрыва.

— Не выйдет.

— Отчего же, мамочка?

— Девушек, касказать, нет. Все на работе, касказать, генерала.

— Так уж и нет?

Тысячный не успел ответить. В окнах потемнело, раздался свистящий, хлопающий шум. Девушки все, как по команде, легли на свои столы лицом вниз, крестообразно раскинув руки. С дребезгом разбилось и зашаталось окно, в комнату ворвался песчаный вихрь, опрокинул графин, взвил к потолку бумаги. Это продолжалось несколько секунд, после чего внезапно шум отрезало тишиной. Девушки поднялись со столов, начали отряхиваться, искать и пересчитывать бумаги. Тысячный рысцой включился в суматоху. По счастью, ничего не пропало. Девушки расселись по местам, стук машинок возобновился. Тысячный вытер лоб. Мокрые волосы у него стояли дыбком.

— Зачем они так, крестиками? — поинтересовался Скворцов.

— Согласно инструкции. Чтобы не унесло, касказать, документы.

— Твоя, что ли, инструкция?

— Моя. А что?

— Удачная идея.

Тысячный расплылся.

— Так как же все-таки с картограммой? Обработай, Алексей Федорович, будь отцом родным. Не моя просьба — Лидии Кондратьевны.

Тысячный косенько прищурился:

— Услуга, касказать, за услугу.

— Говори, чего надо, все сделаем. Вы имеете дело со Сворцовым.

— Вопрос боле-мене личный... Я завтра, касказать, именинник... Всех прошу в гости...

— Только и всего? Это, брат, не тебе услуга, а мне.

Тысячный захихикал:

— Нет, тут, касказать, дело тонкое... Ты с генералом, касказать, Сиверсом лично знаком?

— Я со всеми лично знаком. А что? Привести его завтра к тебе?

Тысячный осклабился.

— Ну, эта службишка — не служба, как говаривал Конек-горбунок в аналогичных ситуациях. Значит, замetano. Я обеспечу тебе генерала, а ты обработаешь картограмму. Идет?

Сворцов тут же пошел обеспечивать генерала. В успехе он не сомневался. Организовывать взаимодействие — это была его стихия, можно сказать, профессия. Позвонить, связаться, выколотить — это он любил.

Ему сразу же повезло: в коридоре стояла группа офицеров и в центре генерал Сиверс. Он что-то рассказывал, все смеялись.

— Здравия желаю, товарищ генерал. Разрешите присоединиться?

— Сколько угодно. Ведь у нас свобода собраний.

Офицеры стояли кучкой, среди них лейтенант Чашкин с милым выражением готовности к смеху на молодом открытом лице. Он так и ел Сиверса глазами.

— И вообще, — продолжал Сиверс, — в периодической печати иной раз находишь дивные вещи! Вот, например, читаю я напередни вашу областную газету и что же вижу? На вто-

рой странице — большой заголовок: «Досрочно выполним первую заповедь!» Я глазам не поверил. Я все-таки в гимназии учился и хоть имел по Закону Божьему четверку за вольнодумство, но первую заповедь помню: «Аз есмь Господь Бог твой, и да не будут ти бози иные разве мене». Что в переводе на современный язык означает: «Я — Господь Бог твой, и пусть у тебя не будет других богов, кроме меня». Хорошенькое дело! И это самое нас призывают досрочно выполнить!

Офицеры засмеялись, но как-то недружно.

— Товарищ генерал, — сказал Скворцов, — можно вас на два слова?

Кучка офицеров растаяла.

— Тут у меня одно неслужебное дело. Начальник ЧВБ, майор Тысячный...

— А, этот художник? Талантливый человек.

— Так вот, этот талантливый человек завтра свои именины празднует, — очевидно, Алексея, Божьего человека, а возможно, рождение, которое в просторечии тоже называется «именины», и одержим желанием вас пригласить.

— Свадебным генералом?

— Просто генералом. Беда в том, что он — нежная натура, робок и чувствителен, как истинный художник, и сам обратиться к вам не решается. Поручил эту миссию мне. Вы согласны?

— Отчего же? Почту за честь.

...«Службишка» действительно оказалась «не службой». Даже досадно немножко. Скворцов любил героические дела, которые никто не мог сделать, кроме него.

## 11

Майор Тысячный, холостяк, жил не на казенной квартире, как другие офицеры, а снимал частную на самой ок-



раине Лихаревки у хозяйки-вдовы с пятнадцатилетним сыном. Говорил, что ему так удобнее. Вдова была нестарая, робкая женщина с большими глазами, до того восхищенная и пораженная своим жильцом, что просто глядеть было жалко.

Сегодня Тысячный принимал гостей. Хозяйка ради такого случая отдала ему свою половину дома. Убрано все было до полного блеска, до ослепления: крашеный пол натерт воском, половики разостланы, каждый фикус умыт. Майор Тысячный, в гражданском сером костюме, поскрипывая новыми разрезными сандалетами, лично встречал каждого гостя:

— Спасибо, касказать, не побрезговали.

Гостей было много, человек тридцать, местные и командировочные. За стол пока не сажались: ждали генерала. Когда появился Сиверс, Тысячный прямо окоченел от восторга и так вдохновенно произнес свое «касказать», что других слов не понадобилось.

— А ну-ка, ротмистр, покажите свои картины. Я ради них, собственно, и пришел.

Зачем Сиверсу понадобилось назвать майора Тысячного «ротмистром» — неизвестно, но выходило почему-то складно. Тысячный смутился:

— Я, касказать, самоучкой, товарищ генерал. Только в личное время, касказать, в шутку.

— Тем более интересно. Будь вы художником-профессионалом — другое дело.

Тысячный провел генерала в свою горницу — просторную, хоть и низковатую, в четыре окна. Здесь тоже все было начищено и вылизано до блеска. На черном клеенчатом диване выстроились подушки с девицами, оленями и розами. Каждая подушка была взбита, расправлена и стояла на ребре по стойке «смирно». На бревенчатых стенах, вперемежку с фотографиями, изображавшими хозяйкину родню, младенцев и покойников, висели картины. В них чув-

ствовала та же диковатая, тупо вдохновенная кисть. Особенно один закат так и притягивал: мрачный, замкнутый, а на нем — стога...

— А что? У вас талант! — сказал Сиверс.

Тысячного прямо повело:

— Касказать, шутите, товарищ генерал.

— А вы не продаете своих картин? Я бы купил, например, эти стога. Какую цену назначите?

— Что вы, товарищ генерал... Какая цена? Это, касказать... я вам, касказать... так просто... от души...

— Неужто подарить хотите?

— Так точно, товарищ генерал. Касказать, буду рад.

— Ну, спасибо, если не шутите.

Тысячный почтительно отколол от стены картину, свернул ее в трубочку и, кланяясь, вручил генералу.

— Премного благодарен, — сказал Сиверс. — Эта картина будет висеть в моей комнате на видном месте.

Тысячный не нашелся что ответить и только пробормотал:

— Прошу, касказать, к столу. Чем богаты.

В соседнем помещении был накрыт стол. Скатерти и вышитые полотенца блистали крахмальной белизной. В графинах отсвечивала водка, в бутылках темнело плодоягодное — для женщин. Толстыми слоями нарезанная колбаса, жареный поросенок с живыми ироническими глазами. Под пристальным взглядом поросенка гости стали рассаживаться. Хозяйка стояла у двери с лицом, полным торпливой готовности. Тысячный хлопотал около генерала, поддерживая его под локоть. Сиверс, впрочем, довольно бесцеремонно его стряхнул.

В конце концов гости расселись, разложили на коленях полотенца, налили стаканы и лафитнички и замерли в ожидании.

— Паша, произнеси, — попросил Тысячный.

Ничего не поделаешь — придется произносить. Скворцов стихийно на всех сборищах становился тамадой. Он

встал не без труда, потому что был зажат между двумя дамами, постучал по графину и поднял стаканчик:

— Разрешите, товарищи, предложить первый тост. Мы здесь собрались по приглашению нашего друга и именинника Алексея Федоровича Тысячного. Кто такой Алексей Федорович? Вы думаете, он скромный деятель военной науки, начальник ЧВБ — и только? Ошибаетесь! Перед нами — крупный художник, основатель нового направления в живописи. Может быть, мы еще увидим его полотна в Третьяковской галерее. Ура, товарищи!

— Ура! — закричали гости.

Тысячный со стаканом в руках двинулся в обход стола. Толстые слезы стояли в его глазах, стакан дрожал и плескался. Майор Красников размышлял вслух:

— А что? Может быть, он и правда художник, а мы его не понимаем из-за пробелов общего развития.

Генерал Сиверс обнял Тысячного и троекратно, по-русски, облобызал. Тут общий восторг дошел до предела. Хозяйка заплакала и убежала.

Почествовав Тысячного, гости уселись и истово начали пить и закусывать. Гвоздем стола был соленый арбуз, которым особенно хвастались местные жители: «У вас в Москве, в Ленинграде такого нет!» Скворцов попробовал — арбуз был ужасен.

— Ну и гадость, — шепнул он Лиде Ромнич. — Как бы это его потихоньку под стол?

Лида сидела слева от него и добросовестно пыталась совладать с арбузом. Она ответила:

— Мне тоже не нравится, но, наверно, что-то в нем есть, раз люди так хвалят. Я, например, не люблю Шекспира, но не ругаю, потому что его все хвалят, это я чего-то не поняла.

— Я тоже не люблю Шекспира, — сказал Скворцов. Впрочем, он с такой же готовностью согласился бы и любить Шекспира, если бы понадобилось любить.

Справа от него сидела Сонечка Красникова, тоже касаясь его плечом. Она жеманилась и время от времени бросала на него не совсем дружелюбные взгляды. Он ее не видел почти два месяца. Как она изменилась! Не то что пополнила, а как-то огрубела, обозначилась... А главное, до чего же показалась она ему скучной! Он сидел плечом к плечу с обеими соседками, но левому плечу было весело, а правому — скучно.

— Какие все-таки мужчины непостоянные, ужас! — сквозь зубы сказала Сонечка. Она деликатно трогала вилок холодец, оттопырив мизинец и всем своим видом показывая, что еда — не ее стихия, что, может быть, она и не ест вообще.

— Да, мы известные негодяи, — отвечал Скворцов. — С нами только свяжись.

Слева от него Лида Ромнич усердно резала тупым ножом кусок поросенка, с восхищением глядя на розовую поджаренную корочку. Отрезала, улыбнулась, съела.

— Вкусно? — спросил он, тоже улыбаясь.

— Очень.

Справа его незаметно ущипнули, и он повернулся туда. Сонечка опустила глаза и тихонько сказала:

— Вы думаете, никто не видит, с кем вы теперь ходите, на кого смотрите? Берегитесь, общественности все известно.

— А пусть известно. Я общественности не боюсь. Я сам общественность. Хотите, громко буду говорить? Я все могу.

— Пожалуйста, не кричите, на нас смотрят.

— Пускай смотрят. Я — за гласность.

На другом конце стола шла громкая беседа, несколько, впрочем, односторонняя. Говорил один генерал Сиверс. Он сидел на почетном, председательском месте и подробно рассказывал соседям историю русской военной формы. В его рассказе переливались всеми цветами радуги менти-

ки и доломаны, кивера и чикчиры. Офицеры слушали с любопытством. Должно быть, каждый из них в воображении прикидывал на себя какой-нибудь этакий ментик и лихо закручивал черный ус.

Когда тема была исчерпана, разговор пошел о науке. Завел его майор Красников. Узнав, что на вечере будет генерал Сиверс, он долго готовился к научному разговору, и теперь его час настал. Пусть все слышат, какой он, Красников, умный.

— Товарищ генерал! Разрешите обратиться по научному вопросу.

— Пожалуйста, — отвечал Сиверс, ловко орудуя ножом и вилкой. — Науки юношей питают.

— Товарищ генерал, я прорабатывал вашу статью насчет аэродинамических коэффициентов. Глубокая статья. Кажется, вы за этот труд получили Сталинскую премию?

— Было дело, было дело.

— В этой статье вами упомянуто про специальный метод профессора Павловича...

— Так точно, упомянуто, а что?

— Глубокий метод. А вы с профессором Павловичем лично знакомы?

— Еще бы, закадычный друг.

— Я, товарищ генерал, осенью еду в Ленинград, так не могу ли я через вас встретиться с профессором Павловичем?

Генерал Сиверс отложил нож и вилку:

— Эва, куда хватили, батенька! Ведь профессор Павлович в тюрьге.

— Где?

— В тюрьге, — отчетливо повторил Сиверс. — Или, как теперь предпочитают выражаться, в заключении.

Красников покраснел. Ну и вяпался! Главное, кто его за язык тянул?

— Товарищ генерал... извиняюсь... не знал.

— А чего извиняться? Как говорят, от сумы да от тюрьмы...

Тут генерал Сиверс раскрыл рот и крайне немзыкально пропел:

Ах, ах, да охти мне,  
Мои товарищи в тюрьме!  
Не дождуся того дня,  
Когда туда возьмут меня!

Испуганные гости, стараясь не замечать неприличия, спешно заговорили кто о чем. Генерал Сиверс взялся опять за нож и вилку.

— Должен заметить, что поросенок отменно хорош.

— Кушайте на здоровьечко, — сказала хозяйка. Она стояла у притолоки и глядела на всех растроганными теплыми глазами. Когда еще такое увидишь: столько гостей, умные разговоры и генерал. Какой человек: поросенка похвалил! Три месяца молоком поила, а вчера заколола, сын Витюшка слезами кричал, жалел поросенка. А ей не жаль: пусть кушает генерал, поправляется.

Было уже много съедено, много выпито, и вечер перешел в то состояние самодвижения, которое может продолжаться сколь угодно долго. Кое-кто остался за столом, другие разбрелись. Сильно выпившие освежались в сенях; кто-то заснул в летней боковушке. Голову поросенка украсили окурками. Завели проигрыватель, начались танцы. Скворцов проскользнул мимо Сонечки и подошел пригласить Лиду Ромнич, но она отказалась:

— Мне с Теткиным надо поговорить по важному делу. Сначала — с ним, потом — с вами. Хорошо?

— Хорошо, прекрасно! — сказал Скворцов и пошел куда-то присутствовать. Он всегда и везде присутствовал очень активно, и всегда выходило, что он всем необходим.

Вот и сейчас вышло, что без него как без рук: двое перепились, надо было их транспортировать, он сразу взял все в свои руки и организовал.

А Теткин танцевал с Лидой Ромнич. Между ними шел важный разговор.

— Ну вот, Теткин, я и пригласила вас танцевать.

— Лидочка, я в восторге. Лидочка, я так вас люблю, прямо дышать больно.

— Не врите, Теткин, и не меня вовсе вы любите, а Лору.

— Ну что Лора. Она, конечно, женщина, а все-таки...

— Она вас любит.

— Знаю. Вы думаете, я не ценю? Я даже сам ее люблю, честное слово. Я это только недавно выяснил. Определенно люблю.

— Ну, Теткин, как это мило! И очень облегчает мою задачу. Вам просто необходимо жениться. Годы идут, вот вы уже облысели, а дальше еще хуже будет: старость, болезни.

— Я еще не совсем облысел, — обиделся Теткин. — Это у меня так, проплешина.

— Не проплешина, а переплешина. Простите, Теткин, я нечаянно. Важно то, что вы один, всегда один. Некому о вас позаботиться. Смотрите, вот и рубашка на вас грязная.

— Правда, Лидочка, правда, умница. Я и сам об этом начал задумываться.

— Вот видите! А тут рядом с вами будет верный, любящий человек. Жена. Лору я знаю, она очень хорошая.

— Разве я спорю?

— Тогда в чем дело?

— Мать она. Двое детей.

— Так это же отлично: двое детей! Когда еще вы своих вырастите, а тут все готово, двое, да еще какие прелестные: Маша и Миша. Как мячики.

— А вы их знаете?

— Нет, представляю себе.

— И верно, прелестные, — согласился Теткин.

— Молодец! — обрадовалась Лида. — Все так хорошо устраивается! Вы женитесь...

— А что? И женюсь. Факт, женюсь.

— Ладно, по рукам. А теперь, не теряя времени, давайте к ней и...

— Сделать предложение? — по-овечьи покорно спросил Теткин.

— Вот именно.

— Ну, ладно, так и быть. Благословите меня, Лидочка, и я пойду. Руку дайте на счастье.

Они остановились среди танцующих. Лида дала ему руку, он долго с этой рукой возился — гладил, целовал, а потом вздохнул на всю ночь:

— Прощай, молодость! А все-таки страшновато... Вот если бы вы... Вам бы я руками и ногами предложение сделал.

— Теткин, обо мне нету речи. И вообще я замужем. К тому же я вас не люблю, а Лора любит. Это тоже важно.

— Что верно, то верно, — сказал Теткин и пошел делать предложение.

Лора сидела с Томкой на диване. Увидев Теткина, она засветилась как розовый фонарь. Томка понимающе блеснула глазами, встала и ушла. Теткин сел на диван и сразу же положил голову к Лоре на колени.

«Только бы не заснул», — думала Лида. К ней подошел Скворцов.

— Я вижу, операция Теткин — Лора развивается успешно.

— Ой, не сглазьте, я так волнуюсь. Он мне обещал сейчас же сделать предложение. Как вы думаете: сделает?

— Не знаю...

— Вот и я беспокоюсь ужасно.

— Будь что будет. Пойдемте танцевать.

— Знаете, душно. Я уже с Теткиным уморилась, я ведь неважно танцую и не очень это люблю.



— Тогда пойдёмте на улицу, там сейчас здоровая луна.

Он взял её за руку и повёл к выходу. В сенях они переступили через чьи-то ноги, вышли на крыльцо. Луна светила ярким, белым, великолепным светом. И вся ночь была великолепна — высокая, глазастая, бархатная. Каждая соломинка бросала отдельную тень. В окнах, за занавесками, в мутном тюлевом тумане пошатывались танцующие фигуры. Где-то в этом тумане, возможно, Теткин делал Лоре предложение...

— Хорошо бы! — сказала Лида. — Лучше Лоры ему не найти.

— В этих делах, знаете, решает не «лучше» и «хуже».

— А что решает в этих делах?

— Черт его знает. Но только не разум. Самый умный человек в любви дурак дураком.

— И вы?

— Отчаянный дурак. Но я и вообще-то не очень умен.

— А вас многие считают умным.

— Просто умею притворяться.

— Разве можно притворяться умным? Все равно что притвориться красивым.

— Многие женщины притворяются.

— А знаете, я что хотела у вас спросить... Генерал Сивере, он что — всегда... такой?

— Всегда. А разве вы его не знаете?

— Нет, только по книгам. Классик. Я даже вообще, к стыду своему, думала, что он уже умер.

— Нет, как видите — в высшей степени жив. Даже поразительно. Ничего не боится. И как это ему с рук сходит? Другому бы за десятую долю... А почему вы спросили?

Лида промолчала.

— Луна-то какая, — сказал Скворцов.

— Великая.

— А все-таки вы что-то хотели еще сказать про Сиверса.

— Да нет... Просто мне пришло в голову — наверно, глупость... Вот вы говорите: ничего не боится. А может быть, он тоже боится где-то глубоко внутри, но не позволяет себе — понимаете? Я как-то глупо говорю, не умею выразить.

— Нет-нет, говорите.

— Отсюда, может быть, и все странности его, клоунада какая-то. Ведь человек не может в себе что-то разрушить — даже страх, — не повредив себя самого... Нет, это все вздор. Я вообще в людях плохо разбираюсь.

— Напротив, очень даже хорошо разбираетесь, и я очень рад, честное слово, я о ваших словах буду думать. Давайте пройдемся по улице, вы будете говорить, а я — думать.

— Нет, знаете, я очень волнуюсь. Пойдемте в дом, посмотрим, как Лора?

Душный, прокуренный воздух обступил их как нечто жидкое. На диване сидела Лора со счастливым и перевернутым лицом. Положив голову ей на колени, младенческим сном спал Теткин. Лида подошла:

— Ну как?

— Предложение сделал, ну буквально руки и сердца. Говорит, лучше тебя не найду. Такая преданная, и двое детей готовых, Маша и Миша, как мячики. Значит, будет он их любить. Так меня растрогал своим отношением, прямо до глубины.

— Поздравляю, я очень-очень рада, — сказала Лида, но как-то задумчиво. Теткин ее беспокоил все-таки.

— Прямо счастьем своему не верю, — прошептала Лора, — не может быть, чтобы мне такое счастье...

Тем временем Скворцов беседовал с хозяином. Майор Тысячный был пьян и необыкновенно речист. Свое «касказать» он теперь произносил небрежно: «каскасть».

— Я тебя люблю, — говорил Тысячный, — за то, что ты, каскасть, проходимец.

— Ничего себе комплимент, — отвечал Скворцов.

— Не-ет, ты проходимец, — качая пальцем, настаивал Тысячный. — Согласись, каскать, что ты проходимец.

— А что ты под этим понимаешь?

— Проходимец? Это тот, кто везде, каскать, пройдет. Умный человек.

— Тогда другое дело. Только ты никому не говори, что я проходимец. Люди могут понять тебя превратно.

— Я люблю деловых, каскать, людей, — говорил, не слушая, Тысячный. — Почему меня всякий должен тыкать коленкой, каскать, в одно место? Потому что я, каскать, не проходимец. А ты проходимец. Я тебя люблю. Дай я тебя поцелую.

«Что это их всех несет целоваться? — думал Скворцов. — Никогда не было на Руси такого обычая: в губы целоваться, да еще врасос. Это теперь его выдумали».

Он освободился, утерся, встал из-за стола и по высокому звону в ушах понял, что пьян в дугу, вдрезину, в бога или во что еще там полагается быть пьяным, — одним словом, пьян окончательно и бесповоротно. И когда это он успел надраться? Непостижимо.

Генерал Сиверс тоже был пьян, но пьян изящно. Он поискал фуражку, взял свернутый холст и сказал:

— Кажется, мы на пороге того, чтобы потерять образ Божий, как говорили наши предки. Разрешите откланяться.

Подскочил Тысячный:

— Ухóдите, товарищ генерал? Погостили бы еще.

— Не могу, завтра вставать рано. Благодарствуйте. За картину — особенно.

— Проводить вас, товарищ генерал?

— Ни в коем случае. Могу двигаться без посторонней помощи.

Несколько человек с шумом вышли на улицу, свалив по дороге какие-то грабли. Сиверс посмотрел на луну. Очки его вдохновенно блеснули.

— Прекрасная ночь! Знаете что? Я решил. Я пойду домой мазуркой.

— А разве вы умеете мазуркой? — нетвердо спросил Скворцов.

— Нет, но до дому еще далеко, я научусь.

Действительно, генерал двинулся в сторону дома мелкой боковой приплясочкой, отдаленно напоминающей мазурку. Оставшиеся внимательно следили, как удалялась в лунном свете темная подпрыгивающая фигура, сопровождаемая голубым облачком пыли.

— Что только делается! — вздохнула Лора.

— А что? Прекрасная идея, — закричал Теткин. — Может быть, я тоже желаю пойти домой какой-нибудь этакой румбой. — Он сделал несколько фантастических па.

— Это жалкое эпигонство, — держась изо всех сил, сказал Скворцов. Хорошо, что связную речь он терял в последнюю очередь.

— По домам, по домам! — выгнцовывал Теткин. — Девицы-красавицы, за мной!

Девицы-красавицы — Лора, Томка и Лида — шли за Теткиным, как куры за петухом. Скворцов прицепился было к ним, но Лида его отослала: им — в деревянную, ему — в каменную. Как он добрался до каменной — неясно. Кажется, светила луна, он шел, наступал на свою тень и смеялся. Потом был провал. Каким-то непонятым скачком он вдруг очутился у себя в номере. Соседи спали беззвучным сном трезвенников. Косая, извилистая трещина пересекала стену. Он сел на свою кровать. Кровать заговорила. Она спросила: «А ты как?» — «Ничего», — ответил Скворцов, стянул сапоги, добрался головой до подушки и сразу заснул.

А майор Тысячный, проводив гостей, постоял, сжав губы, у разоренного стола, сказал хозяйке: «Уберешь завтра» — и прошел к себе в горницу. Пьяным он уже не казался. Он поглядел на пустое место, где висели стога, сел

за свой рабочий, так называемый письменный стол, отпер ящик и вынул папку. Развязав папку, он взял оттуда лист бумаги и стал писать.

«За сегодняшний вечер, — писал Тысячный, — генерал С. четыре раза проявлял объективизм...»

## 12

— Все ясно, — сказала Томка и зажмурила правый глаз.

— Ну что тебе ясно? Ровно ничего нет.

— Нет уж, Лида, ты не изображай. Передо мной изобразить трудно, многие пытались — не вышло. Я, ты знаешь, какая чуткая. Верно, Лорка, я чуткая?

— Оставь человека в покое, — ответила Лора. Она сидела с вышивкой на кровати, толстая, погасшая, и не вышивала, а ковыряла иголкой в зубах.

— Не нервируй, — крикнула Томка. — Не перевариваю, когда ковыряют. Ну чего ты переживаешь?

Лора вздохнула:

— Намекал вчера: погуляем, а сам вечером с Эльвирой в пойму пошел. И сегодня не видно. Верно, опять с ней.

— Подумаешь, с Эльвирой! Стоит из-за этого ковырять! А ты плюй, вот моя теория. Этим ты его больше приковать сумеешь. Я мужчин знаю, для них хуже всего переживания. Или отношения выяснять. Уже не говоря плакать. Честное слово, я при муже слезинки не выронила. А ты хоть ее видела, эту Эльвиру?

Лора кивнула.

— Красивая хотя бы?

— Спина ничего.

— А лицо?

— Не разглядела. Они так быстро мелькнули — раз, и все. Нет, видно, он с ней на серьезном уровне пошел.

— Он ведь тебе предложение сделал, — напомнила Лида.

— Это не считается. Он же был выпивши. Сделал и забыл.

— Ну, знаешь, — возмущилась Томка, — ты как христианка: не можешь постоять за свои интересы.

— А чего за них стоять? Если любит — сам должен помнить, а не любит — зачем он мне? Сама виновата — поверила. Когда выпивши — он не отвечает.

В дверь постучали.

— Войдите!

Появился Скворцов:

— Здравствуйте, это я.

Сказано это было так, словно своим появлением он должен был сразу, безотлагательно, сию минуту всех осчастливить.

— Лидия Кондратьевна, вы готовы? Я, как видите, в полной парадной форме.

Томка хихикнула: Скворцов был в гражданском и выглядел довольно неприглядно. Помятый белый китель с дырочками от погон, коротковатые спортивные брюки, тапочки на тощих вихрастых ногах. От его обычной военной подтянутости оставалась только зеркальная бритость.

— Тамара Михайловна, вы, я вижу, потрясены моим изысканным туалетом.

— Тоже скажете! В военном вы в сто раз интереснее.

— Алмаз чистой воды сверкает и в простой оправе.

Томка залилась русалочьим смехом.

— Люблю ваш смех, Тамара Михайловна! К сожалению, только вы и цените мое остроумие.

— Идти так идти, — сказала Лида.

— Куда ж вы, бедные, по такой жаре? — спросила Лора.

— В оплот мировой цивилизации — райцентр Лихаревка, — ответил Скворцов. — Боевая задача — ознакомиться

с рыночной конъюнктурой и, если удастся, что-нибудь приобрести. А жара самая нормальная — сорок в тени, пятьдесят на солнце. Я, как тощий петух, жары не боюсь, только чаще кукарекаю.

Томка зашласть окончательно.

— Идемте, Павел Сергеевич, — сказала Лида.

— Ну что ж. До свиданья, девочки, побеседовал бы с вами еще, да видите — нельзя. Будьте здоровы!

Дверь закрылась.

— Ревнует, — сказала Томка. — Видела, как нахмурилась?

— А ты зачем его заманиваешь?

— Просто так. Дурная привычка. Надо будет над собой поработать. Дружба, я считаю, выше всего, выше даже любви. А мне майор Скворцов даже не особо как-нибудь нравится, просто симпатичен, и не более. Развитый офицер, цитат много знает, и юмор у него есть, я это ценю. Но чтобы что-нибудь такое — нет.

А Скворцов и Лида шли под солнцем, по пыльной дороге в сторону Лихаревки.

— Вы сердитесь? — спросил Скворцов. — Я что-нибудь не то накукарекал?

Лида засмеялась:

— Кукарекайте себе на здоровье. Мне-то что?

— Если что не так, я готов... Только скажите, куда мне меняться, и я изменюсь, честное слово.

— Никуда не надо меняться. Впрочем, нет, забыла. Сегодня вы сказали: «пятьдесят на солнце». Никогда больше так не говорите. Ведь термометр на солнце показывает во все не температуру воздуха, а...

— ...свою собственную температуру, — перебил Скворцов, — а он накален солнцем, конвекция, лучеиспускание и те де, и те пе. Все знаю. Это я так сказал, для красного словца. Женщины это любят: «пятьдесят на солнце» — и глаза круглые.

— А вы многое говорите для круглых женских глаз...

— Есть такой грех.

Идти было километра два с половиной. Солнце и в самом деле палило жестоко. Дорожная пыль обжигала сквозь подошвы — наверно, в ней можно было испечь яйцо. При каждом шаге из-под ног поднимались пухлые облачка, похожие на разрывы шрапнели.

Сзади слышались ворчание и лязг.

Они отпрянули на обочину. С кастрюльным дребезгом к ним приближался грузовик, а за ним, до половины заслоня небо, двигалась желто-серая пылевая завеса. Грузовик дохнул раскаленной вонью, завеса надвинулась, солнце исчезло, дышать стало нечем — густая пыль завладела всем. Это продолжалось несколько минут, после чего наступил как бы рассвет — в видимости и дыхании.

— Ну как вы, живы? — спросил Скворцов.

— Ничего. Только на зубах скрипит.

— Да, здешняя лёссовая пыль, — дело серьезное. Долго не оседает и вообще... Кстати, какое у вас представление об аде?

Она почти сразу поняла:

— «И только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог?»

— Правильно! — обрадовался он. — Вы, значит, знаете эту песенку?

— Кто ее не знает?

Пошли вперед. «День, ночь, день, ночь мы идем по Африке», — напевал Скворцов. Он втайне любил петь и даже думал, что у него хороший голос, хотя никто, кроме жены, этого мнения не разделял; впрочем, она за последние годы стала колебаться. Когда он пел, то становился сентиментальным, вплоть до щипания в носу. Вот и теперь... «И только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, отдыха нет на войне солдату...»

— А вы были на войне?

(Этой, видно, тоже не очень понравилось его пение.)



— Был, — неохотно отвечал Скворцов.

— Летчиком?

— Технарем. Техником по вооружению.

— Ранены были?

— Два раза.

— Тяжело?

— Легко, «И только пыль, пыль, пыль...» Фу-ты черт, опять машина!

Все повторилось: лязг, вонь, пылевое облако. Отошли, переждали, опять пошли. «И только пыль, пыль, пыль»...

Еще одна машина.

— Куда это они все едут? — спросила Лида, размазывая грязь по потному лицу.

— А на стройку. Видите?

Он указал направо, где виднелись очертания каких-то кирпичных руин. К ним подъехал самосвал, наклонил кузов и высыпал на землю свой груз. Послышался грохот бьющегося кирпича, красный дымок поднялся к небу, самосвал несколько раз качнулся назад и вперед, развернулся и уехал. На стройке не было ни души, только курганами громоздился битый кирпич да щерились брошенные в навал оконные рамы с выбитыми стеклами.

— А что здесь строится?

— По замыслу — баня районного масштаба. Только с водой какая-то неувязка получилась, неясно, откуда ее везти и кому платить? Пока три ведомства согласовывают вопрос, стройку законсервировали.

— А кирпич зачем возят?

— Бог их знает. Наверно, в целях выполнения какого-то плана. Может быть, плана сдачи утильсырья. Знаете, как у нас собирают утильсырье? Вот нашему научно-исследовательскому институту тоже пришла разрядка: вынь да положь такое-то количество тонн металлолома. А откуда его взять? Все понимают, что глупо, а передоложить никто не хочет. Все-таки вышли из положения:

изъяли из общежития железные кровати, автогенном порезали, сдали...

— И вы еще смеетесь?

— А что делать, плакать?

Они как-то несогласно помолчали.

— А может быть, все-таки... передоложить?

— Что вы сказали?

— Ничего, это я так...

— Вот у генерала Гиндина на стройке — каждый кирпич на счету, — сказал Скворцов. — Разбили — взыщут, генерал — со своего подчиненного, тот — с прораба, прораб — с рабочего...

— Значит, можно все-таки что-то сделать?

— Что-то можно. Но опасно. С риском для жизни...

Пыльная длинная дорога незаметно перешла в такую же пыльную длинную улицу. По обе ее стороны стояли неказистые дома двух сортов: деревянные серые избы и вросшие в землю глиняные мазанки, похожие на грибы. Все окна были наглухо закрыты ставнями, на улице — ни души, ни собаки. Только один какой-то случайный петух торопливо хромал, перебегая улицу и оставляя за собой в пыли четкую цепочку следов. Петух был угнетен и выглядел нездоровым.

— Кстати, тем временем мы с вами дошли до Лихаревки, видите?

— А где же все люди?

— Кто на работе, а кто дома спрятался, ставни закрыл. В такую жару люди без большой надобности на улицу не выходят. Слышите, какая тишина?

И в самом деле — тишина была мертвая, пыльная, убитая. Но вдруг ее нарушил громкий человеческий голос. Он кричал с резким грузинским акцентом:

— Товарищ майор! А товарищ майор! — Из окна дощатого сарая высунулся по пояс красивый седовласый мужчина необычайно благородной внешности — этаким рас-

полневший витязь в тигровой шкуре. Он размахивал руками и взывал: — Товарищ майор, иди сюда, кацо!

— Кто это? — спросила Лида.

— А это и есть лихаревский князь, знаменитый Ной Шошиа.

— Моди, моди! — кричал Ной.

— Здравствуйте, Ной Трифонович, — учтиво поклонился Скворцов. — Вы видите, я не один, с дамой.

— И дама бэри! Пить-кушать будэм! Брат приехал из Рустави, родной брат, дэма! Шашлык есть, вино есть! Зурна будэм играть!

— Спасибо, нам нужно на базар, — сказала Лида.

— Какой базар? — Ной даже зажмурился от отвращения. — Это не базар, а один нуль! Говори, что надо, — все будет! У Ноя Шошиа все есть!

— Большое спасибо, Ной Трифонович, — сказал Скворцов. — Когда-нибудь в другой раз.

— Вай мэ! — горестно закричал Ной.

Они пошли дальше.

— Вы с этим Ноем Шошиа хорошо знакомы?

— В том-то и дело, что нет. Но один раз я был у него в гостях, и этого достаточно, чтобы он полюбил меня, как родного. Видите, как выходит. У нас: друг — значит гость. У них наоборот: гость — значит друг. Удивительный народ.

— А трудно ему, наверно, здесь. Зачем он сюда приехал?

— Кто его знает? Прошлый раз намекал он высоким слогом на что-то особое, на какие-то удары судьбы. Что ж, возможно... Но вот мы, собственно, и достигли цели своего путешествия. Перед нами базарная площадь — так сказать, центр райцентра. Прошу обратить внимание.

Базарная площадь была довольно велика, но как-то неприятно вся покривилась в сторону. На нее выходило несколько магазинов, из которых открыт был только один; у остальных двери были заперты, преграждены брусками

и украшены огромными висячими замками. Посреди площади у длинной коновязи жевали черное сено пять-шесть лошадей, запряженных в телеги; все они одновременно, словно по команде, взмахивали хвостами, отгоняя слепней, — какие-то лошадиные автоматы. У запертых дверей магазина «Хлеб» ожидала на солнце кучка женщин в темных одеждах, с кошелками в руках. Все женщины были низко, по самые глаза, повязаны платками, а из-под платков виднелись мертвенные, известково-белые лица, похожие на маски.

— Это косметика, — пояснил Скворцов. — Чтобы не загорать. Мел, мука и еще что-то, чуть ли не зубная паста. Здесь загорелая женщина не котируется, не то что у нас, в Европе.

Посреди площади возвышался крытый рынок. Внутри было пестро от солнечных пятен и сияющих щелей; За столами шла вялая торговля: пять-шесть продавцов, два-три покупателя. Выбор товаров был скромн: мешочки с семечками и самосадом, куски синего, тощего мяса и тут же — пучки кудели, шерстяные носки, упряжь.

— Вот вам и лихаревский частный сектор. Что вас здесь соблазняет? Мясо? Семечки?

Лида отрицательно помотала головой.

— Хотите, я приценюсь к курице? Вот увидите, я мастер торговаться.

— Боже упаси!

— Да я не покупать, а просто так. Мне эта курица симпатична.

Курица, облюбованная Скворцовым, сидела на столе, шарообразно нахохлившись и поджав под себя ноги. Рядом с нею стоял старик, совершенно сказочный: коричневый, как пряник, с белой сахарной бородой.

— Здорово, дед! Как торговля? — тоном путешествующего министра сказал Скворцов.

— Какая наша торговля? Вот куру продам, бутылку куплю. Товар — деньги — товар.

Скворцов сразу пооблинял.

— Да ты, оказывается, дед, ученый!

— Культурный, — поправил дед.

— Сколько же ты за свою курицу просишь?

— Тридцатку всего.

— Дорого!

— А ты что, дешево водку продаешь?

— Разве это я продаю?

— А то нет? Ты человек городской, я деревенский. Ты мне водку — я тебе куру.

Курица беспокойно заворочалась, словно понимая, что о ней речь.

— Но-но, Дуська, — прикрикнул дед. — Помалкивай, твое дело маленькое.

— Как вы ее зовете?

— Дуська. Авдотья по-старому. Раньше Дуньки были, а теперь Дуськи. А свинью у меня Варварой зовут. Я не религиозный.

«Ко-ко», — проскрипела курица.

— Что вы сказали? — переспросил Скворцов и легонько щелкнул курицу пальцем в лоб.

Произошел небольшой переполох: курица заорала и, хлопая крыльями, попыталась взлететь. Ноги у нее были связаны, и далеко улететь она не могла, но кудахтанья было много. Старик изловил ее, посадил на место и стал увещевать:

— Дуська, не нарушай.

— Шуток не понимает, — сказал Скворцов.

— Очень даже понимает. Только стесняется.

Курица замирала, покрикивая.

— Нервная, — сказал старик. — Питание не удовлетворяет. Местные условия.

— А вы-то сами не местный? — спросила Лида.

— С-под Орла я. А здесь местных нет. Климат очень упругий. Поживет-поживет — и инфаркт. А вы откудава?

- Из Москвы, — ответила Лида.
- В Москве, говорят, снабжение хорошее.
- Ничего.
- А ты почему такая худая? Муж не обеспечивает?
- Нет, отчего же, — смутилась Лида.

— Ты ее получше корми. Я тоже одну такую знал, страшная была, как чучел огородный, а муж откормил — стала интересная! Куриный бульон таким — в самый раз! Берешь, что ли, куру? Или так, для культпросвета стараешься?

— Для культпросвета, — признался Скворцов. — Ты уж, дед, меня прости, время у тебя отнял.

— Бог простит. Хотя я не религиозный. Мое почтение.

Они пошли к выходу. Дверь наружу сияла, как печное жерло. На площади было по-прежнему мертво и грубо-солнечно. Те же лошади, автоматически обхлестывающие себя хвостами, те же женщины с заштукатуренными лицами на крыльце магазина «Хлеб».

— Здравствуйте, — сказал, подходя к ним, Скворцов. — Хлеба ждете? А где же Любовь Ивановна?

Женщины слегка оживились.

— Эвона, — сказала одна из них. — Любовь Ивановну еще зимой сняли.

— За что?

— Говорят, за употребление.

— Вот оно что! А кто же теперь хлебом торгует?

— Катька с Троицкого.

— Ну, и как она? Не употребляет?

— Нам что? Нам без разницы.

— Где же она сейчас, эта Катька? Хочу познакомиться.

— Кто ее знает? Может, на базу ушла, а может, еще куда.

Магазин с утра под замком.

— Самое скверное, — сказал Скворцов, отойдя на приличное расстояние, — это полное равнодушие к нарушению законности. «Магазин» с утра под замком — и нико-

го это не возмущает. Ждали и еще подождут. Без хлеба-то не проживешь. «Ушла на базу» — поди проверь: то ли она сейчас белье стирает, то ли правда сидит на базе, ждет заведующего, а вместо него — замок.

— И неужели ничего нельзя сделать? — опять болезненно спросила Лида.

— Трудно. И чем дальше от центра, тем трудней. Конечно, если не пожалеть сил, можно добиться, чтобы сняли эту Катюку с Троицкого. А что толку? Видите, все магазины закрыты, кроме «Лихрайпотребсоюза». Давайте зайдем?

На дверях «Лихрайпотребсоюза» висело написанное от руки объявление:

«16-го и 17-го июля в магазине будут выдавать дефицитные товары в обмен на задачу яйца гражданами».

— Это интересно, — сказал Скворцов. — Сегодня как раз семнадцатое июля.

Внутри магазина было темновато, пахло сбруей и гутадином. За прилавком восседала крупоплечая женщина в перманенте, с выщипанными бровями. На вошедших она даже не взглянула.

— Как у вас с дефицитными товарами? — громко спросил Скворцов.

— Кончились, — с царственным величием ответила женщина.

— А что же у вас было?

— Сапоги резиновые, тахта, гвозди, часы «Заря».

— Ай-яй-яй, досада какая! А я-то как раз собирался приобрести тахту!

— Опять культпросвет? — спросила Лида.

— А сейчас у вас что есть? — не унимался Скворцов.

— Все есть, — ответила продавщица и погрузилась в нирвану.

И в самом деле, в магазине было как будто бы все — и вместе с тем ничего не было. Кому, скажем, пришло бы

в голову добровольно приобрести этот мужской плащ, сшитый как будто из кровельного железа? Или розовое платье рубчатого бархата, размер пятьдесят шесть? Или зеркало, волнистое, как стиральная доска? Больше всего в магазине было галантереи — бус, подстаканников, золоченых жуков.

В продуктовом отделе было не лучше: сухой кисель, желатин, ячменный кофе, карамель в бумажках и, разумеется, плодоягодное.

— Да, товары сугубо недефицитные, — сказал Скворцов. — Боюсь, что голодный человек ушел бы отсюда голодным, даже если бы сожрал все на этом прилавке. Разве карамель могла бы его поддержать. Карамель под названием «Воетбол», если верить надписи.

Скворцов повысил голос:

— Послушайте, любезная дама, что такое «Воетбол»?

— Как что? Конхвета, — с достоинством ответила продавщица.

— Может быть, «Волейбол»?

— А там и написано «Воетбол». Небось грамотные.

— Хватит, идемте, — сказала Лида.

Они вышли.

— Что-нибудь опять не так? — спросил Скворцов.

— Нет... Просто мне показалось, что вы очень уж на все это смотрите... свысока, что ли... Причем с городского «высока», не знаю, понятно ли?..

— Очень понятно... Я даже согласен. Постараюсь...

— Ведь московская прописка — не заслуга...

— Все понял, можно не объяснять.

Первый, кого они увидели на площади, был Теткин. Он появился из двери с надписью «Кафе-ресторан (напитки в состоянии опьянения не подаются)». Шел он необычайно брыкливо и держался не перпендикулярно земной поверхности, а косо, с парадоксальным наклоном вбок. Заметив их, он бурно обрадовался:



— Пашка, Лида! Здорово, братцы!

— Привет, — сказал Скворцов самым своим струнчатым голосом. — Судя по заметному углу, который составляет с вертикалью продольная ось твоего тела, напитки в состоянии опьянения вопреки правилам тебе подавались. Или я ошибаюсь?

— Чего? — не понял Теткин, махнул рукой и захохотал. — Слушай, Пашка! Ты один можешь меня спасти! Как ее зовут?

— Кого?

— Девушку, за которой я ухаживаю.

— Лора.

— Да ну, Лору я и сам великолепно помню. Другую. Ну, как ее... Из двадцатого ящика. Ты же ее видел на Новый год.

— Черная, змеиноного вида?

— Вот-вот. Как ее зовут?

— Не помню. Не то Элеонора, не то Эмилия. Как-то на «Э».

— Вот и я помнил что на «Э». Вертится-вертится... Может, Эполета?

— Исключено. Женщину так звать не могут. Кстати, Теткин, что такое эполета?

— Отстань. Дело не в этом. Я сейчас весь погружен в то, как ее зовут.

— А на что тебе?

— Видишь, она сюда приехала, я за ней снова примостился ухаживать, два раза сводил в пойму, а как звать — забыл, и спросить неудобно.

— Ничего не скажешь, положение тяжелое.

— Прощайте, братцы, пойду к Ване-Мане, может, он знает.

Теткин побежал прочь, сохраняя и на бегу тот же противоестественный наклон.

— Хорошо, — сказал Скворцов. — Эполета. Надо же выдумать.

— Ее Эльвирой зовут.

— И правда, Эльвира! Теткин, стой!

Но Теткин уже был далеко.

— Что же вы ему не напомнили?

— Лору жалко... Впрочем, может быть, из-за Лоры именно надо было напомнить.

Из открытой двери ресторана пахло чем-то жареным на растительном масле. Скворцов повел носом и сказал:

— Пошлая у меня натура. Стыдно признаться, но я уже есть хочу.

— Боже мой! Давно ли вы ели?

— То-то и есть. Друзья говорят, что у меня не аппетит, а хулиганство.

— Похоже на то. Ну что ж, пойдем обратно в городок.

— Нет. Знаете что? У меня идея. Пообедаем здесь, в злачном месте под чарующим названием «Кафе-ресторан», потом погуляем, познакомимся подробнее с конъюнктурой, а вечером махнем в кино.

— А что там идет?

— Не все ли равно?

— Пожалуй.

В ресторане было дымно и чадно. Официант в полубелой куртке шмыгал между столами, разнося всем одни и те же котлеты с макаронами на овальных металлических блюдцах. Посреди зала сидел тот самый пряничный старик с рынка, хозяин курицы. Он приветственно помахал им вилкой. Рядом с ним зеленела бутылка «Московской».

— А, дед! — обрадовался Скворцов. — Продад свою Дуську?

— А как же. Нашелся один дурак такой же, вроде тебя. Сунул ему куру, тридцатку взял и — к Ною.

— А почему он дурак?

— Она ж у меня рыбой кормлена. Умный человек сразу бы отличил. По виду. От рыбной пищи что у птицы, что у человека взор совсем другой.

Сеанс окончился. Публика выходила из клуба. Засветились в темноте светлячки папирос, послышался говор, смех. От толпы одна за другой отделялись пары и, тесно прижимаясь друг к другу плечами, отходили в стороны. Кто-то рванул аккордеон, женский голос закричал песню, другой подхватил, и компания двинулась вдоль улицы, мягко стуча каблуками по пыли. Песня удалялась, с каждой минутой теряя грубость и становясь все нежней и прекраснее. Но вот разошлась толпа, осела пыль и открылось небо, богатое звездами, с лунным серпом посредине.

— Ночь-то какая, — сказал Скворцов. — Посидим, подышим. Не каждый день удается.

Они сели на ступеньки клубного крыльца, Скворцов закурил, голубой лунный дымок нежным столбиком восходил кверху. У крыльца росло сухое дерево. Вообще в Лихаревке было два дерева, и оба — сухие; одно из них сейчас присутствовало. Ночью дерево выглядело мучеником — с голыми, худыми, заломленными кверху руками.

— Вот, — сказала Лида, — и как же все это странно.

— Что странно?

— Все: и дерево это, и ночь, и мы сами. Вы только подумайте: сидим на каком-то крыльце, за тысячи километров от дома, так, что земля между нами и домом уже существенно закругляется... Там, у нас, еще далеко до захода солнца, а здесь темно и месяц такой необыкновенный...

— Как раз месяц-то самый обыкновенный.

— Что вы! У нас он никогда не лежит так, запрокинувшись, рожками кверху.

Скворцов посмотрел на небо и в самом деле увидел там странно запрокинутый, лежащий месяц. Потом он подумал о том, где сидит, и почувствовал, что сидит на шаре и этот шар ощутимо круглится между ним и Москвой... Поглядел

на лицо своей соседки, и оно тоже было странным, голубое от луны.

— Однако нам пора идти, — сказали голубые губы. — И так, наверно, девушки беспокоятся — куда я пропала?

— Еще немножко! Еще не поздно.

Ему хотелось еще посидеть на шаре.

— Ого! По-местному одиннадцать. А завтра рано вставать.

Что она такое говорит? Никакого завтра нет и быть не может. Тем не менее он встал и взял ее под руку. Они пошли в сторону дома. Ни прохожего, ни огня. Луна светила со спины. Впереди двигались на длинных шатающихся ногах две черные соединенные тени. И вдруг — откуда-то музыка. Радио, что ли? Нет, непохоже. Живые голоса. Пели два голоса: высокий тенор и низкий рыдающий бас.

— А, это, наверно, Ной с братом, — догадался Скворцов. — Верно! Вот и Ноев ковчег, и окно светится. А как поют! Давайте послушаем.

В неплотно закрытой ставне светилось оранжевое сердечко. Там, за этим сердечком, бормотала зурна, и два голоса, поддерживая и оспаривая друг друга, пели по-грузински. Какая-то щеголеватая грусть была в этом пении, какое-то праздничное горе... Эх, черт возьми, надо же уметь так горевать!.. Слова были непонятны, кроме одного, которое все повторялось и повторялось в песне. «Тбилисо!» — рыдал один голос. «Тбилисо!» — вызванивал другой...

— Почему «Тбилисо», а не «Тбилиси»? — шепотом спросила Лида.

— Кажется, это у них звательный падеж.

А песня все длилась — это была очень длинная, сложная песня.

«Черт его знает, — думал Скворцов. — Влюблен я, что ли? Нет, непохоже. Вот Верочку я любил. А здесь не то. Здесь просто странно. Странно и хорошо, и именно потому хорошо, что странно».

Шофер Игорь Тюменцев, первого года службы, молодой, пушистый, желтокловый, терпеть не мог женщин. А они его любили.

Особенно он терпеть не мог хозяйку деревянной гостиницы — жаркую, черешневоглазую Клавдию Васильевну...

Когда Тюменцев на своем газике подъезжал к деревянной гостинице и ждал кого-нибудь, Клавдия Васильевна всегда выкатывалась из двери, подгребала к машине и томно ложилась грудью на капот, подпирая полными руками смуглые щеки. Она выразительно смотрела на Игоря Тюменцева и говорила:

— Жарища нынче. Мочи нет. Всю-то я ночь насквозь до утра протрадала. И на ту боковину лягу, и на другую — все мне покою нет. Полнота меня душит. Все с себя сползаю, так и лежу.

Грудь ее, прижатая снизу горячим железом, выступала из глубокого выреза и лезла ему в глаза. Игорь старался не смотреть, но по спине у него ползли мурашки. Он сплевывал потихоньку и молчал.

— А что, ваша жизнь скучная? — поводя глазами, спрашивала Клавдия Васильевна.

— Нет, ничего, — неохотно отвечал Тюменцев.

— И что же вы делаете, Игоречек, когда машину не водите?

— Книги читаю.

— Все книги да книги! Так и молодость отцветет, ничего не увидите. Книжки пускай старые читают.

«Наподдать бы тебе», — думал Тюменцев.

— Скажите, Игорек, почему вы такие неприветливые?

— Голова болит.

— С таких-то лет и голова болит? Нет, старите вы себя этими книгами! В кино пойти или радио послушать, хор

Пятницкого — это я сама не имею против. Или на танцы. Я даже на лекцию не возражаю. Недавно в клубе такая лекция была — о любви и дружбе, — очень конкретная лекция. А книги я не обожаю и вам не советую.

Тюменцев молчал. Про себя он думал: «Ишь, ведьмачка толстомысая. И не стыдно? Лет, наверно, тридцать пять, а тоже, гуляет. Чем бы такое ей досадить?»

И вот однажды его осенила идея. Целый вечер Тюменцев провозился у машины с какими-то проводочками: зачищал, прилаживал, проверял. Вышло хорошо. Он лег спать, вполне собой довольный. В казарме давали отбой в десять, но Тюменцев приспособился читать втихаря у себя под одеялом, освещая книгу карманным фонариком. Чтобы не так скоро срабатывалась батарейка, он читал не сплошь, а порциями. Блеснет фонариком, схватит быстренько кусок страницы, сколько глаз зацепит, потом закроет глаза и повторяет про себя, переживает.

Сегодня Игорь читал аж до часу. Очень хорошая книжка попалась — Виктор Гюго, «Человек, который смеется». Он читал бы и дольше, да совсем села батарейка, и лампочка уже не горела, а тлела малиновой точкой. Он со вздохом погасил фонарик, сунул книгу под подушку, вытянулся и стал думать. В казарме было душно, пахло сапогами, солдатами. Спасибо, койка у него — верхнего яруса — досталась выгодная, недалеко от окна. Из окна иногда подувало чистой прохладой и были видны на темном небе большие строгие звезды. Крутом громко дышали, беззаботно дышали его товарищи-солдаты. А Тюменцев не спал. Он думал о том, что вот уже двадцать второй год живет на свете, а все еще ничего не сделал для человечества. Вспомнил свою родину, рязанское село на берегу узкой речки; вербы, опустившие на воду длинные ветки, как распущенные бабьи волосы; вспомнил детское, прохладное, мятное северное лето и немного затосковал, так, самую малость. Захотелось ему прозябнуть. А здесь, за тридевять

земель от родного села, неуютно как-то: земля каляная, словно каменная, так трещинами и расходится. И трава — не трава, а метелки какие-то, и то весной, а к июню все выгорает. Но все-таки и здесь жить можно — работа не бей лежачего: вози себе начальство, ожидай его да читай книжки. Книжек Тюменцев читал много и каждую, прочитав, заносил в список с краткими замечаниями, например: «Буза, время зря потратил», или: «Все-таки, мне кажется, книга не до конца правдивая, в жизни так не бывает», или: «Хотел бы познакомиться с автором, наверно, незаурядный человек. Но с образом Ньюры не согласен».

А еще он думал о своем будущем. Пока впереди было еще два года с месяцем действительной. На сверхсрочную он оставаться не собирался. Кончит срок — и прощай, портянки, побудка, наряды. Поедет он на север, туда, в прохладу. Соберутся вечером ребята у пруда, гармошка. А он с аккордеоном. Купит, скопит.

Думал он еще и о том, как запишет в свою тетрадь отзыв о «Человеке, который смеется». Даже фразу придумал: «Исключительно правдивая, волнующая книга, хотя эпоха не совсем современна». Хотелось ему еще придумать фразу, в которой было бы слово «в разрезе», это слово он недавно слышал у одного очень культурного лектора и запомнил, чтобы употребить. Но фразы такой у него не получилось, и он просто стал припоминать и соображать, как там, в книжке, все это было. Особенно его поразили компрачкосы, которые людей растили в каких-то особенных кувшинах, и человек вырастал уродом, по форме кувшина. Страшно, должно быть, в таком кувшине сидеть — вот растешь-растешь, не замечаешь и принимаешь форму. Он подумал-подумал и ощутил эту форму на своих плечах. Врос в нее, вчувствовался. Тюменцеву даже не по себе стало, но тут он вспомнил, что у него есть какая-то малая радость, подумал: хорошо удалось устройство! Он посмеялся мысленно, лег на живот и стал засыпать. Снились ему какие-то звезды.

Утром Тюменцев проснулся раньше всех в казарме. Он упруго, на мускулах, спустился с койки, натянул брюки и сапоги, мыться пошел. На дворе было славно и даже прохладно. Тюменцев сладко помылся у длинного умывальника на сорок сосков, облил голову, вычистил зубы, прошел обратно в казарму, тихо заправил койку, чтобы не разбудить напарника, соседа снизу, надел гимнастерку, крепко обхлестнул ею узкие бедра; пояс с надраенной до солнечного блеска пряжкой затянул до потери дыхания, взял «Человека, который смеется» и пошел наружу.

- Тюменцев, ты куда? — окликнул его дневальный.
- Машину проверить, товарищ ефрейтор.
- Вчера крутил-винтил, все до дела не довинтился?
- Старая она, дребезги одни.
- Ну, иди.

Тюменцев направился в гараж. Около гаража по свежей, еще не раскаленной земле важно ходили лиловые голуби. Из степи тянуло тонким, душистым ветром. Тюменцеву на миг не захотелось уходить отсюда, с воли, в тяжело пахнущий соляровкой гараж. В такое бы утро... Но тут он запретил себе думать, что хотелось бы ему в такое утро. Он еще ту же обтянул по бедрам гимнастерку, привычным движением поправил пилотку — так, чтобы звездой правую бровь как раз пополам, — вошел в гараж, сел на трехногую скамью и взялся за «Человека, который смеется».

## 15

Раннее, еще незлое солнце светило на степь сквозь дымку, но видно было, что день предстоит горячий. Майор Скворцов на газике с Тюменцевым у руля подъехал к деревянной гостинице.

- Игорь, подожди, я сейчас.



Скворцов спрыгнул с подножки, громко хлопнул за собой дверцу машины и пружинисто, шагая через две, взбежал по четырем ступеням крыльца. В вестибюле было темновато, пахло рыбой. На голом клеенчатом диване, роскошно раскинувшись, спала уборщица Катя. Мелкие перманентные кудряшки осыпали ее розовый лоб, на щеке сладко и влажно краснел рубец от подушки, маленькие черные усики — все в бисеринках пота. «Милая она какая-то, спит», — растроганно подумал Скворцов. Все ему были сегодня милы: и Тюменцев, и эта Катя. Тюменцев особенно был хорош: серьезный, подтянутый, в строгих ресницах, с малиновым румянцем на пушистых щеках. Скворцов прошел коридором направо и постучал в дверь с номером три.

— Кто там? — откликнулся женский голос. Не она — Лора, вероятно.

— Это я. Скворцов. Лидия Кондратьевна еще не встала?

— Встала, моется. Погодите, сюда нельзя, мы не одеты.

— А что? Мы не кривобокие, — хихикнул другой голос, должно быть Томкин.

— Спасибо, я подожду.

В вестибюле на диване Кати уже не было — лежала только подушка да смятая, умилительная, в голубых бабочках косынка.

«Что это я сегодня дураком каким-то, все меня радует», — подумал Скворцов.

Вестибюль был как вестибюль, мрачноватый, с трещинами на неровных, давно не беленных стенах, но ему и этот вестибюль нравился необычайно. И столик в углу — маленький, треугольный, застланный корявой какой-то тряпочкой, и голубые от синьки занавесочки, косо на каждом окне, и ядовито-розовая вата между рамами. Беспokoясь от счастья, не зная куда себя приткнуть, он стал читать застекленное объявление в багетной рамке.

Это оказались «Правила соцсоревнования работников гостиницы «Золотой луч». А он и не знал, что она так называется, — все знали гостиницу просто как «деревянную». Правила были подробные, минут на десять внимательного чтения. Каждый пункт четко оценивался в очках. За участие в художественной самодеятельности начислялось 15 очков, за пользование библиотекой — 8 очков, за вежливость и культурное обращение с проживающими — тоже 8 очков. На последнем месте стояло: «Борьба с клопами — 5 очков».

В вестибюль, весело гремя ведрами, вошла Катя с глазами, как промытые окна. Вошла и обрадовалась:

— Здравствуйте, товарищ майор! Вы за Ромничевой Лидой? Она примываться пошла.

— Слышал.

— А мы вас ждали-ждали, заждались. Давно не были. Девки говорят: посмеяться охота, хоть бы майор тот приехал, с зубом. Скукота у нас, с майором хоть посмеешься.

— Больно мало у вас за клопов начисляют!

— Каких клопов?

— А вот. — Он показал на последний пункт правил. — Не читала?

— А ну их, мы и не смотрим. Шестьсот метров норму дали, а тряпок не дают, своими тряпками работаем. У меня последние кончились, старым триком мою, а он не трет, хоть зубами грызи. А клопов на той неделе наметила кипятком шпарить. Да и нет их у нас, один-два когда выползет.

— Ну, а с участием в самодеятельности как у вас?

— Ничего, танцуем.

— Ну, танцуйте, я приду проверю. Дело нешуточное — пятнадцать очков! На одном клопе этого не заработаешь...

— Все шутите... А я с вами, товарищ майор, серьезно мечтала побеседовать. По личному делу.

— Валяй беседуй.

— Любит тут меня один, не так, чтобы очень красивый, но самостоятельный. Пожилой, лет тридцать. Расписаться просит. Идти мне за него или как?

— Или как.

— Ну вот, опять шутите. Я сама посмеяться не против, но тут дело такое... Судьба всей жизни. Надо отнестись ответственно. А вы его знаете, что не советуете?

— Нет, я тебя знаю. Спрашиваешь, идти ли, значит, не любишь.

— Все про любовь говорят, товарищ майор, а я и не знаю, что за любовь за такая. Может, выйду, там и полюблю? Как вы думаете?

— Я тебе, Катя, сказал, как думаю.

Катя зарумянилась и тихонько проговорила:

— Не в молодости счастье. Я бы за такого, как вы, пошла. Ничего, что пожилые, а легкие. Весело с вами.

— Спасибо, Катюша, на добром слове. Я в некотором роде женат.

— Да я не к тому, я просто к примеру. Бывают и пожилые, а веселые. А мой-то не так пожилой, как вы, а скучный. В ухе ковыряет. И говорит больно уж нудно. Слушаю его, и все мне кажется, будто это торжественная часть.

— Умница! Не иди за него. Он тебя заговорит до смерти.

Катя покачала ведром.

— Спасибо, товарищ майор. Учту. А теперь бежать надо мне.

Убежала. «Милая эта Катя, — думал Скворцов, — Ну до чего же милая! Любят меня женщины, а за что? Пустой я человек, вот за что они меня любят. Пустой, легкий».

И вдруг он спиной почувствовал, что счастлив. Так и есть: обернулся, за спиной у него стояла Лида Ромнич в халатике, худая, загорелая, с полотенцем через плечо.

Волосы на висках мокрые, а серьезные серые глаза так и ложатся в душу.

— С добрым утром.

— Здравствуйте.

— Я веселый, я счастливый, меня женщины любят, — скороговоркой произнес Скворцов. — Едем? Я за вами. Машина, Тюменцев — все в порядке. В машине три бутылки квасу, у Ноя достал. Предупреждаю: в поле будет жарко.

— Я не боюсь. Сейчас иду, только оденусь.

— Жду. Жду!

Он подошел к окну. Зеленый газик стоял на солнце и, наверное, уже накалился. У руля сидел Тюменцев, пушистый, серьезный до невозможности, а на стуле у крыльца раскинулась в утренней истоме Клавдия Васильевна. Вертя ногой в красной босоножке, она беседовала с Тюменцевым.

— Игорек, и до чего же вы серьезные, просто даже странно. В такие годы и такие серьезные. Разве можно?

— Это я от вас уже слышал, — мрачно отвечал Тюменцев. — Нельзя так много говорить и все одно и то же...

Клавдия Васильевна помолчала, встала со стула и, поигрывая бедром, медленно двинулась к машине.

— А что это, Игорек, ваш майор все сюда, к этой Лиде, как ее, похаживает? Может, муж они с женой, а?

— Нет.

— Просто так, характерами сошлись?

Тюменцев молчал. Майора Скворцова он любил слепо, преданно, целиком. Он не должен был позволять... Он мысленно подбирал в уме ответ — уничтожающий.

— Вы... — начал он, но не закончил.

Клавдия Васильевна подошла вплотную к машине и положила на горячий капот свою большую грудь и голые круглые руки.

Тюменцев незаметно нажал кнопку у окна.

— Ой! — вскрикнула Клавдия Васильевна и подскочила.

— Что с вами, Клавдия Васильевна?

— Будто меня в сердце током ударило! Нет, правда!

— А я думал, вас фаланга укусила.

— Ой, не говори! Не люблю фалангов этих, ужас! Вчера одну на пороге видела: белая, страшная, мохнатая, как покойник. Ночью не сплю, все боюсь, что она в постель ко мне заберется! Думаю, заберется, а мне тут же конец, потому что сердце у меня больное и очень я их ненавижу.

Клавдия Васильевна, говоря, опять стала приближаться к машине... Тюменцев ждал, собранный, как кошка перед прыжком. Она оперлась грудью о капот... Тюменцев нажал кнопку.

— Ой, мои матушки! — взревела Клавдия Васильевна. — Да это машина твоя, Игорь, током шибает! Что ж ты за ней не смотришь?

— Остаточное электричество. Токи Фуко, — важно сказал Тюменцев.

— Да ну тебя к Богу с твоими токами.

Клавдия Васильевна обиделась и ушла в дом. В вестибюле она увидела Скворцова.

— Здравствуйте, товарищ майор! Что же не у нас остановились?

— Дали в каменной.

— У нас лучше, — подмигнула Клавдия Васильевна, — женского полу больше.

— Вашего полу везде хватает.

— Ну, вот я и готова, — сказала, входя, Лида Ромнич.

На голове у нее была белая, по-монашески повязанная косынка, через плечо — офицерская полевая сумка. Сухие коричневые плечи вылезали из-под лямок ситцевого сарафанчика. Он сразу охватил ее взглядом как-то со всех сторон, от ясных серых глаз до острого мысика выгоревших белых волосков, сбегавшего по выпуклым позвонкам с за-

тылка на спину. Одно плечо облупилось, на нем чисто блестела розовая, новорожденная кожа. Скворцов почувствовал, что он не к месту, чрезвычайно, до глупости умилен.

— Что ж вы так, нагишмя, — сказала Клавдия Васильевна. — Сгорите.

— А у меня в сумке кофточка. Накроюсь, если на солнце.

— Нам пора, едем, — сказал Скворцов. — До свидания, Клавдия Васильевна.

— Счастливо вам погулять.

Было еще не очень жарко, но газик раскалился порядочно. Черная гранитовая обивка прямо обжигала.

— Игорь, на седьмой объект.

— Слушаю, товарищ майор.

Газик заворчал, запыхтел, рыкнул и тронулся. Дорога запыхтела. Небо уже начинало сиять сплошным серебряным блеском.

— Жарко, — заметил Тюменцев. — К обеду сорок — сорок два набегит, как минимум.

— Ты мне зубы-то не заговаривай, — строго сказал Скворцов. — Видел я из окна твои фокусы.

Тюменцев зарозовел, обмахнулся ресницами и спросил:

— Какие фокусы, товарищ майор?

— Не валяй дурака. Кто тебе разрешил пугательное оборудование на казенную машину ставить? Не вижу я, что ли?

Скворцов нажал кнопку. Раздался легкий треск.

— Товарищ майор, так ведь лезут же... Что мне делать? Я вот кнопку поставил...

— В чем дело? — спросила Лида.

— А вот, видите ли, Тюменцев, наш скромный советский Эдисон, кнопку приспособил, чтобы баб отпугивать. Она прислонится, а он нажмет кнопку, и ее током бьет. Подумаешь, Иосиф Прекрасный с электрооборудованием!

— Виноват, товарищ майор.

— То-то, виноват! Устройство демонтировать сегодня же!

— Есть демонтировать!

— А кого же вы так отпугивали? — спросила Лида.

— Говори, говори, признавайся, — сказал Скворцов.

— Вообще у меня это против разных задумано, но конкретно сегодняшней день я его испытывал на хозяйке гостиницы.

Лида засмеялась.

А в это время в вестибюле гостиницы Клавдия Васильевна говорила уборщице Кате:

— Эту, как ее, Ромнич, я насквозь вижу. В тихом омуте черти водятся. Не успела приехать — шуры-муры. Были бы у меня такие скелеты, постыдилась бы и перед мужиками разнагишаться. Вобла — она и есть вобла.

## 16

Газик бежал по дороге, таща за собою небольшое облако пыли. Кругом была степь — и только одна степь, большая, круглая, плоско, жестко замкнутая ровным, как нитка, горизонтом. Когда дорога меняла направление, степь медленно начинала вращаться, но, вращаясь, оставалась неизменной — такое было все одинаковое со всех сторон. Ни холма, ни крыши, ни телеграфного столба. Солнце, поднявшееся над утренней дымкой, уже набирало силу и властно накладывало на землю тяжелые жесткие лучи. В ответ им каждый камень накалялся и тоже начинал излучать. Горячий воздух восходил кверху стекловидными дрожащими столбами. Вдалеке время от времени вставали, завивались и исчезали маленькие смерчи.

«Степь чем далее, тем становилась прекраснее», — думал Скворцов. Эта строка привязалась к нему сегодня

и сопровождала каждую мысль. Он смотрел, изумлялся и постигал.

Местами поперек дороги, серые на сером, лежали змеи. Заслышав машину, они неохотно оживлялись и медленно уползали в сторону. Подрагивание сухих травинок еле отмечало их извилистый путь.

— Смотрите, тушканчик, — сказала Лида.

— Да, здесь их много.

Тушканчик сидел у самого края дороги и дрожал усами. Скворцов тысячи раз видел тушканчиков, но никогда их не разглядывал, а этого разглядел и увидел, какое у него умное маленькое лицо, какие большие печальные глаза, какие круглые трепетные уши, какие спичечные, невесомые ножки. С одного взгляда тушканчик обрисовался весь — от головы до кисточки на хвосте. Степь чем далее, тем становилась прекраснее.

— А это далеко — седьмой объект? — спросила Лида, и он увидел ее глаза, большие и печальные, как у тушканчика. Но отвечать надо было по-обычному:

— Нет, теперь уже недалеко, километров пятнадцать. А что? Устали ехать? Жарко? Хотите квасу?

— Пока нет, спасибо.

«Что бы такое для нее сделать?» — думал Скворцов. Его всегда подмывало действовать. Особенно когда он любил — кого-нибудь или что-нибудь.

— Знаете, что меня удивляет? — спросила Лида. — Что нигде никаких ограждений, часовых, документы не спрашивают. Как же это? Ходи кто хочешь?

— Именно, ходи кто хочешь. Желающих нет.

— А если кто-нибудь случайно зайдет и... пострадает?

— Нет. Кому это может прийти в голову: выйти в степь и... пострадать?

— Ну, местному населению.

— Местное население в степь не ходит, — к собственному удивлению вмешался Тюменцев и покраснел до под-



воротничка. — Чего ему в степи надо? Змеи да тушканы, да тарантулы — больше там никого нет.

Жара усиливалась. Воздух, бегущий навстречу машине, уже не охлаждал, а грел. Небо приобретало неприятный, алюминевый оттенок. Кругом сновали, мелко танцуя, какие-то серые точки. Лида сначала подумала, что это в глазах, но потом поняла, что точки действительно танцуют.

— Что это за точки в воздухе?

— Мошкá, — ответил Скворцов.

— Мбшка?

— Нет, по-здешнему именно мошкá. «Мбшка» — это что-то невинное, безобидное. «Мошкá» — это бедствие. В поселке, слава Богу, нынешний год ее еще не было, а когда нападет — беда. Все в сетках ходят. Иногда грудного везут в коляске — и он в сетке.

Он мучительно ясно видел этого толстого младенца в сетке во всем его смешном величии, но не умел о нем рассказать.

— Почему же она нас не трогает?

— Ее на ходу машины ветром сдувает. Остановимся — увидите. Тронет.

— Мошкá — она даже голубей ест, — снова вмешался Тюменцев. — Тут в Лихаревке у одного пацана голубей разведено, красивые такие, белые, сизые, есть и мохнатые. Когда мошкá — у него голуби эти на крыше сарая так и танцуют, ну просто танцуют. Ножки у них, у голубей, нежные, вот они и танцуют.

Тюменцев спохватился, что слишком много сказал, и умолк. А сказал он много потому, что нежно любил голубей, особенно мохнатых. «После действительной разведку голубей». Это у него было запланировано. Краска медленно отливала у Тюменцева от шеи и ушей. Он раскаивался, что много говорил, и решил молчать уже до конца дня.

Машина подскочила на выбоине, и сразу после этого раздался взрыв. Лида не вздрогнула, только шевельнула глазами:

— Что это?

— Квас взорвался, — сказал Тюменцев. Вот тебе и про-молчал.

И точно, под ногами растекалась коричневатая пенящаяся жидкость.

Скворцов полез под скамью.

— Так и есть. Одна бутылка готова. Две еще целы. Вы-пьем, пока не поздно.

Вторая бутылка взорвалась у него в руках.

— На черта нам такая самодеятельность, — сказал он, отряхиваясь.

Третью бутылку распили втроем, попеременно прикладываясь к горлышку. Горячий квас отдавал не то соляркой, не то паленой резиной.

— Хорошо, но мало, — сказал Скворцов. — Люблю пить.

— А на седьмом объекте можно будет напиться?

— Черта с два. Воду туда возят в обрез — по литру в сут-ки на брата. Хочешь пей, хочешь мойся. Большинство предпочитают пить.

Дорога повернула направо, и стало видно на горизонте небольшое пятнышко, похожее издали на корабль.

— А это что?

— А это и есть седьмой объект.

— Знаменитая стенка?

— Она, матушка.

По мере того как они приближались, очертания большо-го кораблеобразного сооружения обрисовывались яснее. Скоро стало видно, что это не корабль, а действительно высокая, изогнутая полукругом стена. Она мрачно выделя-лась в голой степи, грубо сваренная из тусклых, слегка обо-ржавленных броневых листов, опертых на циклопические

обветренные бревна. На верху стены сидел маленький степной орел. Когда газик приблизился, орел развернул крылья и неторопливо полетел в степь. Еще ближе — и стало заметно, что вся стена усеяна небольшими пробоинами, сквозь которые беловатыми глазками посверкивало небо.

В последнюю очередь они увидели стальной цилиндр, подвешенный на тросах в центре подрывной площадки. Не очень большой, но значительный, он мягко поблескивал на солнце синеватым округлым боком. Сразу было видно, что он здесь главный.

— Узнаете свое изделие? — спросил Скворцов.

Лида побледнела под загаром и медленно ответила:

— Узнаю.

— Да вы не волнуйтесь, все будет хорошо.

Не успели они выйти из машины, как на них набросилась мошка и обсела потные лица. Из деревянной будки вышел коротконогий человек в синем комбинезоне. Лицо его было закрыто черной сеткой. Грудастый, он напоминал женщину в парандже.

— Здравия желаю, товарищ майор, — тонким, осипшим голосом сказал человек в парандже.

— Здравствуйте, — ответил Скворцов, подавая ему руку. — Я вам привез конструктора этой вот игрушки. Знакомьтесь.

— Ромнич, — сказала Лида и закашлялась. Мошка лезла в рот, в ноздри.

— Капитан Постников, — сказал человек в парандже, не подавая руки. — Сеткой надо одеваться, — прибавил он фистулой.

— Я как раз захватил пару сеток, — сказал Скворцов и вынул из кармана две черные нитяные сетки, похожие на авоськи, но с кисточками по краю. Одну он накинуд на голову Лиде, другую себе. Мошка затанцевала вокруг сеток, искусно маневрируя возле ячеек, но не залетая внутрь.

Сетка странно изменила лицо Лиды Ромнич.

— А знаете, вам идет. Все-таки когда женщины носили вуали, в этом что-то было.

— Вам тоже идет.

Капитан Постников глядел на них с откровенным презрением: тоже, мол, нашли разговор.

— Что у вас тут произошло? — спросил его Скворцов.

— Два подрыва вчера дали. Распределение осколков не соответствует тактико-техническому заданию. Будем браковать изделие.

— Это мы еще посмотрим. К подрыву готовы?

— Так точно. Только переходников нет. Я машину за ними послал, да она что-то задержалась. Наверно, воду берет. Все-таки жара. Метео сорок три обещало.

Капитан говорил тяжело, трудно, с перерывами, как будто он уже замолчал, а потом молчать раздумал. Было видно, что ему все осточертело: жара, степь, вся эта канитель с изделием.

— Сколько же придется ждать?

— А кто ее знает? Вы тут, в тенечке, обождите.

Скворцов и Лида отошли в короткую тень будки. От железной крыши так и дышало жаром. Постников пошел на площадку.

— Придется ждать, — сказал Скворцов. — Вот лопухи, забыли переходники доставить.

— А знаете, я люблю ждать.

— Станный вкус. Я как раз терпеть не могу ждать.

— Нет, я люблю. Не везде, конечно, а на полигоне. На полигоне полагается ждать. Это словно часть полигонной службы, вроде ритуала...

— Видно, вы прирожденный полигонный работник. Любите свою работу?

— Очень, — сказала Лида. — Знаете, когда я думаю о своей работе, даже мурашки по спине.

Она повела плечами, морща спину между лопаток.

— Вот это любовь. А по дому не скучаете?

— Нет. То есть да. Сына хочется на руки взять. Сын у меня, Вовка. Два ему. Хороший мальчик. Кудрявый... А у вас, кажется, тоже сын?

— Вася.

— Сколько ему?

— Полтора.

— А какой он у вас? Расскажите. Я люблю про детей.

— Ну какой? Толстый, белый, увальень, глупый. Глупый, а друг он мне большой, больше всех.

Подошел капитан Постников:

— Машина пришла, товарищ майор. Разрешите готовить подрыв?

— Пожалуйста.

— Попрошу пройти в блиндаж, — просипел Постников, упорно не глядя на Лиду Ромнич. — Покидать блиндаж в ходе подрыва не разрешается.

— Я знаю, — сказала Лида.

— Идите вперед, Лидия Кондратьевна, я вас догоню. Видите блиндаж? Вон там.

Она пошла по тропинке к блиндажу, полевая сумка болталась у ее бедра. Скворцов смотрел вслед, умиляясь ее цепельной долговязости. Этакие бамбуковые ноги, словно бы даже пустые внутри.

Постников кашлянул.

— Дай закурить, капитан, — сказал Скворцов.

— «Беломор» употребляете?

— Очень даже употребляю.

Они откинули сетки и закурили.

— Что же ты, капитан, с нашей дамой так строго, а?

— Не люблю бабья на полигоне. Приедет такая фуфлыга: ах да ох, уши затыкает. И всегда при ней что-нибудь не так. То пиропирон не работает, то контакта нет. Я тысячу раз замечал.

— Напрасно. Ромнич не такая. Она уши не затыкает. Она сама — конструктор, полигонный работник. Даже ждуть на полигоне — и то любит.

Постников подумал и сказал:

— От женщины, которая таким делом занимается, может вытошнить.

— Ну, зачем уж так. Хорошую женщину никакое дело не испортит. Я даже одну знал женщину-борца. И ничего, славная была женщина.

— Пускай она лучше обо мне заботится, — горячо сказал Постников, сразу потеряв медлительность. — Моя вон тоже пошла в школу преподавать, а хозяйством ей некогда заниматься. Щи оставит — когда разогрею, а когда холодные кушаю, без аппетита.

— Подумаешь, дело — разогреть! Были бы щи.

Это Постникову не понравилось. Он опять замедлился и сказал:

— Согласно инструкции идите в блиндаж, товарищ майор.

Скворцов спустился в блиндаж. Под землей было как под водой — полутемно и прохладно. Всей кожей ощущая прекрасную эту прохладу, он полуощупью пробрался к стенке. В глазах плавали радужные круги. Пахло грибами. Когда круги исчезли, он увидел у самого своего лица свисшую с потолка гроздь тоненьких, полупрозрачных поганок. Они росли из щели между бревнами наката и, казалось, должны были висеть вниз головой, но нет: каждая поганка грациозно изгибала тоненькую свою ножку и подымала вверх серую колокольчатую шляпку.

— Смотрите, какие поганочки, — сказала Лида.

— Вижу.

Ему захотелось еще от себя прибавить что-то глупое, вроде «всюду жизнь», но он удержался.

Зазвонил полевой телефон. Скворцов взял трубку.

— Товарищ майор, к подрыву готов, — доложил торжественный голос, совсем непохожий на голос Постникова. Все-таки подрыв — всегда событие.

— Отлично. Давайте.

Раздался сигнал тревоги — несколько колокольных ударов по рельсу, — и снаружи в блиндаж начали просовывать ноги в кирзовых сапогах. Солдаты стали на земляной лестнице, упираясь пилотками в перекрытие. Наступила тишина — особая тишина перед взрывом.

Скворцов с Лидой стояли у смотрового окошка, глядя сквозь растрескавшееся бронестекло. Стена в отдалении рисовалась темным массивом. Вдруг на ее фоне сверкнул огонь, взметнулась вверх черная земля, и тут же пришел удар. Блиндаж колебнулся, с потолка посыпалась земля, гроздь поганок дрогнула и уронила один колокольчик. Сквозь окошко было видно, как поднятая взрывом земля медленно распускалась большим черным георгином и медленно опадала.

— Все, — сказал Скворцов. — Можно выходить.

Кирзовые сапоги двинулись вверх по лестнице и исчезли в сияющем голубом проеме.

После подземной прохлады зной наверху был ошеломляющим. Казалось, видно было, как скручиваются и вконец погибают сушеные-пересушенные, но еще не до конца сожженные травки.

У полуциркульной стены облаком стояла еще не осевшая пыль. Там, где только что поблескивал стальной цилиндр, ничего не было — ни треноги, ни троса, только горячая яма в пыльной земле. По всей поверхности броневой стены проворно расползлись солдаты в выбеленных солнцем гимнастерках, с зелеными сетками на головах — зеленоголовые муравьи. Цепляясь за веревки, переползая от опоры к опоре, они снимали координаты пробоев и метили их черной краской, передавая друг другу ведро и кисть. Постников мешковато суетился внизу, сипел на крик, командовал и наносил отметки на большой лист бумаги. Лист топорщился коробом у него в руках.

— Придется подождать, пока обмерят. Впрочем, вы любите ждать. Давайте опять в этот самый тенечек.

Короткая тень от будки стала, если возможно, еще короче.

— Присядьте, — предложил Скворцов и расстелил на горячей земле газету. Края газеты немедленно загнулись вверх, как будто ее положили на плиту. Они сели — головы в тени, ноги на солнце. Лида о чем-то размышляла, тербя кисточки на краю своей сетки.

— А знаете, Павел Сергеевич, я почти уверена, что осколки рикошетируют от грунта.

— Не может быть. Есть противорикошетные валы...

— И все-таки рикошеты не исключены.

Она вынула из полевой сумки блокнот и карандаш:

— Погодите, я сейчас прикину.

Она написала несколько строк, прикусила карандаш, задумалась...

— Я могу вам помочь?

— Помолчите, а то собьюсь, — резковато сказала Лида.

Скворцов замолчал и стал смотреть на ее ногу. Тонкая, до блеска отполированная солнцем, даже чуть кривоватая от худобы, чем-то похожая на саблю нога. Он смотрел и думал: «Люблю твою ногу. Люблю твою пыльную, исцарапанную ногу. Люблю все в тебе — красивое и некрасивое, хорошее и плохое, мягкое и резкое. Ничто не имеет отношения ни к чему».

— Ну, так и есть, — сказала Лида. — Все, как я и предполагала.

— Рикошеты?

— Конечно. При этом профиле противорикошетных устройств должно наблюдаться восемь-десять процентов лишних пробоев во втором поясе. Смотрите.

— Это что, формула Сабанеева? — спросил Скворцов. Он не очень-то был силен в теории, но некоторые фамилии помнил и при случае мог блеснуть.

— Нет, не Сабанеева.

— Ваша?



— Право, не знаю. Эта формула всегда была.

— Как всегда?

— Это у нас так говорят. Когда стали очень уж приставать с приоритетом русских и советских ученых...

— Понимаю.

На дорожке появился Постников с бумажным листом. Скворцов и Лида встали.

— Ну как?

— Та же петрушка, — просипел Постников. — Ясно, в конструкции ошибка.

— Это рикошеты, — сказала Лида.

Постников глядел сквозь нее.

— Сколько лишних?

— Девять процентов во втором поясе.

Лида вся вспыхнула, глаза и все.

— Слышали, Павел Сергеевич? Так и по расчету получается: от восьми до десяти процентов! Значит, я права!

«Как идет счастье человеку, — думал Скворцов. — Как она сейчас хороша». Для Постникова она по-прежнему не существовала.

— А и в самом деле похоже на рикошеты, — сказал Скворцов.

Постников был непробиваем.

— Валы откапывали согласно инструкции.

— Это сабанеевская инструкция, — светясь, возразила Лида. — Так она же для наших мест, для тяжелого, влажного грунта, а здесь у вас грунт мягкий, пылевой, совсем другая консистенция! Объясните ему, Павел Сергеевич, он меня не слушает.

— Слушай конструктора, капитан.

Постников неохотно оборотился. Лида горячо стала объяснять ему схему рикошета, тыча карандашом в блокнот. Скворцов не слушал, что она говорит, он просто следил, как менялось у Постникова выражение лица, переходя от презрительного к почтительному.

— Сечешь, капитан? — спросил Скворцов.

— Секу.

— А валы придется перекопать, — заключила Лида. — Сделаете новые, по такому вот профилю. — Она вырвала листок из блокнота.

— Есть перекопать, товарищ конструктор.

Скворцов и Лида уходили к своей машине, а Постников смотрел им вслед. Они уезжали, а он оставался. Потом они улетят в Москву, всякие там свои диссертации писать, а он опять останется. В степи, в жаре, в мошке. Жара не жара — вкалывай. И всегда так. Приедут, поглядят, покритикуют — и снова к себе, на север. Дождь у них идет. Мостовые блестят, девушки в разноцветных плащах, как розы. Москвичи, сукины дети. Впрочем, она ничего баба. Раздражал его, собственно, Скворцов — болтун, пустопляс. Смеется, зуб стальной. И чего она в нем нашла?

Машина была горячая, как сковорода.

— Игорь, домой.

Тюменцев включил двигатель. Газик затрясся.

— Между прочим, Игорь, — заметил Скворцов, — вот что мне в голову пришло, пока я там сидел: почему ты не взял высокое напряжение прямо с трамблера на корпус?

— Такой вариант я рассматривал, он для меня не годится. Этот вариант работает только при включенном моторе. Я тогда на случай не должен мотор выключать. А за пережог горючего тоже не похвалят.

— Эх, — вздохнул Скворцов, — если бы меня так девушки любили, я бы их пугать не стал. Идите ко мне, милые, сказал бы я на твоём месте.

Тюменцев нажал стартер. «ГАЗ-69» забормотал и тронулся в путь. Дорога уходила в степь. Скворцов сказал наконец вслух то, что думал про себя целый день:

— Степь чем дальше, тем становилась прекраснее.

Еще один день прошел, жаркий и необычайно тяжелый. К вечеру легче не стало. В небе, затянутом плотной дымкой, медленно опускалось тусклое красное солнце с резко обведенным круглым контуром. Воздух не шевелился, скованный неопределенным ожиданием.

В каменной гостинице, раздевшись до трусов, лежали на кроватях Чехардин, Скворцов и Манин. Вернувшись с поля, они не пошли даже купаться, а сразу же полегли. В номере было сверхъестественно душно. Накалившиеся за день стены немилосердно излучали жар. Чехардин и Скворцов курили, дым неподвижно висел над каждой кроватью, не смешиваясь с окружающим воздухом. Манин был некурящий и обычно любил пострадать своих сожителей раком, и не каким-нибудь, а нижней губы. Но сегодня он так истомился, что даже о раке забыл.

— Хочу холодного пива, — сказал Чехардин, — чтобы в большой тяжелой кружке, чтобы вся запотела и капельки на боках... Вульгарная московская кружка пива.

— Разговор о пиве в настоящих условиях приравнивается к идеологической диверсии, — отвечал Скворцов.

— А и в самом деле, — невинно сказал Манин, — почему это здешняя торговая сеть не продает прохладительных напитков?

— Эх, Ваня-Маня, святая простота.

— А я и правда не вижу причин.

— Их более чем достаточно, — сказал Чехардин. — Организовать продажу прохладительных напитков в здешних условиях — дело нелегкое. Нужна тара, бочки, емкости, лед, пятое-десятое, вода, наконец. А чего ради они будут стараться? Какие рычаги приведут в действие всю эту машину?

— Забота о живом человеке, — ответил Манин и сам застеснялся.

— Вот-вот, — усмехнулся Чехардин. — Очень типично. На словах — марксист, а чуть до дела дойдет — типичный идеалист. Сознание первично, материя вторична, так, что ли?

— Я этого не говорил.

— Простите, я только довел вашу мысль до логического завершения. Забота о живом человеке! Вещь, конечно, полезная, но утверждать, что таким рычагом вы сдвинете проблему снабжения, — значит быть идеалистом. Помимо заботы о живом человеке нужны другие, экономические рычаги. Нужно поставить торговую сеть в такие условия, чтобы ей было не только душеспасительно, но и выгодно заботиться о живом человеке. Как говорил один мой приятель: «У всякого есть совесть, но надо создать такие условия, чтобы хочешь не хочешь, а она проявлялась».

— Это не наша, это капиталистическая мораль, — искренне страдая, сказал Манин.

— Так я и знал, что вы пустите в ход какой-нибудь жупел. Известный прием: подобрать подходящее к случаю бранное слово — и спор кончен. Нет, вы попробуйте подумать, ей-богу, неплохо иногда подумать.

— Я и думаю, но не вразрез с основными принципами. А вы... ошибаетесь.

— Вполне возможно. Думающий человек не застрахован от ошибок. Это знает каждый, кто когда-нибудь пробовал думать сам.

— Я с вами согласен, — сказал Скворцов. — Рычаги нужны. Помните, я вам рассказывал про ту бабишу из «Лихрайпотребсоюза»? Ее бы каким-нибудь рычагом... Сидит, как царица, и на лице — глубочайшее презрение ко мне, живому человеку...

— Естественное презрение владельца к неимущему.

— Чем же она владеет?

— Как чем? Информацией! Пока существуют дефицитные товары, существуют и владельцы информации. Ин-

формации о том, где, какой и в каком количестве появится товар. Эту информацию можно продать, купить, обменять (ты — мне, я — тебе). А власть! Возьмите хотя бы Ноя! Завези в Лихаревку вдоволь напитков — и лопнет ваш Ной как мыльный пузырь.

— А я люблю Ноя, — вступился Скворцов. — Что-то есть в нем широкое. Этакая бескорыстная, я бы сказал, любовь к материальным благам. Он ведь не для себя — ему угощать надо.

— Дефицит, — сказал Манин, — явление временное. Конечно, есть еще некоторые трудности, но это болезни роста. Когда мы добьемся подлинного изобилия, небывало высокого уровня производства на душу населения, дефицита не будет.

Чехардин выслушал и сказал задумчиво:

— У буддийских народов есть весьма остроумное устройство — молитвенное колесо. Когда верующему приходит в голову помолиться, ему даже не надо произносить слов, достаточно повертеть колесо.

— А что, я что-нибудь не то сказал? — беспокоился Манин.

— Наоборот, даже слишком то. То, да не то. Наш дефицит в большинстве случаев обусловлен не бедностью. Мы достаточно богаты для того, чтобы выбрасывать на ветер, уничтожать, гноить огромные материальные ценности. Представьте себе все это в масштабе страны! Несобранные урожаи; зараженные сорняками, гибнущие поля; в огромных количествах производимый никому не нужный ширпотреб... Это все — чистые издержки. А ведь общие принципы разумного управления известны. Экономическая система, как и техническая, должна основываться на принципе обратной связи. В технике мы признаем обратную связь, а в экономике упорно ее отрицаем!

Манин покраснел чуть не до слез и сказал дрожащим голосом:

— Ну уж это... Это я не знаю что... Это какая-то кибернетика.

— Еще один жупел. Сейчас вы обзовете меня апологетом буржуазной лженауки. Слово-то какое: «апологет»...

— А есть еще хуже: «молодчик», — сказал Скворцов.

— Одно другого стоит.

На этом месте разговор прервался, потому что вошел Теткин, очень веселый, и заорал:

— Ужинать, братцы! Скорей в портки и ужинать! Я по такой жаре ненормально жрать хочу!

Он схватил со стола графин с водой, желтой, как чай, и горячей, почти как чай, хлебнул из горлышка, сморщился, сплюнул, уронил пепельницу, захохотал и удалился, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка.

— Это он всегда такой жизнерадостный? — осведомился Чехардин.

— Всегда, — ответил Скворцов, натягивая брюки. — Вчера утром он потерял шляпу и по этому поводу хохотал до обеда. Потом нашел шляпу и хохотал уже до вечера.

Манин оделся раньше других и вышел.

— Напрасно вы при нем, — сказал Скворцов.

— А что? Разве он...

— Нет. Просто пай-мальчик, потому и может продать. И не потихоньку, а в открытую. Выступит на собрании и начнет в порядке самокритики со слезами на глазах поносить себя самого за то, что вас слушал...

— А ну его к черту, пусть поносит, — рассердился Чехардин. — Чего в самом деле бояться? Двум смертям не бывать...

— Это верно. Только боимся-то мы не смерти, а чего-то похуже.

— Страшна не смерть, а унижение.

— Страшна не смерть, а когда люди от тебя отвернутся.

— Кому что. Между прочим, Скворцов, вы, кажется, думающий человек...

— Не очень.

— Все равно. Так вот, не скажете ли вы мне: чем мы, собственно говоря, живы?

— Странный вопрос. Мы с вами или вообще?

— Мы с вами.

— Ну, работой. Скорее всего работой.

Чехардин улыбнулся:

— Я так и знал, что именно это скажете.

— А вы что скажете?

— Я с вами вполне согласен.

— Работа плюс чувство юмора. Не так ли?

— Плюс, а не минус. Мы, пожалуй, пришли к соглашению.

— Ну, хватит философии — в самом деле пора ужинать.

Внизу, у подъезда, стояли Теткин и Манин. Теткин кокетливо обмахивался найденной шляпой. Сплющенное, раздутое в боках огромное солнце сидело уже на самом горизонте. Духота становилась зловещей.

— А может, не пойдём? — сказал Чехардин, светлыми своими, розовыми сейчас глазами глядя на солнце. — И есть-то не хочется. Ну его к черту, этот ужин.

— Не демобилизовывайте масс! — крикнул Теткин. — Пойдем стройными рядами на трехразовое питание.

Его поддержал Скворцов:

— Придется пойти, в порядке дисциплины.

Пошли. Теткин воинственно шагал впереди. В свете заката его лысина блестела, как помидор.

— Товарищи, вы видите перед собой победителя, — сказал Скворцов. — Не далее как вчера наш доблестный Теткин ходил в пойму с прекрасной незнакомкой, имя которой начинается с буквы «Э».

— Откуда ты знаешь?

— Ха! Вы имеете дело со Скворцовым. Моя агентура не дремлет. Я знаю не только о самом факте прогулки, но и о той роковой роли, которую сыграли в ней комары...

— Замолчи ты, пошляк.

— Если бы не комары, — невозмутимо продолжал Скворцов, — напавшие на него и его даму в наиболее ответственный момент, наш Теткин, как честный человек, должен был бы жениться...

Он старался говорить как всегда, но что-то не говорилось ему сегодня, не острилось. Должно быть, духота.

Из столовой пахло застарелым борщом. У входа стояли и бранились толстый повар в колпаке и заведующая товарищ Щукина.

— Бандит ты, а не баба, — говорил повар.

— А я тебя проработаю, — отвечала Щукина.

В офицерском зале никого не было. Пришедшие сели за столик, горячие руки сразу прилипли к клеенке. Скворцов с ужасом обнаружил, что ему не хочется есть. Небывалый случай! Это уже последнее дело. Но тут он услышал женский голос, негромкий, с легким переломом на каждом слове, — и понял, что пришла Лида Ромнич. Он не ждал ее сегодня — их группа работала на дальних площадках, у сухого озера. Лида вошла, поздоровалась, и он сразу полез на седьмое небо, даже есть захотелось. Она села за стол, переставила солонку с места на место, налила себе воды. Все, что она делала, казалось ему необычайно значительным, он следил за ней со вниманием и восторгом, доходящими в своей совокупности даже до какой-то досады. Что-то от него требовалось, но он не знал что. «Ну, посмотри на меня, ну, улыбнись же, ну же», — думал он. Она посмотрела и улыбнулась. Он понес какую-то несусветную чушь, только чтобы она засмеялась. Она засмеялась, но от него все еще что-то требовалось.

Вошел повар, утираясь колпаком.

— Ужинать будем?

— Очень даже будем, — ответил Скворцов.

— Сознательные офицеры в такую погоду не ужинают. Вредно. Мы и то не готовили. Один лапшевник, с обеда не покушали.



- Ну, давайте лапшевник. Пф, духота.
- Не иначе как тридцаточка идет, — сказал повар.
- Что за тридцаточка? — спросил Чехардин.
- Сухой, — пояснил Скворцов.
- Молчи, — перебил его повар. — Никакой не сухой.

Это в России сухой, а здесь тридцаточка.

- А почему так называется? — спросила Лида.

— Примета такая. Дует он и дует, и три дня, и три ночи, а как подует три дня и три ночи, то будет надвое: или перестанет, или будет дуть еще месяц, а в месяце тридцать дней, вот и называют тридцаточка. Очень от нее люди томятся. Вредная очень. А вы ужинать выдумали.

— Ничего не поделаешь, — сказал Скворцов. — Мужчина должен быть свиреп.

Подали лапшевник — он был несъедобен: остывший, склеившийся монолит. Ели только Теткин и Скворцов, Теткин даже две порции. После ужина вышли на улицу — там было не свежее, чем в офицерском зале. По горизонту, вспыхивая и переползая с места на место, бродили огни. Это горела степь. Она горела уже несколько дней: где-то на стрельбах подожгли траву, и теперь пожары кочевали по всей округе, их никто не тушил — горела ведь только трава, это никого не беспокоило, кроме змей и тушканчиков.

- Слышите, пахнет дымом? — спросил Теткин.

Пахло не дымом, а чем-то гораздо похуже. Вскоре они вступили в зону нестерпимого зловония: оказалось, что посреди площади лежит дохлая собака.

- Какое амбре! — восхитился Скворцов.

— Эту собачку еще третьего дня машиной задавило, — радостно сообщил Теткин.

Лида Ромнич вдруг рассердилась, даже ноздри задрожали:

— Что за безобразия! Здесь же люди живут! Почему не убьют собаку?

Теткин захохотал:

— Наша общественница развевалась. У нее это бывает.

— Можете жаловаться, — в нос протянул Чехардин.

— И пожалуюсь.

— Генералу Гиндину, — подсказал Скворцов. — Ему как раз сегодня нечего делать.

— Именно генералу Гиндину! — вскинулась Лида.

— Когда же вы к нему пойдете?

— Сейчас.

— А не поздно? — усомнился Манин.

— Что ты, поздно! — ответил Теткин. — У него, как в министерстве, до поздней ночи работают.

— Пойти мне с вами? — спросил Скворцов.

— Нет, я одна, — сердито ответила Лида.

## 18

В кабинете генерала Гиндина горела лампа с зеленым абажуром, резко выделившая на столе освещенный круг. Углы комнаты тонули в подводной тени. Со стены пристально глядел большой Сталин с тяжелыми усами, в тяжелой раме, критически поджав полумесяцами нижние веки. Генерал в расстегнутом кителе на голое тело сидел за столом и работал. Тикали часы, вентилятор шевелил листки настольного календаря, и жирные черные цифры все время сменяли друг друга, вызывая ощущение неустойчивости времени. Часы тоже тикали неравномерно: то торопились ужасно, то вдруг замедляли ход и становились почти неслышными.

Гиндину было нехорошо. Он уже принял нитроглицерин, но стеснение в груди не проходило, и железная скованность в левом плече — тоже. Он с жалостью посмотрел

на свою жирную седую грудь, заметно вздрагивавшую от толчков сердца, но тут же осадил себя: «Спокойно, Семен, все будет хорошо. Только не распускаться». Пожалуй, разумнее всего было бы пойти домой и лечь, но дома у него, собственно, не было, а мысль о своем номере с люстрой и картиной «Три богатыря» была ему противна. Он продолжал работать, просматривая документы и останавливаясь на местах, отчеркнутых по полю синим карандашом. Эти привычные «боковички» (сигналы опасности!) сегодня тоже казались неприятными, хмурились синими бровями.

Он обрадовался, когда вошел ординарец.

— Товарищ генерал, к вам какая-то гражданка добивается.

— Пусть войдет.

Гиндин встал и застегнул китель.

Вошла Лида Ромнич. Генерал удивился:

— Вы? Как приятно! Чем обязан?

Лида прямо взглянула ему в глаза и сказала:

— На площади лежит собака.

— Что это, стихи? — спросил Гиндин.

— Нет. На площади действительно лежит мертвая собака и... пахнет. Лежит уже третий день, и никто ее не убирает. Я решила обратиться прямо к вам.

— И правильно сделали. Садитесь, пожалуйста. Подождите минуточку, сейчас я приму меры.

Лида опустила в глубокое кожаное кресло, мгновенной прохладой коснувшееся ее локтей. Генерал сел за стол и позвонил. Появился ординарец. Гиндин повертел в руках карандаш и спросил:

— А где у нас может быть сейчас начальник КЭЧ?

— Майор только что прошел к себе, товарищ генерал.

— А ну-ка пригласи его сюда.

— Слушаюсь, товарищ генерал.

Ординарец вышел. Гиндин любезно, наклонив голову, глядел на свою посетительницу.

— Вы не поверите, как я счастлив, что вы зашли ко мне.

— Я зашла... из-за собаки.

— Тогда я счастлив, что умерла эта собака. Иначе я не имел бы удовольствия видеть вас у себя... Но раз уж вы пришли, давайте побеседуем. Может быть, вы в чем-нибудь испытываете нужду? Питание? Помещение? Говорите, я к вашим услугам.

— Нет, спасибо, мне ничего не надо.

— Может быть, хотите переехать в «люкс»? Отдельный номер с видом на пойму. А?

— Нет, спасибо.

— Скажите, а какое вино вы любите?

— Плодоягодное.

— Не шутите, я говорю серьезно.

— В такую погоду — никакое.

— А в прохладную погоду?

— Право, не помню. Это было давно.

— А вы все-таки вспомните.

— Какой вы смешной! Ну, цимлянское.

— Завтра же пошлю самолет за цимлянским.

— Ради Бога, не надо.

— Там, в Москве, была одна женщина, — задумчиво сказал генерал, — я ее любил, а она меня нет, вы представьте себе, она меня не любила. Однажды она обмолвилась — просто так, в разговоре, — что обожает розы. Я послал в Крым один из своих самолетов... На следующий день у ее ног были две корзины роз... И знаете, это был единственный случай, когда я увидел в ее глазах искру нежности... Отчего вы улыбаетесь?

— Слишком много.

— Чего?

— Ног и корзин.

— О, да вы умница. С вами на стандарте не проедешь. Виноват — привычка.

— А где она сейчас, эта женщина?

— В Москве. Мы с нею уже давно не встречались. В прошлом году она вышла на пенсию... Понимаете? Моя любовь — пенсионерка. Это смешно?

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Гиндин.

Вошел офицер с испуганными глазами.

— Товарищ генерал, майор Пряхин по вашему приказанию явился.

— Являются привидения, товарищ майор.

— Виноват. Товарищ генерал, майор Пряхин по вашему приказанию прибыл.

— Так-то лучше. Я хочу познакомить вас с представителем Москвы. Майор Пряхин, начальник КЭЧ. Лидия... Кондратьевна, если не ошибаюсь.

Лида кивнула.

— Здравия желаю, — растерянно сказал Пряхин.

— А ну-ка доложите, товарищ майор, обстановку в гарнизоне по вашему ведомству.

— Все в порядке, товарищ генерал, — настороженно ответил Пряхин.

— А вот представитель Москвы придерживается другого мнения.

Пряхин покосился на Лиду Ромнич и промолчал.

— Известно ли вам, товарищ Пряхин, — продолжал генерал, — что на главной площади нашего населенного пункта третий день лежит дохлая собака?

— Лежит, товарищ генерал.

— Так вот, завтра в этом гарнизоне останется кто-нибудь один из вас: вы или эта собака.

— Понял, товарищ генерал. Разрешите исполнять?

— Действуйте, Пряхин.

Начальник КЭЧ вышел. Лида поднялась со своего кресла и стала прощаться. Генерал Гиндин удержал ее за руку:

— О, подождите совсем немного, побудьте здесь, я так рад, что вы пришли. Неужели нельзя подарить старому человеку немного радости? Ваше присутствие — как свежий утренний ветер... Впрочем, кажется, это опять «ноги и корзины»...

— Меня ждут, — сказала Лида, потихоньку вытягивая руку из большой руки генерала.

— Вас ждут, — повторил Гиндин. — Вас ждут такие же, как вы, молодые, сильные, не боящиеся жары. Какое вам дело до старика с его двумя инфарктами? Слава Богу, он еще годен, чтобы убрать с площади собаку...

Генерал улыбался, но глаза были грустные, больные.

— Вам плохо? — спросила Лида. — Может быть, вызвать врача?

— Нет, я пошутил. Идите к ним, к молодым, идите, прелестная женщина. Идите же...

— Спасибо. Будьте здоровы.

— Не за что. Это вам спасибо. И помните, что бы вам ни понадобилось, какая бы собака ни легла на вашем пути, — обращайтесь прямо ко мне.

Лида вышла на крыльцо. Ожидающие зашевелились.

— Что-то слишком долго, — засмеялся Теткин. — Впрочем, старик.

— Теткин, не говорите пошлостей.

...На площади какие-то люди уже грузили на тачку собачий труп.

— Вот оперативность! — восхитился Манин.

— Ты еще не знаешь Гиндина! — хвастливо сказал Скворцов.

— И все-таки Гиндин тоже не тот рычаг, — как бы про себя заметил Чехардин.

У каменной гостиницы стали прощаться.

— Можно я вас провожу? — спросил Скворцов.

Лида как будто была недовольна, и это его мучило.

— Я же не одна, я с Теткиным.

— А я вам, братцы, мешать не буду, — заявил Теткин. — Тем более у меня свидание назначено, я и забыл.

— С Эльвирой?

— Ага. На восемь часов.

— А сейчас уже девять. Кто же так поступает с дамой?

— Ничего, подождет. Не маленькая.

Теткин побежал вперед, а Скворцов с Лидой медленно пошли по улице, обсаженной тощими деревьями. Скворцов рассказывал:

— С тех пор как посажены эти деревья, здесь сильно упала воспитательная работа. Посудите сами. Раньше деревьев не было, но под них были выкопаны ямы, довольно глубокие. Весной и осенью в них набирается вода. Теперь представьте себе — возвращается человек ночью в состоянии алкогольного опьянения, попадает в яму, а выбраться уже не может. Так и сидит до утра в воде — перевоспитывается...

Лида слушала довольно рассеянно. Она думала про генерала Гиндина: «Какая бы собака ни легла на вашем пути...» Собаки уже нет. А генерал болен, серьезно болен, надо было позвать врача...

Вдруг в мертвой тишине зашевелились, забормотали листья и ударом налетел ветер, горячий, как из духовки. Лида ухватилась за юбку, зажала ее коленями. Волосы у нее взвились и встали дыбом.

— Что это? — задохнулась она.

— Тридцаточка. Повар как в воду глядел.

Горячий ветер дул стремительно, с неистовой силой. Слышалось какое-то потрескивание: это сворачивались от жара опаленные ветром листья. Загрохотал и побежал по асфальту сорванный с крыши лист железа.

— Что ж, идемте, не стоять же здесь до утра, — сказала Лида.

Идти было трудно. Ветер гнал, тащил, выталкивал. Сохли и трескались губы. По земле с шорохом бежали сухие

листья, сломанные ветки. Неподалеку сорвало с места двустворчатую будку и прибило к забору.

— Держитесь за меня, — предложил Скворцов. — Хотите, я вас понесу?

— Нет, не хочу.

Рядом с деревянной гостиницей лежал с корнем вывороченный столб с оборванными проводами.

— Вот вы и дома. Значит, завтра в восемь ноль-ноль я за вами заеду. Испытывать будем сиверсовские игрушки. Предупреждаю, в поле будет тяжело, если ветер останется на том же уровне.

— А при таком ветре испытания не отменяются?

— Здесь они не отменяются ни при какой погоде. Может быть, посидите дома? Это же не ваши изделия.

— Нет, поеду.

— Смотрите. Итак, до завтра.

— До завтра.

Он держал ее за руку. Между ними свистал горячий ветер.

— До завтра.

— До завтра.

Она вошла в свой номер — там было темно, — щелкнула выключателем, свет не зажегся. Лора заворочалась на кровати, вздохнула и стала пить воду громкими глотками. Томка подняла лохматую голову:

— Поздно, Лидочка, поздно. Опять с майором загулялась?

Лида не отвечала.

— Ну как, объяснился?

— Вечно глупости. Слушать тошно.

Над крышей свистело. Дом покряхтывал под гнетом ветра. Лида молча разделась и легла. Простыня была тяжелая, она отбросила ее и лежала, прислушиваясь к торопливому стуку сердца. Какая-то тревога была во всем, и ей казалось, что майор Скворцов все еще держит ее за руку. Она



подула на пальцы, но ощущение не проходило. «До завтра, — повторила она, — до завтра». А что такое «завтра»? Бред.

— Ой, девочки, — жалобно сказала Томка, — я больше совсем не могу этот климат переносить, Бог с ними, с командировочными, жили без телевизора и еще поживем. Правда?

— И я хочу домой, — ответила Лора. — Так мне здесь все надоело, глаза бы не смотрели... По ребятам соскучилась. Бабушка у нас не так, чтобы очень любящая. Тем более Теткин... Пока я надеялась на личную жизнь...

Лора заплакала.

— Не психуй, — прикрикнула Томка, — и так жара, а тут еще твои переживания, совсем сбесишься.

— Тридцаточка, — сказала Лида.

В комнату кто-то вошел. Томка взвизгнула:

— Ай, девчата, кто-то сюда прется!

— Не пугайтесь, девушки, это я, — сказал вошедший голосом Теткина.

— Батюшки, а я без ничего, — закричала Томка.

— А я на вас и не смотрю. Чего я тут не видал?

— Что вам нужно? — строго спросила Лида, натягивая простыню.

— Пожрать, пожрать, — забормотал Теткин и открыл шкаф. — Я помню, здесь у вас что-то было. Не могу жару переносить — просто до ужаса аппетит развивается.

— Теткин, — сказала Лида, — берите на верхней полке хлеб, огурцы и убирайтесь!

— А соль?

— Обойдетесь без соли.

Теткин повздыхал, поскребся, взял что-то из шкафа и ушел.

— А я-то, дура, вся обмерла, как он вошел, — сказала Лора.

Ночью генерала Сиверса разбудил женский плач. Плакали внизу; это походило на ссору, на разрыв. Женщина негодовала, попрекала, жаловалась. Возможно, она была не права, но все же этот плач доходил до сердца. Потом началась ходьба. Кто-то топал, отворял и затворял двери, двигал вещи. Нечего сказать, нашли время! Сиверс в досаде закутал голову простыней, но тут же ее скинул — было очень жарко. По улице проехала машина, лежащие дымящиеся столбы света ударили в окна и скользнули мимо. Машина остановилась у подъезда, кто-то в нее как будто сажился, наружная дверь несколько раз хлопнула. Очень это было долго. В конце концов машина уехала, ходьба прекратилась. Сиверс перевернул подушку сухой стороной кверху, лег на другой бок и попытался заснуть. Как бы не так! Гостиница воевала со сном множеством звуков. На разные голоса свистал ветер. Оконные рамы вздрагивали и дребезжали. Крыша громыкала железом. Казалось, что весь «люкс» со своими багетами и фикусами не стоит на месте, а мчится с ветром в тартарары.

Он повернул выключатель — света не было, зажег спичку и посмотрел на градусник. Тридцать шесть. Попробуй засни.

А главным образом, мешали спать мысли. Во-первых, взрыватель. С этим взрывателем (второй вариант) явно было что-то не так. Пожалуй, стоило все-таки оставить по-старому. Был и еще один возможный вариант, но его надо было обдумывать днем, на свежую голову. Сиверс хорошо знал эти ночи, битком набитые техникой. Ничего путного из них никогда не получалось.

А кроме того, лезли в голову еще и другие, совсем уже праздные мысли, но он им не давал ходу, попросту давил их в себе: о будущем. О своей судьбе, если неизбежность

приключится. Я-то что, а дети, дети... Ну, что поделаешь... Чтобы не думать, он стал развлекаться со своей памятью. Удобная игрушка — всегда под рукой. У генерала Сиверса была необыкновенная память, не память, а анекдот. Все это знали. Он и сам понимал, что чем-то непохож на других людей — чем-то наделен и чем-то обделен. Наделен — ясно чем. А чем обделен? Вот это не совсем ясно.

Возможно, простотой, легкостью. Как они, другие, это умели: забывать и идти вперед! А он не мог. Иногда он ощущал свою память как камень на шее. Но в часы бессонницы она была незаменима: ее можно было включить по произволу и показывать самому себе разные картинки. Вот и сегодня он решил вспомнить день за днем июль двадцать девятого года. Да, именно тот июль. Нелегкая задача, но выполнимая, если не отвлекаться.

Первое июля. Приехал Борис. Были с ним в главной геофизической. Смотрели шаро-пилотные данные. Обедали дома. Марфа Ивановна подала, кажется, гуся. Да, именно гуся, потому что Борис сказал: «Гусь — глупая птица; на одного — много, на двух — мало». Усидели гуся вдвоем. После обеда Борис ушел. Позвонил Лиле. «Александр-Евгеньевич, как хорошо!» Протяжный, изумленный голос, особенно прелестный полным отсутствием буквы «р»: «Как ха-а-шо!» Вечером долго считал, был счастлив. Лег спать поздно, под утренний птичий гвалт.

Второе июля. Поездка с Лилей на острова. Солнце, влажная зелень. Лилино белое платье с зелеными бликами. Голубые глаза в черной оправе. В этот день, кажется, впервые отчетливо подумал: «Жениться». Не то чтобы хотелось жениться, нет, хотелось чего-то большего, неизмеримо другого, но выразить это почему-то можно было только женитьбой. Да, именно грусть была тогда и смиренная мысль: «Ничего не поделаешь, надо жениться». Ей об этом ничего не сказал.

Третье июля. На полигоне. Стреляли. Любимый запах пороха. Кучность ничего. Придумал новый и простой способ вводить поправку на ветер. Сказал Борису. Тот сначала поднял на смех, потом стал прислушиваться. Решили делать планшет. Тот самый планшет — любимое детище молодости. Вернулся поздно. Позвонить — не позвонить? Спит уже. Не позвонил: завтра.

Назавтра позвонил с утра. «Что-нибудь случилось?» — «Ничего, просто захотел услышать ваш голос». — «Ну, как я-ада». Разговор недолгий. Кончил говорить — поцеловал трубку, дурак.

Двенадцатое июля. Сделал предложение. Помог случай. Лиля впервые пригласила к себе — пошел. «Мама, знакомься: Александр-Евгеньевич Сиве-с, мой д-уг». Друг! Чуть не сбежал. Ничего, обошлось. И мама оказалась хорошая: седая, полная, но стройная, благородная, с Лилиными глазами. Пили чай. Смотрел по сторонам: бедно живут. Чувствовал себя виноватым. От смущения острил, долго прощался. Лиля вышла провожать в переднюю. Сказал ей: «Все боялся на вас жениться, пока не увидел Нину Викторовну, а теперь уже не боюсь. Старейте, пожалуйста...» Лиля заплакала.

После двенадцатого июля отвлекся, сбился со счета, осталась Лиля. Сначала далеко, потом ближе, потом совсем близко. Восхищенные, нерассуждающие глаза. Лиля беременная. Лиля кормящая, Лиля отяжелевшая, Лиля седая. Нет, он хорошо сделал, что женился. Ему вынулся счастливый билет: женщина-джентльмен. А главное, никогда не просила его помолчать, воздержаться. Все просили, а она — нет. Счастливый билет. Он мысленно поклонился судьбе за этот билет. Потом все запуталось. Они с Лилей оказались уже не на островах, а на заливе, в яхте, и с ними — все трое сыновей, молодец к молодцу. Лиля была их ровесница, и он тоже — почти их ровесник, но все же это были их сыновья — его и ее. Яхта шла, лавируя против ве-

тра, ежеминутно меняя галс, и на каждом развороте Володя-рулевой кричал: «Головы!» Все пригибались, и над головами, скрипя, перекидывалось с одного борта на другой тяжелое бревно, несущее парус. Яхта ложилась набок и черпала бортом воду. Вода почему-то была горячая. Это и еще тягостное ощущение ежеминутно проносающегося над головой бревна сообщало сну напряженный, неблагоприятный смысл. Сиверс отлично знал, что спит, но, как это бывает, не мог проснуться. К счастью, ему позвонили с работы. Телефон висел тут же, на мачте. Он встал. Бревно ударило его в висок, он умер и проснулся. И точно, звонил телефон. Сердце все еще неприятно билось. Сиверс взял трубку:

— Слушаю.

— Товарищ генерал, докладывает майор Скворцов. Прошу извинения за беспокойство. Я с десятой площадки. Тут у нас все готово. Прикажете начинать или сами подъедете?

— Ах ты черт, проспал. Начинайте без меня. Только второго образца не трогайте. Сам приеду.

— Есть, товарищ генерал!

Трубка звякнула. Сиверс оделся и подошел к окну. У подъезда ждала машина. Воздух был мутен от несущейся пыли. Высаженные вдоль улицы тонкие деревья, низко наклоненные друг за другом, сучили голыми, обглоданными ветками. Одно дерево лежало с вывернутыми корнями. Откуда-то примчался газетный лист, прильнул на мгновение к подошве дерева и побежал дальше, разорванный надвое. Какая-то крупная птица, махая крыльями, тщетно силилась лететь против ветра, но двигалась в обратную сторону, хвостом вперед.

Сиверс взял со стола фуражку. Под ней оказалась телеграмма. Он распечатал ее и прочел: «Положение не угрожающее подробности письмом». Что за чертовщина? Он внимательно исследовал телеграмму: из Ленинграда, от-

правлена вчера, в 10.00. Конечно, Лилька. Кто же еще способен на такую глупость? Чтобы не поддаваться страху, он рассердился. Вот бестолковая баба! «Подробности письмом!» Как была смолоду дурехой — так и осталась. Придется съездить на почту, позвонить. Он еще раз перечел телеграмму, сунул ее в карман и спустился по лестнице. Отвратительно скрипучие ступени. Внизу стояла дежурная Зина. Увидев его, она сразу в голос заплакала, как это делают в театре: «явление пятое».

— Что такое? — спросил Сиверс.

— С Семеном Миронычем инфаркт. Ночью в госпиталь увезли.

— Час от часу не легче!

— Я и говорю. Все от ветра от этого. Хулиганство: дует как из печки. Я молодая, здоровая, и все равно томно. А Семен Мироныч — сами знаете какой: тучный да слабый...

Зина вновь зарыдала с театральными эффектами.

— Извиняюсь, товарищ генерал. У меня натура впечатлительная и переживающая.

— А где Мирон Ильич? — нетерпеливо спросил Сиверс.

— Там, в больнице. До чего же он сына любит, просто роман. Нет, он Семена Мироныча не переживет. Прямо за ним в могилу.

— Да что вы Семена Мироновича заживо хороните? Он же еще не умер.

— Помрет, как дважды два. С третьего инфаркта еще никто не жил. Вот у меня собственный дядя...

Сиверс не дослушал. Зина продолжала рассказывать, обращаясь в пространство:

— Врачей четыре комиссии...

Дверь в номер Гиндина стояла открытая. Он заглянул туда. Ада Трофимовна, гладко причесанная, убирала комнату, сухо стучая щеткой. Сиверс поклонился ей — она отвернулась.

Он вышел. Дверь подъезда вырвалась у него из рук и замоталась, ударяя ручкой в стену. Ветер был все такой же горячий. В машине спал шофер, положив голову на баранку. Сиверс открыл дверцу, шофер проснулся и поднял лицо — щетинистое и умученное, со вмятиной на подбородке.

— Извиняюсь, товарищ генерал. На десятую?

— Сперва в госпиталь, потом в Лихаревку, на почту, потом на десятую.

Гарнизонный госпиталь размещался на окраине городка в нескольких деревянных бараках с толевыми крышами; на некоторых крыши уже подались, вздулись и похлопывали на ветру. Офицерский барак был на вид неприглядней других, опрятно покрашенный розовой краской. На крыше у него визжал и мучился флюгер.

Сиверс вошел. Потный врач в коротком бабьем халате и синих военных брюках вытянулся, руки по швам:

— Здравия желаю, товарищ генерал.

— Как Семен Миронович?

— Некротический участок передней стенки миокарда... — начал врач.

— Жив? — грубовато перебил Сиверс.

— Так точно. Сейчас непосредственной опасности нет. Ввели кардиамин, камфору, строфантин с глюкозой внутривенно...

— Увольте, батенька, я по-вашему не разумею. Он в сознании?

— Так точно.

— Видеть его можно?

— Сейчас узнаю.

Врач скрылся за белой, матово застекленной дверью и почти сразу появился опять:

— Генерал вас просит. Но должен предупредить: разговоры, переживания — все это противопоказано.

— Понял вас.

Посреди палаты стояла одна кровать, с высоким кислородным баллоном у изголовья. Гиндин лежал на спине, до пояса накрытый простыней, мучительно утонув плечами и затылком в груде высоко взбитых подушек. Выпуклый живот, четко обрисованный простыней, чуть заметно поднимался и опускался. Лицо Гиндина трудно было узнать: до того уменьшились в размерах и значительности все его черты. Лежал другой человек. Что-то даже детское прорезалось в этом лице — взгляд. «Не жилец», — подумал Сиверс. Гиндин с усилием приподнял бледную, очень чистую стариковскую руку и указал на стул в ногах кровати. Сиверс сел.

— Что ж это вы, Семен Миронович, не вовремя хворать задумали?

— Виноват, — ответил Гиндин слабым свистящим, но бодрым голосом.

«Жилец», — с облегчением подумал Сиверс, а вслух сказал:

— Молчите-молчите, вам вредно говорить.

— Нет, это вам вредно говорить, но по другой причине.

— О чем это вы?

— Да о вашем выступлении третьего дня. Забыли?

— Ахти! Вам уже донесли?

— А как же. Поступил сигнал.

— Так я же там ничего особенного не сказал. Ну так, самую малость.

— А ну-ка по тезисам.

— Что, бишь, я там говорил? Ну, сказал, что приоритет русской науки во всех без исключения областях никакими разумными доводами не может быть обоснован и должен рассматриваться как акт веры — *auto da fe*.

— А еще?

— Ну, сделал небольшое отступление в область истории...



— Вот-вот. За такие отступления...

— Понимаю. Учту. Грешный человек, люблю потрепать языком. Нет-нет да и сморозишь какую-нибудь жеребятину. Ну да ничего авось. Бог не выдаст, свинья не съест.

— Съест и не поперхнетя.

— Предсказывать тут нельзя. Это, знаете, вне логики — мистика, вещь в себе. Важней всего бодрость совести в любых обстоятельствах. Знаете, был у меня приятель, Гоша Марков. Посадили его еще до войны. Что делать? Сел. Без семьи, холостой — отчего не сесть? Они ему: «Подпиши». — «Помилуйте, — говорит, — как же я подпишу, коли это неправда? Меня маменька еще в детстве учила не врать, и крепко выучила. Рад бы, а не могу». А сам смеется. Даже полюбили они его там, на допросах, бывают же парадоксы! А в зубы его ткнули раза два, не больше. И, представьте себе, дали ему всего восемь лет. Это — по-человечески. Я вот тоже надеюсь.

— Дай вам Бог, — улыбнулся Гиндин.

— Главное, чтобы не подписать. Ну, я, пожалуй, пойду, вам покой нужен.

— Пойдите. Я что-то хотел вам сказать. Именно вам. Забыл. Нет, вспомнил. Завидую вам. Хорошей завистью. Вашим трем сыновьям. У меня дочери. Не тот товар.

— Вам нельзя разговаривать, Семен Миронович.

— Мне уже все можно. Даже коньяк. Помните «мартель»? Я рад, что пил с вами «мартель».

— И я рад.

— Теперь идите. Буду спать.

Гиндин закрыл глаза. Сиверс прикоснулся к его руке и вышел. В коридоре врача не было. Сиверс заглянул в кабинет. На топчане, закрыв лицо руками, сидел и раскачивался папа Гиндин. Он плакал и что-то говорил себе в руки.

— Мирон Ильич, — негромко сказал Сиверс. Старик протестующе замотался всем телом.

— Мирон Ильич, будем надеяться...

Папа Гиндин заплакал в голос, и Сиверс узнал тот негодующий женский плач, который разбудил его нынче ночью. Он постоял немного и вышел.

Ветер встретил его в штыки. Полный мусора, он нес теперь уже и небольшие камешки. По кузову машины стучало, как будто шел град. Шофер ухитрился опять заснуть. Сиверс открыл дверцу и сел с ним рядом. Шофер испуганно проснулся.

— Ничего-ничего, — сказал Сиверс, — прошу прощения, что разбудил. Сам, грешным делом, люблю поспать в рабочее время. Особенно на ученых советах. Золотой сон!

— Виноват, товарищ генерал!

— А вы не стесняйтесь. Так вот, я говорю, спать на ученом совете — самое милое дело! Только не надо распускаться: носом клевать, изо рта пузыри пускать и так далее. Есть у нас один офицер, Лихачев Андрей Михайлович. До чего же ловко спит! Картинка! Сидит прямо, четко, по струночке, глаз за очками не видно, ни храпу, ни свисту... А другой — развалится, размякнет да еще носом высвистывает...

Шофер обиделся:

— Не поспишь ночью — будешь высвистывать! Я вот сегодня часу не поспал. Только вернулся с ездки, лег — вызывают. Генерала Гиндина в госпиталь везти. Свез. Чем отдохнуть — за кислородом гоняли, двести километров туда-обратно. Темень, пылища — ничего не видеть. Хуже как буран. Назад ехал — заблукал в степи. А тут еще сменщик заболел. Будешь высвистывать.

— Да я не про вас совсем, к слову пришлось. Простите великодушно.

Шофер совсем помрачнел.

— На почту?

— Пожалуйста.

Машина тронулась. Град камешков барабанил по кузову. В Лихаревке вся пыль поднялась в воздух — не было видно неба. Дорожные колдобины обнажились. Машина страдальчески подсакивала и дребезжала.

— Старая небось? — спросил Сиверс.

— Да нет, какая старая, сорок тысяч всего. Здесь машина, как и баба, рано старится. Вот и жинка моя, как придумой — плакать: загубил ты мою молодость, через климат я старухой стала в двадцать семь лет. Говорю: что делать, если запчастей для женщин промышленность не выпускает. Смеюсь, а она плачет. Как три сестры: в Москву да в Москву.

Сиверс был рад, что шофер сменил гнев на милость. Он спросил:

— А жена москвичка?

— Урожденная. Теперь локти кусает. Мать у нее в Москве, тетка. Квартира приличная, дом к сносу назначен. Жить бы да жить.

— А нельзя?

— Какое там. Прописки нет. За прописку, говорят, большие тысячи заплатить надо. У меня больших тысяч нет. А если б и были, так надо знать, кому сунуть. На это тоже наука нужна.

— Ерунда какая, — сказал Сиверс с отвращением.

— Вот и я говорю: ерунда, — быстро согласился шофер. — Не может быть, чтобы при нашем государственном строе за взятку прописывали. Это не гоголевское время. Вот на работу возьмут — тогда и пропишут. К примеру, вашей московской организации шоферы нужны?

— Я ленинградец.

— Ленинград тоже не плохой город. Город-герой.

Машина вильнула, обходя в пыли какое-то препятствие.

— Видите, — сказал шофер, — какое у нас тут кораблевождение. В таких условиях жить — огромное терпение иметь надо. Что летом, что зимой. Зимой еще хуже. Степь

голая, ровно как плешь, и ветер по ней так и хлещет. Не разберешь, где дорога, где нет — один черт. А осенью? Грязища — океан. Лошадь дважды потонула, честное пионерское. Я один раз в Германии был, в самом конце войны. Ихняя там деревня против нашей — рай земной и небесный. Ни одной помоечки, ни одной мусорной кучи. Иду и думаю: «Куда же они, песьи дети, свой мусор девают?» Экие болваны! А мы же их и побили.

Сиверс вдруг спросил с любопытством:

— А если б их сюда, в Лихаревку? Что бы они тут сделали?

Шофер задумался. Помолчав, сказал:

— Немцы — они аккуратные люди. Если б их сюда... Они бы отсюда... убежали.

— Так-таки и убежать, если грязно? — спросил Сиверс.

Шофер поглядел искоса. Кто его знает, что за человек?

Некая тупость отобразилась на его лице.

— Не могу знать, — сказал он и до конца поездки рта уже не раскрыл.

Машина подъехала к почте. Сиверс вышел, держась за фуражку. Молодая почтальонша с веселыми, обведенными пылью глазами выходила на улицу с тяжелой сумкой через плечо. Она помахала ему рукой:

— Товарищ генерал Сиверс! А вам опять телеграмма! Ну, любят же вас в Ленинграде, прямо завидки берут!

Сиверс расписался в рвущейся на ветру разносной книге и прочел телеграмму: «Звягинцев советует немедленно возвращаться тчк целую Лиля».

Уф, отлегло. Значит, дело не в детях. Он сличил две телеграммы — утреннюю и эту, — вторая отправлена на час раньше первой. Видно, Лилька послала эту, потом побоялась, что буду беспокоиться, и приписала: «положение не угрожающее». Вот глупая баба! От таких приписок кондрашка может хватить. Но в чем все-таки дело? А, неважно. Главное, с детьми ничего не случилось — это главное.

Он вошел в здание почты и обратился в окошко, за которым стучал аппарат:

— Пожалуйста, срочный разговор с Ленинградом.

Высунулась патлатая девушка и прокричала:

— Сколько раз говорить надо! Москву, Ленинград не соединяем. Повреждение на линии.

## 20

— Внимание... Огонь!

Секунда тишины — и нарастающий свист, постепенно переходящий в шелковый шелест.

Снаряд пролетел мимо цели и упал далеко в степи. На месте взрыва выросло пылевое облако, быстро сдутое в сторону ветром.

— Опять мимо! Вот парализтики! — крикнул майор Скворцов. — Теткин, черт тебя подери, руки у тебя или задние конечности шимпанзе?

— А я виноват? — огрызнулся Теткин. — Я по всем правилам наводил. Согласно теории.

— А как ты, великий теоретик, вводил поправку на ветер?

— Ясно как — по Сиверсу.

— Может, в обратную сторону отложил?

Теткин негодуяще фыркнул.

— Такой ветер учесть нельзя, — вмешался Джапаридзе. — Он ни в какие правила стрельбы не укладывается.

— Сказал бы я тебе, кто ты такой, да при дамах неудобно.

Дамы — Лора Сундукова и Лида Ромнич — сидели тут же на снарядных ящиках. Лора с фотоаппаратом через плечо и штативом у ноги воевала со своим платьем, которое все норовило раздуться. Лида Ромнич была в брюках.

Она сидела спокойно, сложив ладони между колен и слегка согнув длинные, мальчишеские ноги.

— Сраму-то! — продолжал Скворцов. — Приедет генерал Сиверс: «А ну-ка, братцы, что вы тут без меня сделали?» — «По тушканчикам стреляли, товарищ генерал». Нет, хватит. Следующий раз навожу сам. Тоже мне специалисты, интеллигенты занюханые.

Лида Ромнич медленно поглядела на него и опустила глаза. «Эх, сфальшивил», — подумал Скворцов. Впрочем, не беда. Впереди еще целых четыре дня, он еще исправится. Сейчас для него всего важнее было попасть в самую точку. Навести и попасть. Он попадет. Он всегда верил в свою удачу, и она его, в общем-то, не подводила.

— Готовить следующий, — приказал он.

Горячий ветер дул порывами, сохраняя направление, но меняя скорость. Под ветром бурьян в степи весь полег, прижавшись к земле, еле шевеля иссохшими пальчиками. Сквозь мутную мглу наверху солнце проклевывалось, как воспаленный, нехороший глаз. Невдалеке от стрельбовой площадки сидел на земле самолет-мишень, тупорылый и обреченный, черными крестами размеченный на убой. От ветра он был закреплен на расчалках. Расчалки натягивались и звенели, самолет рвался, как животное на цепи. Солдаты готовили очередной выстрел под наблюдением ведущего инженера — тощего верзилы с медным равнодушным лицом.

— Готово, товарищ майор, — доложил ведущий. — Сам наводить будете или как?

— Сам, — ответил Скворцов. — Тряхнем стариной.

Ну, теперь держись. Он посмотрел в окуляр прицельной трубки. В поле зрения отчетливо был виден перевернутый самолет с небом внизу, черный крест на борту фюзеляжа и паутинное перекрестие оптики. Надо попасть в черный крест, прямо в сердцевину черного креста. Взять поправку на ветер. Ветер по метео — тринадцать-пятнадц-

цать метров в секунду. Он прикинул поправку в уме и стал осторожно перемещать перекрестье, попеременно вращая рукоятки горизонтальной и вертикальной наводки. Кажется, навел.

— Внимание... Огонь!

Опять нарастающий свист и шелковый шелест. Потом тупой удар. Снаряд попал в самолет. Взрыва не было.

— Тьфу ты, пропасть, взрыватель отказал! — крикнул Скворцов.

— Куда ж ты угодил, босяк? — спросил Теткин.

Скворцов взял бинокль. В районе черного креста пробоины не было. Куда же, черт возьми, делся снаряд?

— А вот он! — крикнула Лора.

На самом деле, у корня правой плоскости, в зоне топливных баков, торчал снаряд — маленький и черный, крестообразным хвостом наружу.

— Снайперская стрельба, — захохотал Теткин.

— А ну тебя, — отмахнулся Скворцов. Он внимательно взгляделся в точку попадания. Над ней потихоньку поднималось синее курящееся облачко.

— Горит, что ли? — спросил Теткин.

— А кто его знает. Кажется, горит.

— Отчего ему гореть, когда взрыва не было? — спросил Джапаридзе.

— При ударе иногда загорается.

— Не видал.

— Ты, брат, много чего не видал. Молодо-зелено, толсто-бело, — сказал Теткин.

Джапаридзе, сильно похудевший и загоревший за последнее время, обиделся и замолчал.

Скворцов смотрел в бинокль. Облачко разрасталось. У его корня полыхнул крохотный оранжевый язычок.

— Похоже на пожар.

— Угораздило же тебя, — попрекнул Теткин. — В самые баки! Туда надо было в последнюю очередь.

— Благодарю за ценное указание.

Скворцов злился.

— А горючее в баках есть?

— Остатки. Опасно не горючее, а пары. При такой температуре...

— Да, разнесет всю плоскость к чертовой матери. Эх, жалко. Другой мишени-то не дадут.

— Не нуди.

Скворцов был огорчен и раздосадован. Он не привык к неудачам, а тут еще...

— Что же, рванет он в конце концов или не рванет? — нетерпеливо спросил Теткин.

— Только на нервы действует, — пожаловалась Лора.

Ведущий спокойно выбрал себе ящик, сел и закурил, искусно заслонив ладонями огонь.

Скворцов глядел в бинокль. Облачко рассеивалось и вскоре совсем исчезло. Снаряд торчал из обшивки, на вид совершенно безвредный. Огня не было видно.

— Пожар как будто самоликвидировался, — сказал Скворцов. — Все-таки еще немного подождать придется.

Прошло минут десять. Все смотрели на самолет как на кормильца. Он не подавал никаких признаков чего бы то ни было.

— Ну что же, товарищи, — сказала Лида Ромнич. — Надо принимать какое-то решение.

— Давайте ударим еще разок по фюзеляжу, — лихо предложил Теткин. — Я на этот раз наведу — пальчики оближете. У меня сформировалась новая теория.

— А обмер повреждений? — обиженно спросил Джапаридзе. — Как хотите, лично я обмерять не пойду. Снаряд в каждый момент может взорваться. Большое спасибо.

— Пойду извлеку его и обезврежу, — сказал Скворцов.

— Извлеки сначала себе голову, — сердито ответил Теткин.

— Пустяки. При точной работе — никакого риска. Я с каждым снарядом на «ты».



— Не советую, — сказал Джапаридзе. — Ничем не оправданное нарушение правил безопасности. Правильно я говорю, товарищ Мешков?

— Со своей стороны, санкционировать не могу, — ответил ведущий, — а впрочем, дело ваше. — Ему было все равно.

— Что же нам, по правилам безопасности, спать ложиться? — возмутился Теткин.

— Дело ваше, а то можно и по домам.

Теткин плюнул. Скворцов поправил фуражку, закрепил под подбородком ремень, бросил папиросу, взял ломик и зашагал в сторону самолета.

— Пашка, ты сдурел? — завопил Теткин.

Лбра охнула и схватила за руку Лиду Ромнич.

— Сумасшедший, чего он делает? Останови, у тебя на него влияние.

— Павел Сергеевич...

Скворцов шел к самолету прямо и четко, держа перед собой ломик, как маршальский жезл. Лида следила за ним, сжав губы и руки. Он все шел. До самолета было не так далеко, а он все шел. «Что ж это такое? — думала она. — Что ж это такое?» Она укусила свой палец у самого ногтя, не чувствуя боли. В эту минуту Теткин захотел, хлопнул себя по колену и ринулся вслед за Скворцовым:

— Пашка! погоди! Я с тобой!

Лора вскрикнула. Скворцов шел не оборачиваясь. Теткин вприпрыжку догонял его и что-то кричал, размахивая руками. Они почти поравнялись с самолетом, когда произошел взрыв.

Сверкнуло пламя, и сразу же место, где стоял самолет, заволокло дымом и пылью. Из черного облака неправдоподобно медленно поднимались рваные лоскутья обшивки и столь же медленно падали. Лора закричала заячьим криком. Все побежали в ту сторону. В дыму появилась чело-

веческая фигура. Она медленно, как бы колеблясь, задвигалась и стала на колени.

— Кóлюшка! — кричала Лора. — Кóлюшка мой!

Лида бежала впереди всех. Упругая степь словно подкидывала ее ноги. В горле было горько и горячо. Дым рассеивался. Стало видно самолет — он горел горизонтальными струящимися языками. На земле лежала одна фигура, возле нее на коленях стояла другая. Лежал Теткин, стоял Скворцов. Лида остановилась, дрожа от прерванного бега. Теткин лежал навзничь, с закрытыми глазами. На голубой рубашке сбоку растекалось красное страшное пятно.

— Ранен, — сказала Лида. — Серьезно?

— Не знаю, — отвечал Скворцов, повернув к ней чужое, испачканное землей лицо. — Я же его не звал.

— Вы-то целы ли?

— Вполне.

Подбежала Лора. Она упала на землю рядом с Теткиным.

— Колюшка, — кричала она. — Колюшка!

Тут Теткин открыл один глаз и сказал:

— Колюшка — это не человек, а рыба.

— Жив, дорогой мой, жив! — запричитала Лора.

Теткин закрыл глаз.

— Ну, хватит, — сказала Лида. — Надо его осмотреть. Давайте сюда нож.

Скворцов подал ей перочинный ножик. Она разрежала голубую рубашку Теткина сверху донизу. Шелк резался с противным скрипом. Теткин снова открыл один глаз, сказал: «Паразиты, моя лучшая тенниска» — и опять закрыл. Лида осмотрела рану. Небольшое отверстие под ребром — наверно, осколок снаряда. Крови много. Она вытирала ее косынкой, может быть, не надо было, но она вытирала, косынка намокла, пальцы склеились.

— Немедленно госпитализировать! — кричал Джапаридзе.

Ведущий инженер Мешков стоял тут же, руки в карманах комбинезона, с медным равнодушным лицом.

— А вы чего стоите? — закричала на него Лида. — Есть у вас, черт возьми, походная аптечка?

— Есть.

— Так давайте ее сюда, да поживее!

Мешков затрусил за аптечкой. Кровь все текла. Принесли аптечку. Лида зубами распечатала бинт и сделала перевязку. Лора помогала ей и все приговаривала:

— Осторожней, ему же больно.

Теткина понесли к машине. Перепуганный Тюменцев помог устроить раненого на заднем сиденье. Ноги не укладывались.

— И я с ним, и я! — кричала Лора.

Голову Теткина положили к ней на колени.

— Колюшка, Колюшка, — повторяла она.

Теткин открыл на этот раз оба глаза и сказал ей:

— Не ори, дура. В чем дело? Ну, женюсь я на тебе, женюсь обязательно.

Лида с аптечкой в руках села рядом с Тюменцевым. Машина тронулась и скоро скрылась из виду.

— Я же предупреждал: не надо рисковать, — сказал Джапаридзе.

— Молчи, убью, — ответил Скворцов.

Ведущий пошел к телефону сообщать начальству о ЧП — чрезвычайном происшествии.

Скворцов вспомнил, как девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года, будучи дежурным по части, он щегольски докладывал начальнику: «Товарищ генерал, за время моего дежурства случилось чрезвычайное происшествие: победоносно закончилась Великая Отечественная война». И как просто седой генерал, подавая ему руку, ответил: «Здравствуйте».

Дорастет ли он когда-нибудь до простоты? Или так и умрет старым щеголем?

Самолет горел на ветру рьяно и радостно. Куски пылающего металла отрывались от него и летели в степь. Красота огня, бегущая красота огня. Скворцов смотрел на любимый огонь и чувствовал себя пустым, виноватым, брошенным судьбой. Он сбивчиво думал: «Был бы жив. Ничего мне не надо. Был бы жив. Чтобы нашел шляпу и хохотал уже до вечера».

— Кто-то сюда едет! — крикнул Джапаридзе.

По дороге двигалось пыльное облако — шла серая легковая машина.

— Достанется тебе по первое число.

Скворцов молчал.

Машина подошла к площадке. Из нее вышел генерал Сиверс. Скворцов подошел к нему, взяв под козырек:

— Товарищ генерал, докладываю обстановку. Испытания начались в девять ноль-ноль местного времени. Израсходовано шесть снарядов первого образца. Пять выстрелов оказались незачетными, так как попадания в мишень получить не удалось. Последний, шестой выстрел дал попадание. Стрельба производилась по фюзеляжу, но, из-за неудачно взятой поправки на ветер, попадание произошло в район баков. Взрыватель не сработал. Видимых признаков пожара не было. Чтобы сохранить ценную мишень, принял решение извлечь и обезвредить снаряд. Попытка не удалась. Произошел самопроизвольный взрыв, по-видимому в результате нагревания. Самолет воспламенился. При взрыве ранен старший научный сотрудник Теткин. Отправлен в госпиталь машиной. Доложил майор Скворцов.

Генерал Сиверс посмотрел на догорающий самолет и сказал:

— Вот за...цы.

Первое августа. Последний день командировки. Вылет в девять тридцать Москвы.

Майор Скворцов кончил укладывать вещи. Нехитрое дело: бритвенный прибор, эспандер, трусы, две колоды карт, одеколон, мыло — вот и все. Главное, ничего лишнего. Чемодан маленький, как портфель.

Не забыть побриться перед отъездом. Он позвонил на метео:

- Как у вас с погодой?
- Нормально. Пять-семь метров в секунду.
- Полеты разрешены?
- Так точно.

Значит, летим. Все в порядке. Времени вагон.

...В самолете будет холодно, я накрою ее и себя чехлом от мотора и будем сидеть плечом к плечу до самой Москвы. А дальше? Там видно будет.

Скворцов начал бриться. Он, не торопясь, взбил мыльную пену в тазике (он любил, чтобы много пены), намылился, взял бритву и провел по щеке. В дверь постучали.

— Войдите.

Вошла Лида Ромнич. Он вздрогнул и порезался.

— Вы? — сказал он, опуская бритву.

Она молча глядела на него. Какой же он странный — с пеной до самых глаз. А глаза — серьезные, в лохмах ресниц. Красивые. По пене — извилистая красная дорожка.

— Вы, кажется, порезались.

— Это ничего. Простите.

Он взял вафельное полотенце, вытер лицо, так и стоял, с полотенцем в руках.

— Павел Сергеевич, дело в том... Я сегодня не лечу. Прислали продление командировки. Сейчас еду в поле. Пришла попрощаться.

Он стоял, постепенно бледнея, и вдруг сказал:

— Любимая, что же нам-то с вами делать, а?

— А ничего, — быстро ответила Лида. — Ничего нам с вами делать не надо.

— Верно, — сказал Скворцов. — Делать нам с вами, пожалуй, нечего.

— Ну, вот. Мне сейчас пора ехать, и я вас больше не увижу, так давайте попрощаемся.

Он взял ее за руку и посмотрел в глаза.

— Нечего, нечего, — сказала она. — Нечего вам на меня смотреть.

— Ну, будьте здоровы.

— И вы.

Лида сбежала с лестницы, села в газик и хлопнула дверцей:

— На десятую, пожалуйста.

— А товарищ майор? — спросил Тюменцев.

— Он не едет. Он сегодня в Москву улетает.

— Как же так? А я не знал.

Тюменцев даже побледнел под своим пухом и повторил:

— Как же так?

— А вот так. Поедемте.

Тюменцев медлил, что-то искал у себя под ногами и вдруг спросил:

— А вы не имеете против, если я зайду с товарищем майором попрощаться?

— Пожалуйста. Я подожду.

Тюменцев постучался в номер.

— Войдите.

Майор Скворцов стоял с полотенцем в руках.

— А, это ты, Игорь. Так ведь еще рано. Через полчаса поедем.

— Товарищ майор, меня на десятую разнарядили. Вас, наверно, Букин повезет.

— А ты что?

— Проститься зашел. Извиняюсь, товарищ майор.

— Да, да. Проститься. Очень хорошо, что зашел. Садись, Игорь.

— Некогда, товарищ майор.

— Постой. Папиросы возьми.

— А как же вы, товарищ майор?

— Обойдусь. Бери, бери.

Тюменцев взял папиросы.

— Будешь в Москве — заходи, звони. Вот тебе адрес, телефон.

Тюменцев бережно сложил бумажку и сунул ее за борт пилотки.

— Разрешите идти, товарищ майор?

— Иди. Всего тебе. Будь здоров. Руку давай.

Они попрощались за руку. Тюменцев вышел.

По дороге на десятую площадку он был молчалив. Нет, не так хотел бы он попрощаться с майором. А как? Он и сам не знал. Он вел машину и придумывал варианты. Вот как он должен был сказать: «Товарищ майор, вы такой человек, прямо редкий человек. Если бы все люди у нас были такие, можно было бы строить коммунизм». А майор ответил бы: «Спасибо, Игорь. И я тебя полюбил. Хотел бы я иметь такого сына. Желаю тебе больших успехов в учебе и личной жизни». Нет, так бы майор не сказал. Он бы сказал по-другому...

И всю дорогу Тюменцев маялся, придумывая свой разговор с майором Скворцовым, но так и не придумал.

А Лида Ромнич смотрела в степь: она лежала кругом, истерзанная огнем и солнцем, расстрелянная, замученная, потерявшая облик земли.

Ефрейтор Букин довез его до аэродрома. Скворцов вышел из машины и присоединился к группе ожидающих. В центре ее стоял генерал Сиверс, а перед ним, навытяжку, — полненький капитан с красными ушами.

— Паа-слуш-те, капитан, — говорил Сиверс врасстяжку, с каким-то даже гвардейским акцентом, — вы знаете, ка-

кая разница между мужчиной и женщиной?

Капитан, на мгновение озадаченный, что-то сообразил и расплылся:

— Знаю, товарищ генерал.

— Да нет, что за пошлость. Кроме той элементарной разницы, о которой вы сейчас подумали, есть еще одна, более существенная, Знаете вы ее?

— Никак нет, товарищ генерал.

— Так знайте. Разница в том, что мужчина застегивается слева направо, а женщина — справа налево. Теперь поглядите на себя и наглядно убедитесь, что вы — женщина.

Капитан уставился на свой двубортный китель, растерянно пошевеливая то правой рукой, то левой.

— Экой вы бестолковый, — сказал Сиверс и перестегнул ему китель на другую сторону. — Советую заучить, где правая сторона, а где левая. Поняли?

— Понял, товарищ генерал.

— И больше никогда так не застегивайтесь. Вы же называетесь: офицер. Уважение к форме — часть воинской доблести. Вам когда-нибудь говорили о русской воинской доблести?

Капитан оживился:

— Мы — наследники Суворова...

— Ясно. Идите и больше не грешите. Прощаю вас, наследник Суворова.

Капитан отошел. Началась посадка в самолет — на этот раз он был полупассажирский, отапливаемый, с четырьмя мягкими креслами в передней части салона. Сиверс немедленно сел в кресло. Скворцов остановился рядом.

— Здравия желаю, товарищ генерал. Разрешите сесть?

— Пожалуйста, буду рад. А, это вы, майор Скворцов, лихой стрелок по самолетам? Здравия желаю. Протоиерей энского собора благодарит причт за brave и хватское исполнение обязанностей.

Скворцов сел.



— Ну как ваш раненый? — спросил Сиверс.  
— Поправляется. Через неделю обещают выписать.  
— Это вам посчастливилось. Могло быть хуже.  
— Слава Богу, обошлось. Даже в некотором роде все к лучшему. Лору Сундукову знаете? Сразу после госпиталя хотят расписаться.

— Это такая толстенькая?

— Да, она.

— Хорошая женщина. А знаете, о чем я сейчас думал? Вспоминал Державина. Помните оду Державина на смерть Суворова?

— Не помню.

— Надо помнить. Ода называется «Снегирь».

Что ты заводишь песню военну,  
Флейте подобну, милый снегирь?

И дальше:

Сильный где, быстрый, смелый Суворов?  
Северны громы в гробе лежат!

Отличные стихи. Какова аллитерация: «Северны громы в гробе лежат!» Тухачевского вот тоже нет. А какой был полководец!

Скворцов смутился, не зная, что отвечать.

Самолет взревел, двинулся по летной дорожке, некоторое время мягко подпрыгивал, потом оторвался от земли и полетел.

Сиверс сидел с закрытыми глазами. Два других кресла оставались свободными. На боковых сиденьях разместились попутчики-офицеры — кругленький капитан, наследник Суворова, вероятно москвич (для здешнего полноват), и два других, без сомнения здешних, — оба коричневые,

высушенные, с резкими белыми морщинами у глаз. Один постарше, угрюмоватый майор, а другой лейтенант, с белой улыбкой. Он никого из них не знал. Ну, и хорошо, что не знал. Хорошо, что один.

Скворцов взял газету, но ему не читалось. Моторы гудели, самолет подныривал и выравнивался, каждый раз чуть меняя тембр рева. За окнами была какая-то облачная чушь — смотреть не на что. Он опустил газету и стал думать. Мысли были очень длинные — каждая в час длинной.

Например, он думал об Игоре Тюменцеве, видел его лицо сзади вполоборота, когда он сидит за рулем: пушистую щеку и умный голубой глаз с девчачьими ресницами. Эх, нескладно получилось... Парень пришел попрощаться. Надо было поговорить, порасспросить... Он жалел, что так вышло, а главное, эта жалость длилась. Обычно он не думал много над своими промахами. Он как-то убежден был, что жизнь бесконечна и каждая ошибка исправима. А сегодня понял, и даже не понял, а кожей почувствовал, что жизнь конечна, очень даже конечна, и в ней всякое лыко в строку. Незаданный вопрос. Несказанное слово. Или сказанное, но не то.

Потом он стал думать про Теткина, который, слава Богу, уже поправляется, а если бы погиб, то это была бы вина — ух, какая вина! И что, в сущности, результат для оценки вины не так уж важен — вина есть вина, и никуда не денешься. По смежности с Теткиным он вспомнил генерала Гиндина, лежавшего в том же госпитале, и от души пожелал ему здоровья и долгой жизни. Он еще не знал, что генерал Гиндин сегодня умер, и в Лихаревке сейчас только и разговоров, что об этой смерти.

И, конечно, больше всего он думал о Лиде Ромнич. Даже не думал, а просто представлял себе, как она стоит там одна на своих длинных ногах, становясь с каждой минутой все дальше и дальше, все меньше и меньше...

— Товарищ майор, вы не спите? — тихонько спросил голос.

Скворцов вздрогнул и открыл глаза. Над ним стоял круглолицый и красноухий, правильно застегнутый капитан.

— Мы тут пульку сообразили, просим вас четвертым, — шепотом сказал он, покосился на спящего генерала и плутовски прикрыл один глаз.

— Отчего же, всегда готов.

Скворцов встал, отряхивая с себя мысли. Он подошел к откидному столику, где уже тасовали карты два коричневых офицера, которых он в Лихаревке признал «здешними». Впрочем, сейчас уже было ближе до Москвы, чем до Лихаревки. В Москве они сразу станут «нездешними». А он сам? Сам он везде был «здешним» — такая жизнь.

Полненький капитан сдал карты. Скворцов посмотрел на свои и обмер: десять трэф на руках! Что-то невероятное.

— Десять трэф, — сказал он и бросил карты веером на стол.

— Вот это начало! — восхитился капитан. — Вам, товарищ майор, должно быть, в любви не везет.

— Да, не повезло-таки. Ну, теперь, братцы, берегись: я в азарт вошел.

— Тасуй — сдавай, — пробурчал майор.

Скворцов сдал карты.

— Раз.

— Пасс.

— Два.

— Два мои.

...Игра шла. Скворцову везло — карта к нему так и перла. В общем, ему было неплохо. Только мешало сознание, что он слишком много, неприлично много выигрывает. Как он ни рисковал, выигрыш все рос. Угрюмоватый майор только кричал. Капитан начинал нервничать, а лейтенант все улыбался белыми зубами. Они играли, пока самолет не приземлился.

— Москва, товарищи, дальше не повезем, — объявил командир корабля, выходя из рубки.

Скворцов встал и широко потянулся:

— Слышали? Москва. Спасибо за компанию.

— А расписать? — ревниво спросил угрюмоватый.

— Не надо. Все равно я вас всех обыграл.

— Игра есть игра, — солидно заметил полненький.

— Ха! Вы меня разве не знаете? Я — знаменитый самолетный шулер Скворцов. Слышали?

— Это шутка, товарищ майор? — спросил капитан.

— Какая шутка? Я шутить не люблю. Ну, приветствую вас.

Скворцов бодро откозырял, взял свой чемоданчик и пошел к выходу. Он спустился по трапу и ступил на московскую землю. Прежде всего его удивила трава — густая, сочная, интенсивно зеленая. Потом солнце. Какое же это было мягкое, прохладное, невинное солнце!

Офицеры спускались следом. Последним шел генерал Сиверс. Скворцов взглянул на него снизу вверх и поразился трагической худобе его щек. Но когда генерал сошел вниз, это впечатление исчезло. Сиверс как Сиверс: очки, четкость, ирония.

— Товарищ генерал... — начал было Скворцов.

— Ась? — отозвался Сиверс, глядя на него сбоку.

— Вас, вероятно, машина встречает?

— Машина? Нет, не встречает. Я, знаете, имею обыкновение ездить на городском транспорте. Без помпы. Честь имею кланяться.

Сиверс прикоснулся к фуражке, повернулся по-военному и быстро пошел вперед легким, чуть приплясывающим шагом. С ним вместе уходил вопрос, который Скворцов должен был задать ему, но не задал...

Простой человеческий вопрос: «Что с вами?»

А несколько минут спустя Скворцов уже ехал домой в автобусе. Миновали зеленые пригороды с дачными до-

миками, с прудами и утками, с телевизорными антеннами, и вот уже Москва обступила его. Огромный город мчался мимо, отражаясь в зеркальцах множества машин. Люди шли, толкая друг друга, обгоняя друг друга, задерживаясь на перекрестках, и как же их было много! Скворцов смотрел на все это со смешанным чувством отчуждения и uznания.

Вот и дом его. Он вошел в подъезд. На стене детским почерком было нацарапано: «Инка выдра, она выбржала». Он узнал эту надпись и рассмеялся. Инка, о которой шла речь, теперь давно выросла, учится в институте, а подъезд все не отремонтировали.

Шагая через две ступеньки, он поднялся на четвертый этаж. Молодец, организм, — ни одышки, ничего. Спасибо тебе, организм. Он вынул связку ключей, отделил один, отпер дверь, вошел.

— Кто там? — спросил женский голос.

— Это я, — ответил Скворцов.

В прихожую вышла жена — маленькая, пухлая, с гладко зачесанными назад волосами. Выпуклые глаза сияли ребячьей радостью. Изумленно глядя ему в щеку, она вытерла руки фартуком и сказала тонко, на одном дыхании:

— Побрился, поторопился, порезался.

# ЗА ПРОХОДНОЙ

*Повесть*

## ВВЕДЕНИЕ

Большой пустырь на окраине большого города. Конечная остановка трамвая. Дальше ехать некуда — кольцо. Глубокая осень. Глубокое уныние размокшей, неприбранной окраины. Какие-то доски, черные под дождем, рельсы, шалашы, груды ржавого лома. Вдоль трамвайных путей — тоненькие, в палец, деревья, высаженные в порядке обязательного озеленения, мокрые, в печальных каплях. На каждом — один-два уцелевших, крупных по дереву, черно-коричневых листа.

От трамвайного круга к пустырю сворачивает глинистая, скользкая дорога, вдребезги разбитая грузовиками. В глубоких колеях — желтая, мутная вода. Дорога идет к большому кирпичному зданию за высокой, тоже кирпичной, стеной. По верху стены — в два ряда колючая проволока. Большие железные ворота; рядом часовой в мокром брезентовом плаще. Время от времени ворота открываются и во двор, рыча и переваливаясь, вползают грузовики с грузом, выползают — без груза. Рядом с воротами — неказистое зданьеце вроде кирпичного сарая. Это — «проходная».

Изнутри проходная так же неприглядна, как снаружи. Стены выкрашены казенной, мрачно-голубой краской. Такой цвет часто бывает на кастрюлях, ведрах, почтовых и мусорных ящиках. Ремонта в проходной давно не было: краска местами облупилась, местами вздулась, отстала от

стены и вот-вот облупится. С потолка свисает голая лампочка на перекрученном проводе. Сейчас день, но лампочка горит желтым, худосочным светом, который болезненно отделяется от серого света морозящего дня.

В стене — два окошка, за ними — девушки, выдающие пропуска. Медленная, равнодушная очередь. Люди ждут молча и только иной раз, просовывая в окошко документы, обмениваются с девушкой двумя-тремя фразами вроде: «В лабораторию Холодных»; «Ваше предписание»; «Пропуск заказан позавчера». Время тянется; слышно, как девушка кричит по телефону: «Вызываю сопровождающего по вашей заявке, прибыл Житков из двенадцатого». Житков из двенадцатого стоит и ждет сопровождающего.

Через четверть часа приходит сопровождающий. Это молодой парень в куртке с «молниями». Он осведомляется, кто здесь Житков и ведет его через турникет пропускного пункта во двор. Тут обнаруживается, что в руках у Житкова — книга, с которой его никак нельзя пропустить на территорию. Об этом сообщает серьезная, непреклонная надпись: «Пронос портфелей, чемоданов, дамских сумок, книг и прочего категорически воспрещается». Книгу приходится сдать в камеру хранения, где на полках навалом лежит всякое «и прочее»: сумки с продуктами, рулоны бумаги, детский велосипед. Принимает этот крамольный реквизит тетя Маша, немолодая женщина в застиранном синем халате, спящая на ходу. Она выдает Житкову пластмассовый номерок, садится на табурет за мощным прилавком и снова дремлет до следующей вещи. Безграничная скука гардеробных, камер хранения (вообще всех пунктов, работа которых основана на недоверии) царит в проходной. Житков на минуту задумывается: а может ли любить свою работу эта, например, тетка? Стараться сделать ее лучше? Наверно, нет. Здесь не может быть лучше или хуже — можно только терпеть и ждать.



Впрочем, Бог с ним, с Житковым. Мы больше с ним не встретимся. Он понадобился только для того, чтобы показать вам проходную и сопровождающего — молодого парня в изрезанной «молниями» куртке, с такими острыми и белыми зубами, что кажется, будто во рту у него тысяча зубов, а на куртке — тысяча молний. Он научный сотрудник десятой лаборатории. Функции сопровождающего несут все инженеры и научные сотрудники по очереди.

Сегодня от десятой лаборатории дежурит на сопровождении Володя Климов, молодой ученый, один из ведущих в лаборатории, по прозвищу Вовка-критик. Кроме него в лаборатории есть еще два Владимира: Вовка-умный и просто Вовка. То, что в одной лаборатории три Владимира, неудивительно, если учесть общий процент Владимиров в населении. На этот счет Вовка-критик не поленился провести специальное исследование (методом выборочного анализа) и установил, что в составе мужского населения нашей страны около 13 процентов Владимиров и что в десятой лаборатории этот процент не слишком выходит за пределы нормы.

Так вот эта лаборатория № 10 с почти нормальным процентом Владимиров и есть герой нашего рассказа. Она может быть героем рассказа: у нее есть личность. Мне, во всяком случае, она кажется человеком.

Здесь, в институте — за проходной, — много лабораторий. Еще больше их в других институтах. Они разные, как люди. Эта, десятая, ничем выдающимся не примечательна. Впрочем, посмотрим.

В литературе дозволены условности, и я проведу вас в лабораторию № 10, хотя вам и не выписан пропуск. Как говорили в девятнадцатом веке — пойдём со мною, любезный читатель. Я прослежу за тем, чтобы вы не увидели, чего не положено. Я буду вашим сопровождающим.

## ЛАБОРАТОРИЯ

Десятая лаборатория — на втором этаже главного корпуса. Она занимает несколько комнат. Среди них: собственно лаборатория, препараторская, мастерская. Есть еще фотолaborатория, вернее, фоточулан. Две комнаты отведены для научной работы — одна большая, другая маленькая. В большой комнате довольно тесно, впрыток и под углами расставлены канцелярские столы — желтые, плохо фанерованные, занозистые по краям. На некоторых столах — счетные машины-полуавтоматы. Для обеззвучивания они поставлены на пухлые резиновые коврики. Это мало помогает: когда работают сразу две-три машины, разговаривать можно только криком. Впрочем, здесь привыкли к шуму. Шумят машины, шумят люди, надрывается телефон.

На стене — классная доска светло-коричневого цвета. На ней какие-то формулы (под одной крупно: кретинизм), кривые, наброски схем. Информация: «Желающие пойти на Рихтера записывайтесь в первом отделе». Справа сверху загадочная надпись: «Каюку каюк».

Стены — тусклые, желтовато-серые, плохо крашенные. Висит портрет; от другого остался гвоздь. На противоположной стене плакат: «Храните деньги в сберегательной кассе». Улыбающаяся семья: муж, жена, ребенок на фоне сберкнижки. У всех совершенно одинаковые лица: русые, здоровые, розовые. Умеренно вздернутые носы, синие глаза, белые зубы. Похожи друг на друга, как двойники, и не только друг на друга — на тысячи персонажей с картин, реклам, открыток, календарей. Потому глаз и не задерживается на плакате. Спросите любого из тех, кто работает, в комнате: что нарисовано на плакате? Наверняка не помнит. Не смотрел.

Странная все-таки штука — искусство. Мы замечаем его, когда оно выражено в больших вещах. Но ведь изо дня

в день мы живем в окружении мелких, забываемых, проходных вещиц, которые в каком-то смысле — тоже искусство. Взять, например, спичечные коробки. Ведь на каждом из них что-то нарисовано. Кто-то делал этикетку, старался, чтобы было хорошо. Красиво. А спроси у своего соседа: что нарисовано на коробке, который ты сегодня десять раз вынимал из кармана? Не скажет.

И так повсюду. Если посмотреть внимательно, можно заметить вокруг себя, в полном небрежении, множество предметов искусства. Вот, например, ящик письменного стола. Вокруг замочной скважины — жестяная, погнутая, отставшая бляха. Скважина никому не нужна: ключ потеряян, да и не запирает никогда. А всмотришься в бляху — и поди ж ты: вокруг рваного, режущего края выбит нехитрый узорчик — веночек из мелких цветочков. Для красоты. Где-то на фабрике, по неизвестно кем утвержденному образцу, штампуют жестянки с красотой, а они через три дня отваливаются.

На столе — табель-календарь. На нем, разумеется, картинка: семья на пляже, счастье. Напечатано плохо, неаккуратно. Красные трусики счастливой матери сместились на полбедра вбок, и красный флаг на речном вокзале трепыхается в небе отдельно от флагштока. Не все ли равно? Никто ведь не замечает, есть картинка или нет. Пожалуй, большинство (кроме, может быть, маленьких детей) предпочло бы календарь без картинки. Конверт без картинки. Чашку без картинки. Нет, нельзя почему-то. Так уж повелось: есть свободное место — валяй. Картинку туда, красоту. Вали, дави, штампуй. Вот и течет мимо нас красота: жестяная, бумажная, картонная, румяная, русая, счастливая, никакая. Течет, заливаает все кругом, а ее никто, решительно никто не замечает. Больно подумать о тех, кто ее делал. Какая судьба: плодить красоту, чтобы ее не замечали!

Страшная судьба! Такой ли судьбы я хочу?

Это не мои мысли. Так думает, глядя на плакат со сберкассой, научный сотрудник десятой лаборатории Женья Стрельцов, по прозвищу Женька-лирик. Лириком его прозвали за то, что пишет стихи. Когда-то пробовал показывать их товарищам — высмеяли. И правда, стихи были неважные. Но что он мог поделать с собой, если они жужжали у него в душе, как пчелиный рой, — жужжали и жалили?

По специальности Женька физик и работает наравне с другими. Но чего-то в нем слишком много. Душевные излишества, как сказал однажды Вовка-критик.

Женька — высокий, черномазый, с острым кривым на конце носом. На низком лбу — косая, черная с сединой прядь, а под ней глаза — угольные, дикие. Когда Женька работает, он все время издает звуки — не то пыхтит, не то стонет. Он сидит за столом, иступленно кусая ногти, по двадцать раз принимая и отбрасывая каждую гипотезу, сомневаясь, ликуя, отчаиваясь. И тут же, рядом с мыслями, в нем толкутся образы, яркие до боли. Он не просто смотрит — он видит. Желтая стена с трещиной, косые капли на грязном стекле, мокрые голуби на крыше, дым из трубы. Ему страшно интересно смотреть на все это. Просто смотреть, как расставлены в пространстве вещи: какая ближе, какая дальше. Ему горячо внутри, когда он все это видит. Когда-нибудь потом, когда кончится вечный аврал, он обо всем этом напишет такими словами, чтобы другим тоже стало горячо внутри. А пока что дела идут густо, как сельдь в косяке.

На товарищев своих он просто молится. Как ему повезло, что он попал в эту нашу, мою, любимую десятую, где такие ребята, такая работа! От нее ошалевают, от нее падают с ног и все-таки не могут оторваться. Почему до сих пор никто не писал об этом? С такой же силой, как у Горького, когда люди скопом грузили (или разгружали?) баржу. Вот так бы описать азарт коллективной умственной

работы. Когда голоса (буквально!) сипнут от споров, давно потеряно чувство времени — день или ночь? — когда голубой прокуренный воздух так плотен, что, кажется, можно его резать ножом. Когда один не может, другой не может, а вот вместе — ухватились, навалились: «Раз, два, взяли!» — и сдвинули с места задачу, сперва тихонько, а там, смотришь, «сама пойдет, сама пойдет»... и эх, валяй, братцы, до чего ж хорошо! А кто об этом напишет? Женька Стрельцов напишет. Больше некому.

## КАЮК

За соседним столом сидит Кирилл — по прозвищу Каюк — и творит.

Здесь, в десятой лаборатории, вообще в ходу прозвища. Какое-то застарелое детство. Серьезные люди, научные работники, почти все — кандидаты, а по разговору — школьники: все шуточки да клички.

Почему Кирилла прозвали Каюк — этого уже никто не помнит, но имя идет к нему. Маленький, круглый, жесткий как жук, и рукава черного рабочего халата топорщатся, как надкрылья. Он пишет отчет и глух ко всему на свете. Как тетерев на току. Женька-лирик — поэт, Каюк — прозаик. Готов писать отчеты с утра до ночи, по четырнадцать часов в сутки, и все ему мало. Товарищи знают его страсть и пользуются ею: «Писать будет Каюк». И он пишет. Кругом спорят, шутят, ругаются. Каюк пишет. В отчеты он вкладывает чувство, поэзию, драматизм. Выходит за всякие рамки. Товарищи над ним потешаются. Каждый раз, когда Каюк заканчивает отчет, начинается «номер»: коллективное художественное чтение.

— Братцы, вы только послушайте, что он пишет: «бесподобный метод интегрирования...»

— Нет, дальше лучше: «решение этой задачи дрожало у нас на кончике пера...»

— «Испытания носили двусмысленный характер...»

— «Интеграл ведет себя вполне прилично...»

И так далее. Каждая фраза встречается хохотом. Как пятиклассники на переменке, читающие любовное письмо. Каюк ежится и топорщит надкрылья. Заикаясь, пытается отвоевать свое право писать красиво. Но ему в этом праве неизменно отказывают: «Друг Аркадий, не говори красиво». Чаще всего за красный карандаш берется Вовка-критик. Он садится за отчет, вымарывает все цветистые фразы и вместо них ставит другие — скупые и скудные: «эффективный метод интегрирования»; «мы были близки к решению этой задачи»; «в процессе испытаний были выявлены противоречащие друг другу факты»; «интеграл сходится в смысле главного значения». Дурак Каюк, думает он, какая безвкусица. Не понимает, в чем настоящая поэзия. Для самого Критика стихами звучат такие, например, строки:

«Пересечение последовательности внутренне регулярных множеств внутренне регулярно; пересечение убывающей последовательности внешне регулярных множеств конечной меры внешне регулярно».

Четкость, лаконизм, ритм. Фраза, собранная из слов, как механизм — из деталей. Именно к такой поэзии стремится сам Критик в своих писаниях и ненавидит, как он выражается, «литературные сопли» Каюка. После правки Критика отчет становится относительно пристойным. Разумеется, в нем не хватает высшей поэзии, но приличия соблюдены. И только иногда, читая отчет уже переплетенным, Критик морщится, натываясь на свои огрехи. Они торчат в гладком тексте как занозы. Какие-то шершавые кусочки фраз: «а это как сказать», «может быть, и не так», «главное не в этом».

Не далее как сегодня любимый толстый отчет, последнее детище Каюка, которое товарищи называли «пестун-

чиком», подвергся жестокой правке Критика, о чем и свидетельствовала странная фраза на доске: «Каюку каюк». Не обошлось без споров. Женька-лирик заступился за Каюка и заявил, что править его отчеты — все равно что стирать пыльцу с крыльев бабочки, «А вот мы ее, эту пыльцу», — сурово изрек Критик и жирно перечеркнул красным карандашом целых полстраницы. А впрочем, Вовка-критик совершенно живой человек, с этим не мог бы спорить даже сам пострадавший Каюк. В лаборатории о нем говорят: «Новый литературный тип — положительный стиляга». Вовка вылощен, сух, подтянут, весь на шарнирчиках. Красивый, стройный, причесанный — волосы одним куском, как лакированное черное дерево. К его бледно-смуглому лицу очень идет светло-кремовая, до блеска отглаженная рубашка. За ней так и видится безупречный, идеально налаженный быт, чьи-то руки, которые в свое время стирают и гладят рубашку и бесшумно, услужливо подают ее утром хозяину дома. Но Критик не женат и свои рубашки стирает и гладит сам — ночью, после работы. Щеголь, чистюля, брезгун — весь в иронии, как в отглаженной рубашке. Любое проявление чувств он считает нерышеством. Сегодня он дежурит на сопровождении и злится. Во-первых, ему предстоит провожать в лабораторию какого-то корреспондента. Шляются, бездельники. Во-вторых, Критику только сегодня стало ясно, что он любит Зинку. Неоригинально!

## ЗИНКА И КЛАРА

Влюбляться в Зинку действительно было неоригинально. В разное время и по-разному в нее, кажется, пере-влюблялись все. А ведь она и не красива в обычном смысле слова. Вот уж кто не годится на плакат про сберкассу —

Зинка. Небольшого роста, худенькая, со смуглым, матово-пепельным лицом, вся какая-то одноцветная: глаза, волосы, брови. Словно портрет сепией на оберточной бумаге. И одевается Зинка всегда скромно и бесцветно: какой-нибудь старенький свитер под самое горло, суконная юбчонка по колено, на тонких пряменьких ногах — подростковые туфли. Голос — глухой и сипловатый, тоже пепельный. Ничего особенного. Разве что волосы: густые, полудлинные, не выющиеся, а кривые. Каждая прядь, по шею длиной, падает, падает совершенно прямо, а под конец словно вздыхает и чуть-чуть загибается кверху. Вот и все.

В каждом коллективе, если он человек, бывает совесть. Зинка — совесть десятой лаборатории. При ней нельзя сказать пошлость, сделать мелкость. Она видит все и осуждает жестоко.

В науке Зинка — из самых способных. Самая, пожалуй, способная после Вовки-умного и Мегатонны. Никто лучше ее не может придумать опыт, поставить, отладить. На испытаниях ей нет равных. В ватнике, в стеганных брюках, в больших резиновых сапогах, по колено заляпанных грязью, в крохотных рукавичках, дующая в кулачок, озябшая Зинка выносливее всех мужчин. Главное — постоянная напряженность мысли. Зинке даже ночью нет покоя, она не спит и во сне. Сон весь клубится мыслями: формулы, приборы, решения. Что, если попробовать сделать вот так? Иногда она среди ночи вставала с постели и, стоя у стола на одной смуглой босой ноге, по-птичьи поджав другую, торопилась записать идею, пришедшую во сне.

В лабораторию Зинка пришла уже кандидатом. Да, не такая уж молоденькая — лет тридцати, может быть. А все-таки все в нее влюблялись. К влюбленным она относилась без всякого кокетства, серьезно и сочувственно, но сама никого полюбить не могла. «Наверное, у нее что-то в прошлом», — говорила Клара. Но Зинку никто о ее



прошлом не спрашивал. Здесь вообще никого ни о чем не спрашивают: скажет сам — хорошо; промолчит — тоже неплохо.

А Клара работает за соседним столом, как нарочно, чтобы оттенить Зинку. Клара — пышная, яркая, золотая, с голубыми глазами, с четко выведенными губами, с такой чистой и гладкой розовой кожей, что смотреть на нее просто неловко. Слишком белая. Слишком розовая. Слишком красивая. Так не бывает. Между собой товарищи называют ее не очень лестным прозвищем: «Три пирожных сразу». Как-то не вяжется она, в своем изобилии, с обмызганными стенами, канцелярскими столами. А вот Зинка — скромная, пепельная Зинка — та словно приросла к этим стенам и столам. Зинка со своими поношенными туфельками и смуглыми пальцами без маникюра.

## РАБОЧИЙ ШУМ

В десятой лаборатории идет работа. И вместе с ней, параллельно ей, внутри нее все время звучат разговоры. Рабочий шум, как говорят здесь. Послушаем, что это за шум.

В углу за столом — двое. В руках у одного — бумажная лента с отпечатанными столбиками цифр. Другой заполняет ведомость и сверяет данные. Между ними идет диалог:

— Два. Альфа меньше.

— Четыре.

— Двадцать семь.

— Не может быть.

— Говорю тебе, двадцать семь. Возможен эксцесс.

— Иди ты к черту со своим эксцессом. Эксцесс! Любишь умные слова. Просто наврала при дешифрировании.

Этот диалог — словно фон, на котором идут все другие разговоры.

— Я же говорил вам, товарищи, что мы приняли неверную тактику. Мы уходили и приходили, а надо было просто не уходить. Раздразнили старца, он и развоевался.

— Нет, я просто не могу понять, какое право они имеют нас гнать? Это же посягательство на нашу свободу.

— Свобода есть осознанная необходимость. Учили-учили, а ты все свое.

— Учили. Конституцию тоже учили. Там так и написано: право на труд.

— Бедный. Труда ему не хватает.

— Труда хватает, но нужно создать условия. Может, я целый день думал, ничего не придумал, а к шести часам прорезалось. И вдруг звонок. На самой середине мысли.

— Воображаю, какая это была золотая мысль.

Этот разговор следует пояснить. Дело в том, что мы застали лабораторию в тревожное для нее время: в разгаре борьбы за десятичасовой рабочий день. Институтское начальство узнало, что во многих лабораториях засиживаются до поздней ночи, расходуют энергию, и издало приказ. Работающих стали выгонять вон по звонку. «На самой середине мысли». Они пробовали, потоптавшись на пустыре, вернуться обратно. Не тут-то было. Старик вахтер оборонял служебное помещение как личную собственность. Однажды проходную взяли приступом. Начальство (так называемый «старец») обещало репрессии. Парламентером был послан Критик, известный способностью говорить гладко и убедительно на любую тему. Начальство настаивало на семичасовом дне, в крайнем случае соглашалось на восьмичасовой. Критик сначала заломил двенадцатичасовой, но потом сбавил и сполз до десятичасового. Начальство не шло на уступки. Критик — тоже, оба вошли в азарт. Кончилось ничем: Критик вернулся в лабораторию и с юмором изображал, как шел торг (совсем как на ярмарке, только не хватало шапки, чтобы кидать на пол). Се-

годня все были в волнении и решили после звонка не уходить, и все тут. «Пусть выведут с милиционером» (это — Зинка).

Гудит фон:

— Восемь.

— Два.

— Семнадцать.

— Одиннадцать.

.....

А на фоне — разговоры, отдельные фразы:

— Опять целую серию запероли. Смотрите, не пленка, а порнография.

— А может, так и было?

— Не может быть. Чудес не бывает. Если так и было, придется признать существование Бога.

— Ну что же. Идея сама по себе не так уж абсурдна. Не хуже многих твоих.

.....

— Смотрите, снова статья на тему «Сможет ли машина когда-нибудь полностью заменить человека?»

— Вопрос риторический и принадлежит к числу неправильно поставленных. Пользы от него немного. Примерно столько же, как от вопроса: может ли всемогущий Бог создать такой камень, который сам поднять не может?

— А я думаю, перед тем как ставить такой вопрос, нужно сначала дать определение: что такое человек и что такое машина? Разумеется, если определить машину как устройство, которое ни при каких условиях не может заменить человека, вопрос автоматически снимается.

.....

— Слушай, ты совсем очумел! Сто часов машинного времени! Кто тебе даст? На твою паскудную задачку?

— Сам брал на свою паскудную! Двести часов слопал.

— Я брал в интересах науки.

— А я в чьих же? Личного обогащения?

.....

— Интегрировал, аж вспотел.

— А знаете что, друзья, ведь на нашем примере можно убедиться в правильности тезиса о стирании противоположности между умственным трудом и физическим. Наш умственный труд приобрел все черты физического.

— Ну, пошел разводить демагогию.

.....

А вот большой разговор, целой группой:

— И все-таки в чем-то Полетаев прав<sup>1</sup>.

— Прав он в том, что работает и знает почему фунт лиха. А статья его — верх идиотизма.

— А почему же все-таки на диспуте молодежь его так поддерживала?

— Очевидно, он задел какие-то струны. Молодежь чувствует, что сегодня нужно какое-то другое искусство, что культура — не в том, чтобы перечитывать, даже переводить Ронсара и Вийона (это — Женька).

— Давно пора перейти в искусстве на самообслуживание (это, кажется, Вовка-критик).

— Товарищи, я лично — за Полетаева. Конечно, он выступил неудачно (заикается — значит, Каюк). Но в основном он прав. Почему культурным надо считать того, кто любит Баха и Блока? А мне, может быть, невкусно читать Баха и Блока. Не грохочите, это из Чернышевского: «Рахметову было вкусно».

— Послушайте: Каюк-то, Каюк! Валаамова ослица заговорила!

— Не ржите. Я серьезно говорю. Я предлагаю пойти к Эренбургу и спросить: что такое вторая космическая

---

<sup>1</sup> Речь идет о широко обсуждавшейся в свое время дискуссии на тему о “физиках” и “лириках” между писателем И. Эренбургом и инженером И. Полетаевым, публиковавшейся на пороге шестидесятых годов в “Комсомольской правде”. (Прим. авт.)

скорость? Наверняка не знает. Значит, он некультурен. Я к нему претензий не имею, пусть пишет. Но пусть он на нас не фыркает. Культура!

— Сам-то ты больно культурен.

— А я и не хвастаюсь. Я не очень культурен. Разве только чуточку культурнее Эренбурга.

— Тоже загнул. Эренбург языки знает.

...Смех. Постепенно он замирает, и вдруг становится слышен один голос — негромкий, силловатый. Что это он читает? Как будто стихи. Голос звучит невыразительно, почти на одной ноте, запинаясь, останавливаясь, словно соображая:

— Ведь он не нов... ведь он готов, уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, когда пора давать ответ... мы разгребаем... да, кажется, разгребаем... мы разгребаем груды слов — ведь мир другой... он не таков... слова швыряем мы в окно и с ними славу заодно...

— Что это? Постой, что это?

— Не что, а кто, дурья голова.

— Ну, кто это?

— Это он. Эренбург.

Молчание. Тут действительно ничего не скажешь. Молчит даже Каюк.

## РОМАНТИКИ И СТАТИСТИКИ

За столом, что подалее от окна, стиснутый грудями справочников, сидит Яша-статистик. Он никогда ни с кем не спорит, только молчит и слушает. Уши у него оттопырены, каждый волос стоит и вьется отдельно, как черная пружинка.

Прозвище Яша получил за фанатическую, самозабвенную любовь к математической статистике.

В любой науке, связанной с экспериментом, приходится обрабатывать опытные данные. А математическая статистика — это наука о том, как их обрабатывать.

Экспериментаторы делятся, грубо говоря, на два класса. Одни — романтики (или халтурщики, как называют их другие). Этим — лишь бы поставить эксперимент, получить результаты. Обрабатывают они свои данные грубо: нахально проводят от руки среднюю кривую через группу разбредаящихся опытных точек и не ахти как задумываются, что означает этот разброд и как его оценить.

Другие — статистики. Факты заботят их не так, как методы. Методы обработки. Эти не сделают шага без того, чтобы не оценить возможную погрешность. Они, например, не говорят: полученное из опыта значение величины  $X$  равно тому-то. Нет, они выражаются иначе. Они говорят: с вероятностью 0,95 можно утверждать, что истинное, неизвестное нам значение величины  $X$  заключено между  $X_1$  и  $X_2$ . Любое высказывание ставится в рамки: от и до, дальше, не шире, не категоричнее.

Между экспериментаторами двух классов — слегка ироническая вражда.

Статистики считают романтиков недоучками, а про их работы говорят, что они сделаны топором. Они говорят: то, что вы пишете, попросту ничего не значит. Вы утверждаете: скорость равна 5498 метрам в секунду. Это утверждение ничего не означает, пока вы не оцените его точность. Какова возможная ошибка вашего утверждения? Какова ее вероятность? Романтики отмахиваются. Они тоже грамотные и знают статистику, но им некогда оценивать точность. Им нужно скорей вперед, вперед.

Романтики считают статистиков скучными педантами. Им кажется, что тонкие статистические методы — просто переливание из пустого в порожнее. Нет, хуже: перенос ответственности из одной инстанции в другую. Все равно

на том или ином этапе придется взять на себя ответственность. Все равно последнее, окончательное решение будет принято великолепным волевым актом. И расчетом надо пользоваться творчески, а не рабски. Работы статистиков кажутся им сделанными золотошвейной иглой.

Так и идет все время спор — то явный, то неявный. Топор или игла?

Я думаю, ясно, на чьей стороне автор. Он — за топор.

А вот Яша-статистик — страстный золотошвей. Когда-то, еще в ранней юности, он увлекся трезвой, иронической поэзией статистики. И теперь утверждения без оценок казались ему неприличными, какими-то голыми. Но в десятой лаборатории он, в сущности, одинок. Остальные, все как на подбор, халтурщики. Яша выбивается из сил, работает за всех, пришивает ко всем отчетам фиговые листки оценок. Самое грустное, что неблагодарные над ним же подтрунивают.

Сейчас он сидит за своим столом, работает и одновременно слушает. Здесь вообще умеют работать в шуме, слушая споры, иногда даже споря: «Куда до нас Юлию Цезарю!» Яша никогда не спорит, он молчит, но про себя, внутри себя, говорит непрестанно. Вот и сегодня он мысленно наговорил целую кучу. Ему есть что сказать и про Полетаева, и про Эренбурга, и про культуру. Но вот беда: слова барахтаются у него внутри, теплые и живые, а вот наружу пробиться не могут. Яша — бессловесный поэт.

## МЕГАТОННА

Самые способные в лаборатории после Вовки-умного — Зинка и Мегатонна. Ух, какая сила этот Мегатонна! По-настоящему его зовут Саша, но все про это забыли. Его даже уборщица называет «товарищ Мегатонный», и он отзывается.

Мегатонна феноменален. Огромного роста детина, с пудовыми плечами, он весь выпирает из одежды какими-то шишками. Когда он сидит за письменным столом, упираясь в столешницу коленками, кажется, что это и не стол вовсе, а какой-то загон в зоопарке, для буйвола, что ли. Он и в науке силен, как буйвол. Дико силен и дико некультурен. Он, кажется, никогда ничего не читал. Думает, что Вьетнам в Америке. Даже книг по специальности не любит. Иногда, послонив палец, листает и с отвращением откладывает. «Еще читать, — думает он, — сам сделаю». И действительно, делает. Способности у него необыкновенные. «От земли», как сказал Вовка-критик.

Говорит он всегда непонятно, но интересно. Какое-то великолепное неряшество речи. Он не достаивает слова, чтобы их согласовывать; он просто роняет их, и они сами слипаются во фразы. «Это без когда ничему вовсе», — говорит он. Понимай как знаешь. И все-таки он сильнее всех. Когда никто не может, идут к Мегатонне: последнее средство, научный таран. Глядя на формулу, он мычит, берет карандаш — пером писать он, в сущности, так и не научился — и начинает орудовать. Греческие буквы он знает плохо, никак не мог запомнить, какая «кси», какая «ней». Дельту и бету называет одинаково: бельта. Зато альфу твердо знает в лицо: она у него нежно называется «козявка». «Вот эту козявку мы туда». И бережно, словно берет бабочку толстыми пальцами, выносит альфу за скобку. Кончив преобразовывать, он обычно произносит одну и ту же загадочную фразу: «Сокращая и собственно здесь чем».

## ВОВКА-УМНЫЙ И КЛАРА

Вовка-умный потерял глаза на испытаниях. Это случилось два года назад. Вся лаборатория была как неживая.



Вовка долго лежал в больнице, а потом вернулся, бледный, в темных очках, с лиловым шрамом поперек щеки и с синими точками на лбу. Как встретить его? Что сказать? Еще накануне в лаборатории знали, что он придет, и горячо обсуждали этот вопрос.

Клара, которая пришла в лабораторию недавно и еще не знала Вовки-умного, заявила, что нужно проявить максимальную чуткость и окружить слепого вниманием. «Как слепого музыканта», — почему-то сказала она.

«Брехня, — отвечал Вовка-критик. — Именно никакой чуткости — вот что ему теперь нужно. Мы не должны его жалеть. Мы должны требовать с него, как с самих себя. Только тогда он будет чувствовать себя человеком».

Нельзя сказать, чтобы все сразу с ним согласились. Решающее слово произнесла, как всегда, Зинка. Она сказала, что Критик прав, — нет ничего страшнее жалости.

И вот в лабораторию вошел Вовка-умный, а Зинка, та самая Зинка, смотрела на него, желтая, как мертвец, и по щекам у нее текли слезы. Но она первая подала ему руку и сказала, как будто видела его вчера: «Здравствуй, Вовка». Даже голосом не моргнула.

И правда, Вовка-умный чувствовал себя человеком в лаборатории № 10. Экспериментатором он быть не мог — только теоретиком, но здесь уж он был на месте. Свои работы он печатал на специальной машинке, которую просто Вовка оборудовал математическим шрифтом. Такие прелестные получались формулы. В лаборатории скоро привыкли, что Вовка-умный работает наравне со всеми, так, как все. Даже до того привыкли, что когда Вовка-умный иной раз ошибался — с кем этого не бывает? — могли попрекнуть его: ты что, совсем одурел? Не видишь, что ли, что тут навроно? И Вовка смущался так, как будто и вправду видел. Конечно, ему иногда помогали, но ведь и он помогал. В теории он был сильнее всех, даже Мегатонны. Впрочем, нет: каждый в своем роде. Мегатонна —

по преобразованиям, а Вовка-умный — по физическому смыслу.

А потом как-то получилось, что чаще других стала ему помогать Клара. Клара, пышная, розовая Клара (три пирожных сразу) постоянно сидела у Вовкиного плеча, делала ему чертежи, исправляла опечатки, читала вслух статьи. Сначала в лаборатории боялись, как бы Клара не надурила со своей чуткостью. Но нет, ничего — они с Вовкой, кажется, отлично ладили. Глядя на них, ребята посмеивались, а про себя думали: а чем черт не шутит?

И в самом деле, чем только не шутит черт...

## ЧИФ

Маленькая комната сегодня пустовала. Обычно там сидел Чиф. Чифом здесь называли шефа лаборатории, ее научного руководителя — профессора, члена-корреспондента Академии наук Лагинова, Викентия Вячеславовича. Прозвище Чиф первоначально произошло от слова «chief» — «шеф» по-английски, но скоро утеряло английский акцент и произносилось по-русски — коротко и ясно: Чиф.

Чиф был главной достопримечательностью лаборатории. Им гордились. Его любили. Над ним подсмеивались, но тоже любя, с гордостью.

Чиф был, в сущности, еще не стар. Вряд ли ему было шестьдесят лет. Но рядом с ним все сотрудники, даже сорокалетние, чувствовали себя дошкольниками: такова была дремучая эрудиция Чифа. Чего только он не знал! Рядом с нормальными, прозаическими знаниями у него в голове лежали вороха посторонних, даже каких-то неуместных сведений. Он, например, знал наизусть даты, на которые приходится Пасха, на целое столетие вперед.

По поводу газетной статьи о президентских выборах в Америке мог перечислить поименно всех подряд президентов — от Вашингтона до наших дней — и сказать, с какого года по какой каждый из них президентствовал. Знал назубок все марки шампанских вин и коньяков с подробной историей каждого сорта, хотя сам ни вина, ни коньяка никогда не пил. Утверждал, что может видеть в четырехмерном пространстве, и брался выучить желающих.

Знания по специальности у него тоже были блестящие и обширные, но какие-то нереальные, словно огромный, напряженный, радужный мыльный пузырь. Часто, особенно раньше, сотрудники обращались к нему со своими сомнениями, ошибками, спорами. Он почти никогда не отвечал «да» или «нет» на прямой вопрос. Он отвечал обобщениями. С ловкостью фокусника он совершал какой-то волшебный поворот — и вопрос раскрывался в совершенно иной постановке, смыкался с другими — в причудливых, неожиданных связях. А тот, первоначальный вопрос, из-за которого, собственно, и пришел вопрошатель, тускнел, начинал казаться плоским, прозаичным. Пришедший замолкал, ошеломленный такими далекими перспективами, таким крылатым «завтра», что просто совестно было за свою сегодняшнюю мелкую болячку. Но стоило вернуться на рабочее место — и ясность пропадала, и снова вставал вопрос — скромный, незначительный и нерешенный.

И все-таки сотрудники любили ходить к Чифу, смотреть на него и слушать. Одна речь Чифа чего стоила. В ней буйствовали скрипучие выкрики. Чиф ставил ударения криком и на самых неожиданных местах, например на предложениях. Ему даже не нужно было гласной, чтобы поставить ударение. В! — кричал он. К! — и все становилось ясно. Это было зрелище — великолепное, яркое и слегка эксцентрическое. В поведении Чифа всегда был чуточный от-

тенок клоунады. Никогда нельзя было до конца понять: серьезен он или издевается? Что он сам внутри себя думает? Что такое, в конце концов, Чиф?

## ПРОБЛЕМА ЧЕРНОГО ЯЩИКА

Никто не понимал, что такое Чиф, по больше всех бесился Вовка-критик. Для него — шеголя, скептика, остроумца — люди были ясны, по крайней мере казались ясными, а Чиф — нет.

Совершенно непонятны, например, были экскурсии Чифа в область искусства. Почти профессиональные. Какие он писал картины, ну и ну... Некоторые восхищались ими, другие фыркали, третьи просто смеялись. Это не была даже абстрактная живопись: там все-таки есть какие-то законы. Чифу не были писаны никакие законы. Он творил разнузданно, пышно, безвкусно и загадочно. Мог, к примеру, написать голую ярко-розовую нимфу верхом на пушке или Бабу-Ягу в реактивной ступе, с пламенем, бьющим из дюз. Или нарисовать картину, издали похожую на гравюру, а вблизи, если всмотреться, — всю из мелких-мелких точек-тире азбуки Морзе...

Вовка-критик был как-то у Чифа в гостях — специально напросился — и просто ошалел от картин. За ними не было видно обоев. Картины и рамы. У Чифа была теория, что художники губят свои картины, предоставляя рамки ремесленникам. Он сам делал рамки, расписывая их, как картины, иногда даже с сюжетом, и смотреть на это было жутковато, словно бы пиджак вдруг стал человеком. Вообще все в этом доме было странно и немного жутко: и ободранная фанерка, прибитая к стене специально для того, чтобы голубой кот мог точить об нее свои когти; и детская железная дорога на рояле (хотя в доме детей не было),

и домоправительница Чифа, не то сестра, не то тетка, — тощая крашенная дама с одним интеллигентным глазом, согнутая в спине, как кочерга, и называющая Чифа детским именем Вишенька.

А поэзия? Чиф не чуждался и поэзии. В лаборатории об этом узнали случайно, когда он внезапно предложил выступить со своими стихами на институтском вечере самодеятельности. После парня с десятью гармошками мал мала меньше, после толстой девицы в розовом (художественный свист) вышел конферансье и торжественно заявил: «Слово для зачитания стихов собственного сочинения имеет академик Лагинов». Боже, что это было! Свалив набок огромную красную голову, закрыв глаза и покачиваясь с ноги на ногу, Чиф не то зарыдал, не то завыл. Нараспев, как было принято в начале века, он читал какие-то оскорбительно скверные вирши. О чем — понять было нельзя. Упоминались там спутник, Иисус Христос и самообслуживание. Когда он кончил — внезапно, словно испортился, — никто не решался сразу хлопнуть. Чиф открыл глаза, поднял руку, сделал, как циркачи говорят, «комплимент» публике, игриво дрыгнув ножкой и ушел с эстрады. Только тогда раздались аплодисменты — вразнобой, нерешительно — и прекратились. Нет, черт побери, этот Чиф был загадкой! В присутствии Чифа Критик чувствовал свой надежный, испытанный скептицизм как бы несуществующим. В чем был секрет Чифа? Иной раз Критик, выходя от него, просто зубами скрипел от досады.

В кибернетике есть понятие «черный ящик». Чтобы объяснить, что это такое (термин вряд ли понятен за пределами узкого круга), пожалуй, лучше всего будет процитировать специальную книгу, одну из тех, что высокими стопками громоздятся у Критика на столе. Там написано:

«Проблема черного ящика возникает в электротехнике. Инженеру дается опечатанный ящик с входными за-

жими, к которым он может подводить любые напряжения, и с выходными зажимами, на которых ему представляется наблюдать все, что он может. Он должен вывести относительно содержания ящика все, что окажется возможным.

Хотя проблема первоначально возникла в электротехнике, область ее применения значительно шире. Например, врач, исследующий больного с повреждением мозга, может предложить ему несколько вопросов (тестов) и, наблюдая ответную реакцию, вывести некоторые заключения о механизме заболевания.

Вообще проблема черного ящика возникает везде, где ставится вопрос о внутреннем устройстве системы или организма, познакомиться с которым нельзя без нарушения его функций. Единственный выход, остающийся наблюдателю, — это производить ряд наблюдений и проб, регистрируя их в специальном протоколе, например:

Время	Состояние
11 ч. 18 м.	Я ничего не делал — ящик испустил ровное жужжание частотой 240 герц.
11 ч. 19 м.	Я нажал на переключатель, помеченный буквой «К», — звук поднялся до 480 герц и остался на этом уровне.
11 ч. 20 м.	Я случайно нажал кнопку, помеченную знаком «!», — температура ящика поднялась на 20°С.

так далее.

Пожалуй, этой цитаты достаточно, чтобы понять, почему у Чифа было второе прозвище: Черный ящик. Критик терпеливо вел протокол. Этот протокол хранился у него на столе под табелем-календарем. Иногда записи вносили и другие сотрудники.

Последняя запись была такая:

<b>Время</b>	<b>Состояние</b>
10 ч. 08 м.	Я ничего не делал — ящик испустил несколько телефонных звонков:
10 ч. 18 м.	а) в институт судебной психиатрии по вопросу о диагностической аппаратуре; б) на кошачью выставку — предлагал принять у него кота, при условии, что кот (редкой голубой масти) не будет помещен в комнату с розовыми или оранжевыми стенами; в) в редакцию газеты — условился о встрече с корреспондентом сегодня в 14.00.
10 ч. 20 м.	Ящик отбыл в неизвестном направлении.

## **КОРРЕСПОНДЕНТ**

Итак, корреспондент должен был явиться сегодня в 14.00, а было уже четверть пятнадцатого, а он все не шел, а Чифа не было. Вовка-критик по многу раз со свистом расстегивал и застегивал свои «молнии». Ведь это ему нужно было сопровождать корреспондента, черт бы его побрал. Только работать мешают. А все-таки и ему было немножко интересно: какой такой корреспондент? К ним обычно посторонних не пускали. И вдруг звонок: сопровождающего.

В проходной стоял высокий, кудрявый, серовато-бледный человек с большим кадыком и блестящими, голодными глазами.

— Рязанцев, — сказал он, сунув Вовке руку.

— Климов, — сказал Вовка. — Я за вами.

Корреспонденту было все интересно. Он первый раз был в таком месте, и все на него произвело впечатление: колючая проволока, часовой, тетка за широким прилав-

ком, бдительно охраняющая недозволенные вещи, вахтер, который, надев очки, долго читал пропуск, тщательно сверяя его с паспортом. Ему казалось, что сейчас он попадет в страну чудес. Однако за проходной, по крайней мере сразу, чудес не было. Все было очень обыкновенно: мокрый асфальт, тощие деревья. Вестибюль с деревянными, под мрамор, урнами. Рогатые вешалки. Объявления на стене: «шахматный турнир...», «желающие отправить детей в зимний лагерь...» ...А вот в траурной рамке портрет молодого парня: «...октября 19... года трагически погиб при исполнении служебных обязанностей Володя Савицкий. Светлая память о нашем товарище навсегда останется в наших сердцах» (корреспондент автоматически мысленно поправил: «вечно будет жить в наших сердцах»). От этого портрета — совсем молодой парень, толстогубый, смешливый, наивный, — ему стало не по себе, и вместе с тем сердце выжидающе екнуло. Может быть, вот они, чудеса, начинаются. Однако лаборатория, куда провел его Климов, была простая комната, без чудес, с желтыми канцелярскими столами. Все было очень обыкновенно, кроме загадочной надписи: «Каюку каюк»; может быть, это шифр. Корреспондент обратился к Вовке:

— Смогу я увидеть академика Лагинова?

— К сожалению, в настоящий момент это невозможно, — ответил тот магнитофонным голосом. — Член-корреспондент Академии наук профессор Лагинов, вероятно, прибудет несколько позже. Тем временем, если вам угодно будет задать вопросы, я постараюсь ответить на те из них, которые окажутся в моей компетенции. Если таковых не будет — не взыщите.

Сотрудники, сидя, поглядывали на стоящих. Вовка-то, Вовка! Эка кроет, собака! Как по писаному. И не улыбнется. Только по голосу — уж они-то знали Вовку — можно было ожидать: сейчас будет спектакль.



— Мне бы хотелось, — сказал корреспондент, — узнать подробности о применении в вашей работе вычислительной техники. Кибернетических машин.

— О, нет ничего легче. Кибернетические устройства, в частности электронные цифровые вычислительные машины, являются мощным средством повышения производительности умственного труда. Расчеты, на которые раньше потребовались бы недели и даже месяцы, выполняются современными быстродействующими вычислительными машинами буквально за несколько минут. Мощные средства современной вычислительной техники, освобождая научных работников от «черного» умственного труда (кавычки аккуратно поставлены голосом), помогают советским ученым еще глубже постигать закономерности окружающего мира. Перед советской наукой развертываются широчайшие перспективы...

Корреспондент слушал, несколько сбитый с толку. Каждая из фраз сама по себе как будто и правильная. Любая из них могла бы быть написана в его будущей статье. Но в устной речи они выглядели иначе, противнее. Кроме того, все эти фразы он либо читал, либо слышал, либо сам писал. Из них ничего нельзя было узнать. Ему казалось, что он жует бумагу. Это было не по правилам... По правилам люди должны были рассказывать обычными, человеческими словами, а он должен был сам потом делать из этого бумагу. Он перебил Критика:

— Прошу вас, поконкретнее. Я бы хотел узнать подробности о применении кибернетических машин именно здесь, в вашей лаборатории.

— Охотно. Истина всегда конкретна. Работы нашей лаборатории были бы просто невозможны без современной вычислительной техники. В ряде случаев, правда, мы умеем обходиться средствами малой механизации...

Тут Вовка ткнул пальцем в клавишу счетной машины, стоявшей на столе. Машина с коротким рыданием вздрог-

нула, рванулась, застучала, что-то прокрутила и затихла. Кто-то прыснул.

«Смеется он надо мной, что ли?» — подумал корреспондент. Но Вовка был невозмутим, застегнут на все «молнии».

— О, это очень интересно, — сказал корреспондент, записывая что-то в блокнот. — Нельзя ли посмотреть, как действует эта машина?

— Пожалуйста. Вы даже можете сами ее испытать. Нажмите на этом пульте кнопку «два».

Корреспондент осторожно поднял длинный бледный палец. Он очень боялся короткого замыкания, но нажал кнопку.

— Не так, сильнее. Не бойтесь. Теперь на другом пульте — вот на этом, маленьком, — надавите кнопку тоже с цифрой «два».

— И что будет? — опасливо спросил корреспондент.

— Пока ничего. Надавили? Так. Теперь нажмите эту клавишу со знаком умножения. Готово.

Машина коротко взрычала, словно выругалась, мелькнули какие-то цифры, и на верхнем регистре что-то выскочило.

— Четыре, — сказал Вовка, указывая пальцем. — Дважды два — четыре.

— Интересно, — сказал корреспондент. — А вы можете выполнять и более сложные действия?

— Любые. Сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. И даже извлечение корня. Хотя последнее не так просто. Требуется знать алгоритм.

«Алгоритм», — записал корреспондент. Впрочем, он сомневался — правильно ли. В школе, помнится, говорили «логарифм». Вслух он сказал: «Неужели?»

— Назовите любое действие, и машина его вам выполнит.

— Две тысячи семьсот восемьдесят девять, — сказал корреспондент, ужасаясь собственной смелости, — умно-

жить на четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь. Или, может быть, это слишком сложно?

— Ничего нет проще. Набирайте. Вот здесь.

Корреспондент долго копался, Вовка взял его за палец, как маленького, и набрал. Клавишу со знаком умножения корреспондент нажал сам. Дальше было как смерч: машина взревела, замелькала, защелкала, выбросила результат и торжествующе остановилась.

— Удивительно, — сказал корреспондент и вдруг, осмелев, протянул палец и сам нажал какую-то клавишу. Произошло нечто непонятное. Машина застучала, каким-то другим, пустым стуком, запрыгали цифры, но страшно было, что это не прекращалось: машина не останавливалась. Вовка озабоченно бросился к ней и быстро нажал какие-то кнопки. Машина защелкала уже другим, человеческим голосом, покрутилась немного и стала.

— Что это было? — с ужасом спросил корреспондент.

— Ничего особенного. Просто вы вогнали ее в бесконечность. На пульте ничего не было, стоял нуль. Вы нажали рычажок деления. А знаете, на нуль делить нельзя. Получается бесконечность. Вот она и начала считать. До бесконечности.

— А если бы вы ее не остановили?

— Так и считала бы. Вечно. Если бы, разумеется, раньше не испортилась.

— Как это неприятно, — сказал корреспондент.

— Пустяки, — сказал Критик. — Это у нас на дню по десять раз бывает.

«Вогнал в бесконечность», — записал корреспондент и спросил:

— А где же здесь электронные лампы?

Опять кто-то прыснул. Но Вовка был невозмутимо спокоен:

— Видите ли, в подобных машинах нет электронных ламп. Это обыкновенный арифмометр с электрическим

приводом и электрическим сдвигом каретки. Но если вас интересует настоящая электронная вычислительная машина, это можно устроить. Машина — в другом корпусе, туда нужен специальный пропуск, но я это сейчас сделаю. Подождите меня в кабинете профессора.

Вовка ушел. Корреспондент ждал в кабинете профессора. На стене висела картина. Лиловое, дымное небо, расколотое, как молнией, следом ракеты. Пустой берег моря с тяжелыми, пологими, серыми волнами. На камне сидит обезьяна, подперев лицо руками, и смотрит на светлый штрих — отражение следа ракеты в воде. В углу подпись: В. Лагинов. Вот так картина! Что бы это могло значить? Обезьяна предчувствует?..

Корреспондент поехал. Странные какие-то здесь люди. Все делают как будто не всерьез. Вот и этот, острозубый, с «молниями». Смеялся он надо мной, что ли? И другие...

На столе лежала рукопись. Из профессиональной деликатности корреспондент старался не смотреть в ту сторону. Но любопытство превозмогло, заглянул. Он увидел нечто необыкновенное, чистый лист бумаги и на нем, далеко друг от друга, отдельные слова:

отсюда

но если

то

и следовательно...

Сошел я с ума, что ли? Корреспондент приподнял страницу и заглянул дальше. Следующая страница была совсем пустая. И только в самом низу, неожиданно понятно, было написано:

«Итак, равенство (9.1) доказано».

Тут только он сообразил, в чем дело. Это был математический текст, отпечатанный на машинке, но в который еще не вписаны формулы.

А в соседней комнате шли разговоры. Через дверь он улавливал только обрывки. Тоже странные, вроде того сумасшедшего листа. Казалось, они говорили на каком-то совершенно чужом языке. По большей части он не понимал даже слов, а когда улавливал и понимал, они были претенциозные, вычурные, как та обезьяна.

— Ветви гиперболы, — сказал кто-то.

«Слишком цветисто», — подумал корреспондент.

## ЭЛЕКТРОННЫЙ МОЗГ

Он ожидал увидеть машину — большую, правда, но машину, с какими-то шестеренками, или, как они там называются, — ну, словом, вроде той машины, которую он «вогнал в бесконечность», только, конечно, побольше и с лампами. Может быть, даже в форме человека, робота. С лампами вместо глаз. Он ведь читал фантастические романы и знал, что такое робот — бездушное, стальное, немолимое существо с электронным мозгом. Но он твердо был убежден, что никогда машина не сможет полностью заменить человека. Не сможет, что бы ни говорили буржуазные ученые-идеалисты. Он даже по этому поводу однажды выступал на семинаре.

То, что он увидел, не было похоже ни на машину, ни на робота. У него вообще не было фигуры. Это просто был большой высокий зал с какими-то не то шкапами, не то стойками. Нет, пожалуй, больше всего это напоминало орган в Большом зале консерватории. Сразу много органов.

Машина работала: от нее веяло грозным теплом. Как от живого организма. Живо, зловеще, бесшумно переливались, мигая, желтоватые огоньки множества маленьких ламп. Каждая из них зажигалась и гасла, зажигалась

и гасла, и по всей поверхности огромных стоек ходуном ходила неслышная, мерцающая жизнь. Глаз у машины не было: она мигала всем лицом, всем телом. От пульта к пульта тихо двигались люди в синих халатах, изредка перебрасываясь беззвучными, короткими фразами. Машина не шелкала, не грохотала, но весь воздух вокруг нее был насыщен почти неслышным, тонким, как пыль, гудением.

Критик что-то объяснял, но корреспондент снова улавливал только обрывки фраз: «оперативная память», «долговременная память», «память на магнитном барабане» — и едва успевал записывать. Он уже устал.

«У этого — память, — думал он, — да еще на барабане. Дожили...»

— Электронный мозг, — сказал он, стараясь быть вежливым. — Удивительно интересно.

— Устарелый образец, — небрежно сказал Критик.

Когда они вернулись в лабораторию, Чиф уже приехал. Он встретил корреспондента с изысканной лобезностью, которая пахла даже не девятнадцатым, а восемнадцатым веком, и пропустил его в маленький кабинет.

— Чем могу быть полезен? — спросил он, раздвинув на столе локти и составив концами короткие красные пальцы.

...Корреспондент был в своем роде тоже поэт. Он многое видел и чувствовал. И вот сейчас, сидя напротив Лагинова, он жадно поглощал все, что видел. Еще нестарый человек, с малиново-красным лицом, с алюминиево-седыми, короткими и густыми волосами, сидел в кресле, глядя на свои пальцы и чуть-чуть улыбаясь. Это он нарисовал обезьяну. Он был непонятен, как те самые... «ветви гиперболы».

Сейчас надо задать какой-то вопрос, но корреспондент почему-то забыл все приготовленные с утра вопросы. Ка-

жется, он хотел спросить о машинах? Могут ли они заменить человека? Нет, не то. Ясно, не могут. О перспективах развития науки? О звездоплавании?

И вдруг, неожиданно и совсем тихо, Лагинов заговорил сам:

— Да. Многое меняется. Мир становится неузнаваем. Но не более ли удивительно другое? Не то, что меняется, а то, что вечно. Человек с его потребностями... Человечность... Любовь.

И замолчал. Несколько секунд оба молчали. Зазвонил телефон.

— Да, да, да, — говорил Лагинов. — Этого как раз я и ожидал. Видимо, при этих скоростях мы сталкиваемся с совершенно новыми явлениями. Новыми свойствами материи. Любопытно, крайне любопытно. Приеду, непременно приеду.

Он положил трубку и, забыв о посетителе, некоторое время смотрел перед собой остановившимися глазами. И вот такой, притихший, он почему-то был понятен. Сейчас за столом сидел усталый, очень немолодой, очень несчастливый человек. Но это продолжалось одно мгновение. Чиф встряхнулся, помолодел и снова стал непонятен.

Вечером корреспондент сидел дома и работал над статьей о лаборатории Лагинова. Все виденное стояло у него перед глазами: тяжелая голова Чифа, глубокие малиновые морщины и свежие голубые глаза; машина, дышащая теплом; воздух вокруг нее, дрожащий паутинным гулом; и тот острозубый, в «молниях» парень; и мимолетная, чуть асимметричная улыбка девушки, которая проводила его глазами. Сначала ему больше понравилась другая, блондинка. Но эта — лучше: как она улыбнулась, нагнувшись и чуть повернув голову над столом, а волосы лежали концами на книге...

Все это он видел, но это не имело никакого отношения к тому, что он собирался писать. Писать нужно было по

правилам. Уж он-то знал эти правила назубок. Когда он читал свои статьи, он даже сам зажмурился от удовольствия и дочитывал каждую фразу наизусть. Его словно качало на плавных волнах. Все так гладко и правильно, как будто давно и не раз читано. Именно эта гладкость, привычность и была его особым щегольством. Ведь, танцуя салонные танцы, вовсе не нужно проявлять оригинальности: надо уметь выполнять установленные па. Писать иначе было бы просто неприлично, все равно как если бы на гладком паркете среди танцующих пар какой-нибудь оборкот стал прохаживаться вразвалку, даже почесываясь.

Корреспондент писал статью со сновровкой, быстро, технично, почти без помарок:

«...Хмурый октябрьский денек. Деревья уже растеряли свои листья, на улице пасмурно. Но в 10-й лаборатории предприятия, где начальником т. Н., — светло. Светло особым светом духовности, напряженной работы...»

Слова скользят по теме, как перо по бумаге:

«— Отныне, — горячо сказал молодой, талантливый ученый, кандидат технических наук В. А. Климов, — нет невыполнимых задач, непосильных проблем. Наша электронная вычислительная машина, выполняющая восемь тысяч операций в секунду, одна может заменить целую армию вычислителей.

Климов говорит искренне, увлеченно. В его глазах...»

(«Гм, его глаза... А все-таки: смеялся он или не смеялся?»)

«...Гудит машина («напрягая электронный мозг», вставил было корреспондент, но вычеркнул. Черт его знает, напрягается он или не напрягается?). Вспыхивают и гаснут лампочки умных приборов. У приборов — люди в синих халатах. Ритмично, слаженно работает весь коллектив, начиная с директора и кончая вахтером.

— Нам, советским ученым, предоставлены все творческие возможности, — сказал в дружеской беседе заведую-



щий лабораторией, член-корреспондент Академии наук, заслуженный деятель науки и техники, профессор В. В. Лагинов. — Только твори, только дерзай.

Профессор уже не молод, но его глаза светятся юношеским задором, неумной энергией...»

На миг перед корреспондентом снова мелькнуло живое, малиновое, с яркими глазами, усталое лицо человека за письменным столом, под странной обезьяной. Над этим стоило подумать, потом. К тому, что он делал сейчас, это не имело отношения. Он танцевал.

## РАЗНОЕ

Проводив корреспондента, молодой талантливый ученый В. А. Климов вернулся в лабораторию. Ему почему-то было немного стыдно. И действительно, его осудили.

— И очень глупо, — сказала Зинка. — Зачем нужно было его разыгрывать? Ведь он тоже человек и не виноват, что никогда не видел машину. Может, его вообще направили сюда по ошибке, а он специалист по кукурузе... А ты: алгоритм. Хорош бы ты был, если бы он и правда попросил тебя извлечь корень. И не знаю, кто из вас хихикал, но только это было хулиганство.

— Хихикал я, — заявил Каюк, — и не раскаиваюсь. В самом деле, что он за специалист? По чему бы то ни было. Смешно даже. Мы сами не хуже его могли бы написать про себя в газете. Да что я: не хуже. Лучше, в миллион раз.

— А кто тебе мешает? Возьми да и напиши.

— Некогда мне.

— Все так говорят: некогда. А ты ночью попробуй напиши. Пари держу, что ничего не выйдет.

Женя Стрельцов молчал и думал. «Я могу, — думал

он. — Я еще буду писать. Я о вас напишу, товарищи вы мои, чудесные мои люди. И все вас увидят, как я вас вижу, и все вас полюбят, как я вас люблю».

Все еще чувствуя себя не совсем ловко, Критик свистнул «молниями» и пошел в фоточулан за пленками. За столом кто-то сидел. Это оказался Вовка-умный.

— Чего ты? — спросил Критик.

Вовка-умный сидел, подперев лицо руками. В оранжевом свете лицо было особенно бледное, даже трагическое, и совсем черными были темные очки. Как черная полумаска на мертвом лице.

— Чего ты? — еще раз спросил Критик.

— Слушай, Володя, — нарочито-небрежно, даже как-то разухабисто сказал Вовка-умный, — у меня к тебе есть вопрос.

— Ну? Оформляй.

— Ну как бы это его оформить... Ну, в общем, я хотел спросить тебя про Клару. Какая она?

— Какая? Станный вопрос. Клара есть Клара.

— Тривиально. А есть А. Первый закон формальной логики. Нет, я не об этом. Я бы хотел получить информацию насчет... ну, наружности, что ли, — сказал Вовка-умный, отвернувшись и барабанил пальцами по лабораторному столу. — Расскажи мне, какая она.

У Критика что-то дрогнуло внутри. Даже в носу защищало. Фу-ты, ерунда какая. Хорошо еще, что темно. Странно, ему сейчас не пришло в голову, что Вовка все равно не мог бы его видеть.

— Какая она? Вполне кондиционная. Красивая, светлая. Большая.

— «Клара» — это и значит «светлая», — глухо сказал Вовка. — Нет, все-таки ты подробнее. Опиши мне ее так, чтобы я увидел.

— Ну, как тебе ее описать? Она похожа на три... на три розы сразу.

Темный, черный, исхлестанный дождем вечер. После кровью отвоёванного десятичасового рабочего дня лаборатория № 10 расходится по домам. На пустыре большие лужи, огни редких фонарей дрожат в них и качаются. Последними уходят Зинка и Вовка-критик. На Зинке — дождевик с капюшончиком, под дождем она — как маленькая девочка. С капюшончика на короткий нос падают капли.

Вовка идет рядом, засунув руки в карманы кожаной куртки. Темная гладкая голова не покрыта, под дождем он не ежится, не сутулится — идет прямо, будто и нет дождя.

— Слушай, Зина, — говорит Вовка, — я хочу сказать тебе нечто неоригинальное.

— Я знаю, Вова, — серьезно и спокойно отвечает Зинка. — Не надо говорить.

— Ну, ладно. Не буду говорить. Ты сама мне одно слово скажи.

— Одно слово? Ну, «нет».

Тут они помолчали. Снова заговорил Вовка:

— Я все понимаю, Зинка. Мы все догадывались, что у тебя что-то в прошлом. Но, может быть, когда-нибудь?..

— Дело не в прошлом, а в настоящем.

— Зинка, ты любишь кого-нибудь?

— Ну, да.

— Зинка, я знаю, что не имею права спрашивать кто и что. Я сам назову имя. А ты только скажешь — да или нет. Просто Вовка?

— Ну, да.

«Просто Вовка, просто Вовка», — думал Критик по пути домой, по привычке обходя лужи, по привычке не сутулясь под дождем. А сейчас ему хотелось именно сутулиться. Он шел и все спрашивал себя: почему именно просто Вовка? Губы шевелились и шептали: почему именно просто Вовка? Но, в сущности, он знал. Именно

потому, что «просто». Не щеголь, не скептик, не критик. Просто Вовка.

Просто Вовка — не кандидат, даже не инженер, а техник. Из себя невидный, худой паренек с якорьком на руке. Золотые руки. Когда его что-нибудь просили сделать, он улыбался и говорил: «Это можно». И улыбка у него открытая-открытая, как открытая дверь. Входите, это можно.

Зинка и просто Вовка. Он их часто видел вместе — и не догадывался. Никто не догадывался. Просто Вовка всегда собирал и налаживал Зинкины схемы, а она стояла рядом, объясняла, покусывая от нетерпения смуглые пальцы. Серьезная-серьезная.

Сегодня, идя домой под дождем, Вовка-критик, пожалуй, впервые почувствовал, что он не совсем настоящий. Зинка и просто Вовка. Это больно, но справедливо. Ничего, он еще будет настоящим.

## БОЛЬШОЙ ДЕНЬ

В жизни каждого человека бывают большие дни. Дни с большой буквы. И в жизни каждого коллектива (если он человек). Настал такой день и для десятой лаборатории. Большой день. Даже не будет преувеличением сказать: великий, хотя здесь и не любят таких слов.

В этот день никто по-настоящему не работал. Только ходили из угла в угол, собирались кучками и говорили почему-то полупшепотом. Сегодня им официально разрешено было оставаться на работе сколько угодно. Хоть на всю ночь.

Все были на местах, кроме Чифа. Чиф уехал куда-то за светло, кажется, на кошачью выставку — выставяать кота. Никто не удивлялся. Чиф — всегда особняком.

Женька-лирик весь этот день писал стихи: марал, перечкивал, переписывал, а когда к нему подходили — судо-

рожно переворачивал листок. То, что ему нужно было сказать, он видел — отчетливо, словно написанное черным по белому, но не мог прочитать, не мог записать на бумаге. Он бился, как жук об оконное стекло, — стучался и падал.

«Никто — и все. Вас было слишком много...» — писал он и зачеркивал. Не то.

«Никто — и все. Имен не знают ваших...»

И снова — не то. Снова вычеркивал.

В углу возился с приемником просто Вовка, налаживал, проверял. Приемник уже был давно налажен, а он все крутил рукоятки, переезжая через свист с одной волны на другую, время от времени ловя резкое чириканье морзянки, и тогда все почему-то вздрагивали.

Вовка-критик, более задумчивый, чем обычно, стоял, тыкая наугад в кнопки счетной машины и уже несколько раз вогнал ее в бесконечность. Ужасно медленно тянулся день. А Женька все писал: «Вы, физики, Вы лирики, поэты...» Плевался и зачеркивал.

Наконец, отчаявшись, испробовав десятки вариантов, решился и переписал, к черту, один. Может быть, даже наверное, не самый лучший. Но он больше не мог.

Он сам не знал, что у него получилось. Хорошо это или плохо. Скорее всего, плохо. Но все равно. Сегодня ночью, после «того», он прочтет стихи товарищам. Пусть смеются.

И вот — ночь.

Еще рано. По радио передают музыку. Странно, что в такую ночь передают музыку как всегда. А впрочем, отчего же. Ведь никто не знает. Почти никто. Завтра узнают все. Если только...

Нет, никакого «только»! Сигнал должен оборваться, должен. Оборвется — значит, попали, куда надо.

Теперь уже скоро. Полчаса до срока.

Просто Вовка, глядя на часы, крутит рукоятку. И вот в тишину врезались сигналы. Словно птица попискива-

ла: «пи-пи-пи-пи» — тонко и мерно. Четверть часа до срока.

Все встали с мест и стеснились у приемника. Четверть часа. Как их пережить, как переждать? А может быть, ничего не будет? Нет, невозможно.

Пять минут до срока.

Идут минуты, ползут, окаянные, каждая, как целая жизнь, и сердце сжато тисками, а сигналы все те же, птица попискивает себе. А ждать уже невозможно. Все стоят бледные, даже розовая Клара. А у Зинки губы светлее лица, а просто Вовка обнял Зинку, так и стоит, и рука с часами дрожит. В плечо ему вцепился Вовка-критик. А Вовка-умный закрыл глаза руками. Что он там видит? Может быть, ту самую, последнюю вспышку — последнее, что он видел вообще?

Две минуты... одна...

И тишина. Полная тишина.

.....

Свершилось. Нет, сделано.

.....

Женька стоял, держась за спинку стула, и вдруг ему нестерпимо захотелось стать на колени, тут же, рядом с приемником. Но нет, нельзя — стыдно. Он стал одним коленом на стул, а голову опустил на руки. Все молчали.

Вдруг Женька издал горлом какой-то дурацкий звук, выпрямился и вышел большими шагами. На стуле осталась сложенная бумажка.

Первым заговорил, конечно, Вовка-критик. Голос показался всем до боли обыкновенным. Чего они ждали?

— Нервы, — хмыкнул Критик. — Ну-ка посмотрим, что это за бумажку потерял Стрельцов.

Бумажка была со стихами, а стихи такие:

Никто — и все. Ваш подвиг безымянен.  
Вас слишком много. Вас нельзя назвать.

Нельзя. Вас не покажут на экране.  
Не будут вас поэты воспевать.

Да знают ли о вас они, поэты,  
Какие вы и кто из вас какой —  
Философы, насмешники, аскеты,  
Укрытые от мира — проходной?

Да знают ли поэты эти, кто вы  
И как бывает горек, груб и крут  
Ваш умственный, тяжелый и суровый —  
Суровее физического — труд?  
Что чувствуют они, поэты эти,  
Когда приходит ваш великий час?  
Они галдят и прыгают в газете,  
А я, читая, думаю о вас:

Вы, пахари, идущие за плугом  
По каторжной научной полосе,  
Немыслимые друг без друга,  
Вы, безымянные. Никто — и все.

Никто не смеялся. Напротив. Все как-то обидно молчали. Потом было краткое обсуждение.

— Высокопарно, — сказал один.

— Неточно, — сказал другой.

— Нет, товарищи, мне все-таки кажется, что в этом что-то есть.

— Твое замечание, Зинка, не несет информации. Если вещь существует, то в ней всегда что-нибудь есть.

Зазвонил телефон. Подошел Критик. Это говорил Чиф.

— Рад вас приветствовать, — сказал Чиф. — Как и полагается молодежи, вы празднуете. Это естественно. Это человечно. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что праздники существуют только у людей? Когда-нибудь, соперничая с Энгельсом, я напишу труд: «Роль праздника

в процессе очеловечивания обезьяны». Однако чем выше развит человек, тем меньше он связывает праздники с определенными днями. Он начинает видеть праздники в буднях.

— А как кот? — глухо спросил Вовка.

— Какой кот? Ах, да, вы о выставке. Благодарю. Получил серебряную медаль. Должен был получить золотую, но — интриги! Итак, приветствую вас. Не забудьте — завтра у нас будни. Поздравляю с буднями!



# РАССКАЗЫ

# БЕЗ УЛЫБОК

*Фантастический рассказ*

Заседание кончилось. Я им все сказала.

Может быть, слишком резко. Друзья мне советовали соблюдать осторожность. Нашли кому советовать! Не мое это дело, не мой талант. Вот Обтекаемый — тот осторожен. Он, верно, и родился-то осторожно: высунул голову и огляделся.

«Порочное направление в науке» — вот что мне ставилось в вину. Вот идиоты! В общем, осторожности я не соблюла, кое-кого из важных задела. Придется нести последствия. Ничего, снесу.

После душного зала, полного лицемерий, улица охватила свежестью, простотой. Вечер, уже не весенний, но еще и не летний, — он не опускался, как полагается вечеру, а взлетал. Ласточки чертили розовое небо. На этом небе меня поразили светло-изумрудные, кем-то рано и расточительно зажженные, фонари дневного света. Как могла бы быть прекрасна жизнь.

В метро я разглядывала людей. Они ехали сосредоточенно, чуть покачиваясь, прямо и резко освещенные сверху, отчего на каждом лице проступал костяк. Жесткая замкнутость отгораживала их друг от друга и от меня. Некоторые читали, многие казались усталыми. Рядом с ними, смягченные и украшенные голубишной темных окон, ехали их отражения, казавшиеся добрее, проще самих людей.

От конечной станции метро до моего дома можно ехать автобусом, можно идти пешком. Я пошла пешком. Ноги были тяжелы, но воздух прохладен, легок. Чужие окна светло сияли справа и слева. За каждым из них что-то происходило, чья-то жизнь, казавшаяся отсюда, из темноты, чудом уравновешенности и счастья. Розово-смуглое небо на западе еще светилось. Напротив глыбами громоздились темные тучи, оттуда подувал ветер, — возможно, ночью будет дождь. Майский жук ударился мне в щеку и стукнулся об асфальт.

Меня не покидало лицо Обтекаемого. Он выступал словно бы в мою пользу, но так, чтобы в любую минуту можно было все переиграть. Виртуоз двоедушия.

Дома, в пустой квартире, которую я каждый раз с удивлением нахожу пустой, хотя живу одна уже два года, пел холодильник, постукивала форточка, гуляли ночные звуки, заменяющие в новых домах сверчка: рассыхался паркет, вздыхали обои.

Что бы ни случилось — вот она, моя комната, моя постель, и над постелью, низкой звездой, неяркая лампа, при которой я читаю на ночь, без чего не могу заснуть уже много лет.

Что бы ни случилось — день проходит, наступает ночь, загорается низкая лампа-звезда, и вот я уже читаю, пирую. Отходит дневная, своя тревога, приходит другая тревога, чужая, ночная, и тревожит меня долго, иной раз — до утра, но чаще через час или два мысли милосердно слипаются и можно погасить свет, вытянуть ноги, спать.

С годами у меня постепенно пропал интерес ко всему сочиненному, зато обострился интерес к подлинному. Вместо романов меня провожают ко сну мемуары, дневники, письма, стенографические отчеты. Может быть, это возрастная болезнь, я замечала ее у многих пожилых, сильно занятых, читающих людей. Слово «читающие» я здесь употребляю как «курящие».

Однажды я спросила об этом своего друга, Худого.

— Послушайте, а с вами так не происходит, что все меньше тянет на художественную литературу и все больше — на документ?

— Ого, еще как! — ответил Худой и улыбнулся обтянутым своим лицом.

— А почему бы это?

Худой подумал и сказал, очень серьезно:

— Процент правды больше.

Процент правды. Именно так. Спасибо, Худой.

Я читаю книги кубометрами, как кит, всасывающий морскую воду и почти всю ее выпускающий обратно, чтобы оставить внутри, на усах, самую малость того, чем он питается, — процент правды.

Раньше, в молодости, меня интересовало вымышленное. Теперь меня больше интересует вымысливший. Что заставило его, писателя, вымыслить это, а не что-то другое? И вообще как он жил? Как вставал по утрам, с трудом приподнимая с постели и ставя на коврик свои, возможно, отекавшие ноги? Как одевался, садился за стол, надламывал хлеб? Кто сметал со стола крошки?

Или не писатель — пусть актер. И не какой-нибудь всемирно известный, Боже сохрани, а заурядный, провинциальный, который всего-то и был знаменит, что одним талантливым вскриком в одном месте одной роли. Этот вскрик сохранился в одной строке одной книги, скажем «Страницы былого», — так любят называться воспоминания, — и строка вскрикивает голосом давно умершего актера и потрясает меня, и я готова поцеловать книгу.

А может быть, дело не только в проценте правды, а еще и в другом — в игре? С возрастом пропадает потребность к игре и умение играть. Молодой котенок все время играет. Пожилой кот только щурится, подогнув лапы, на бумажный бантик.

У некоторых способность к игре сохраняется дольше; у нас с Худым она угасла сравнительно рано.

Я вообще мало способна к играм. Например, шахматы. Пробовала — не могу. И не по какой-нибудь особой глупости — просто не удастся принять всерьез условия игры, или, как у нас говорят, УИ.

Так и во всем. Скажем, в литературе. Многие любят детектив, научную фантастику, я — нет. Не принимаю УИ.

И всюду меня преследуют УИ, и всюду я их не понимаю. Есть специальные УИ для научных статей, для брака, для похорон, юбилеев. Я никогда ими не могла овладеть. Может быть, этим я себя обеднила. Если УИ существуют, тем самым они заслуживают внимания, а значит, изучения. Моя по отношению к ним чисто отрицательная, нигилистическая позиция слишком эмоциональна и недостойна научного работника.

«Не смеяться, не плакать, только понимать», — сказал Спиноза. Правильно, но для меня, увы, невозможно.

Вероятно, во многих отношениях мне просто не хватает ума.

Нет, не того элементарного, торгового ума, которым в избытке наделен Обтекаемый. Не дай мне Бог такого ума. Гораздо больше меня привлекает скорбный, иронический ум Худого. Но и с ним я бы не поменялась, нет. Этот ум слишком, я бы сказала, дистиллирован. В нем не хватает жизненных примесей. В каждом умном человеке, по-моему, должно быть чуточку дурака. Я знаю Худого много лет, но так и не могла обнаружить в нем дурака. Или его вообще нет, или он очень глубоко запрятан.

Зато во мне дурака более чем достаточно. Из нас двоих с Худым, пожалуй, можно было бы составить одного умного человека...

А Обтекаемый...

Фу-ты, наваждение. Передо мной опять возник очень реальный образ Обтекаемого, по грудь срезанный кафедрой, — его гладкое, миловидное лицо, мягкая прядь заче-

санных набок, почти без седины, волос. Этому лицу противоречили, были на нем почти неприличными старческие мешочки в углах щек. Такому лицу надо было быть вечно, осторожно, неуязвимо молодым. То, что оно слегка поддавалось времени, как бы дало вмятину, нарушало его благопристойную завершенность.

Обтекаемый — глава нашего сегмента. До сих пор он был довольно удобным главой, работать не мешал. Меня он поддерживал, даже рекламировал, но на этом собрании понял, что дал маху. Он еще не отступил, но расчистил площадку для отступления. Его лицо выражало сожаление обо мне, а главное — о себе, о своем промахе.

Однако эти мысли были сейчас ни к чему, с ними не зашнешь. Усилием воли я прогнала Обтекаемого и стала читать.

В эту ночь мне повезло: со мной оказался том «Русской старины» за 1875 г. Такие редкости мне достает в Книгоцентре наша рыжая Информаня, милая душа, дай Бог ей хорошего мальчика. В томе оказался дневник Вильгельма Кюхельбекера, декабриста, поэта, писанный им в крепости Свеаборг в 1831—1832 гг.

Дневнику предпослана краткая история. После события, которое «Русская старина» уклончиво именует «роковым 14-м декабря» или «смутой 14-го декабря», Кюхельбекеру удалось скрыться. Арестовали его в Варшаве, в январе 1826 г., и заточили в один из казематов Петропавловской крепости. Оттуда вскоре перевели в Шлиссельбургскую, затем в Динабургскую.

«Первое время своего заточения, — пишет «Русская старина», — когда ему не давали еще пера и чернил, Кюхельбекер слагал стихи на память и заучивал их, ходя из угла в угол по своей тюрьме».

Крепость за крепостью. Динабургская — пять лет. Затем — Ревельская цитадель и, наконец, Свеаборг. Здесь

Кюхельбекер содержался до конца 1835 г., отбыв, таким образом, десять лет одиночного заключения из пятнадцати, положенных по приговору.

«Великий князь Михаил Павлович, — сообщает «Русская старина», — исходатайствовал сокращение срока заключения Кюхельбекера на пять лет... В конце декабря 1835 г. он был отправлен на поселение в Восточную Сибирь, в город Баргузин... Великий князь Михаил Павлович прислал узнику прекрасную медвежью шубу, в которой он совершил многие тысячи верст пути от Свеаборга до Баргузина».

Дневник Кюхельбекера начинается в декабре 1831 г., стало быть, после шести лет казематов. Прекрасная медвежья шуба и не маячила впереди. Узник твердо рассчитывал еще на девять лет заточения.

Свеабургский дневник видится мне певчей птицей, севшей где-то на рубеже шести и девяти лет могилы и поющей, поющей, несмотря ни на что.

О чем пишет узник? О поэме эпической. О Шиллере, Байроне, Гёте, Гомере. О поэме Пушкина «Евгений Онегин» — не признаёт ее вечным произведением. О юморе. О смысле слова «цевница»...

### 29-го января

Есть некоторые слова, насчет которых я бы очень хотел справиться с академическим словарем, например: цевница. Я долго употреблял это слово в значении музыкального струнного орудия; Пушкин, напротив, придает ему значение орудия духового, флейты, свирели. Не помню где, а только в сочинениях писателя Екатеринина века, на котором, казалось, можно опереться, нашел я это слово во втором значении и стал полагать, что Пушкин прав. Теперь же возвращаюсь к прежнему моему мнению, основываясь на славянском тексте пр. Иеремии: «того ради сердце Моава, яко цевница, звяцати будет»... Свирель или

флейта никогда не звяцали; вдобавок самый смысл уподобления говорит в пользу моего первого мнения.

Я читала дневник жадно, как дети, прибежав со двора, пьют воду, булькая каждым глотком. Обтекаемый с его милостью исчез, провалился в небытие, ерунда, вторичный мусор.

Половину ночи я читала, а потом спала, и снился мне сад.

Обдумывать положение я начала только утром. Будильник новой, щадящей конструкции (перед тем как начать трезвон, он некоторое время мелодично позвякивает) нежным своим голосом вывел меня из сна и из сада, так что первые звоночки были еще в саду, и только последние здесь, в грубой действительности. К тому времени, как будильник закончил подготовку и заорал во всю мочь, я уже была полностью здесь и все осознала. Ну что ж, повоюем. Обтекаемый беспокоил меня, как моль. В Институт идти не хотелось, но надо было, и я пошла, предварительно вдоволь намешкавшись за мытьем, одеванием, чаем да и просто сидением с руками между колен.

Едва переступив порог Института, я уже поняла, что все изменилось. Раньше, сама того не замечая, я жила в мире улыбок. И вот за одну ночь они пропали. Почти все. Только какие-то две-три улыбки встретились мне в коридоре. С отвращением я заметила, что считаю улыбки.

В Официальной мне сказали, что по моему делу назначена Комиссия; обсуждение — через неделю. Девушки были огорчены и полны сочувствия, несмотря на неизбежный элемент радости, с которой каждый из нас сообщает новость, пусть неприятную. Чистая радость обладания Информацией.

Что ж, Комиссия так Комиссия. Внешне я и глазом не моргнула, только пальцы ног поджались, словно змея поползла.



Знать бы мне, что за этим всем стоит? Что и кто?

Хуже всего, что целую неделю оставалось ждать. Ждать вообще трудно, ждать плохого — отвратительно. Пусть бы оно было еще плоше, лишь бы скорей. Эта неделя не шла, а вязла, застревала, цеплялась всеми своими подробностями. И работа, как на грех, не ладилась.

— Не надо нервничать, работайте спокойно, — сказал мне Седовласый, поглаживая жилетку.

Я посмотрела на него с ненавистью. Как-то он мне противен стал весь, со своими большими, чистыми ушами, с загнутой бородой, с тягучей речью, полной придаточных предложений. Старый интеллигент с душой молодого труса.

Всю эту неделю я ходила в институт с упорством маятника, хотя могла бы и не ходить. Могла бы сказать, что пойду в Криостатику или еще куда-нибудь. Могла бы и просто не прийти, никто бы с меня не взыскал. Но я ходила. По-прежнему я считала улыбки — их с каждым днем становилось меньше. Или мне так казалось? Нет, улыбки действительно убывали. Я смотрела на встречных очень внимательно — они не улыбались. Одни делали вид, что не туда идут. Другие юлили глазами, чтобы не поздороваться. Третьи здоровались, но не улыбались. Очень немногие улыбались, но принужденно — половиной рта.

А как они мне нужны были, улыбки! Раньше я их не замечала, жила в них как рыба в воде. Теперь я тоже была рыба, но на песке, и шевелила иссохшими жабрами. Жабрами я выпрашивала улыбки, вымаливала, вымогала. Чтобы этого никто не заметил, я напускала на себя надменность. На поклоны я отвечала чем-то вроде обратного кивка, не опуская подбородок, а вздергивая его вверх.

Иной раз на лицах встречных мне чудилось сочувствие, желание подойти. Мимо таких я проходила с той же чопорностью, страшась ее разрушить: она была моя опора и была хрупка. Кто знает, мимо скольких возможных друзей прошла я со своим обратным кивком?

Особенно неприятно было встречать Обтекаемого. Все эти дни он словно не выходил из коридора и встречался мне на каждом шагу. Всякий раз он кланялся подчеркнуто-вежливо, с той проникновенной грустью, с какой верующие прикладываются к плащанице.

Все же я не была одинока. У меня было три друга: Худой, Черный и Лысый. Про Худого речь уже шла, а Черный и Лысый тоже были друзья. Когда-то мы работали вместе, теперь разошлись по разным фасциям, но дружба сохранилась. Все трое пришли ко мне сразу после происшествия, и все готовы были поддержать меня, если понадобится. Их озабоченность неприятно меня поразила. Нет, я еще, слава Богу, не тону. Я им сказала:

— Не знаю за собой никакой вины; но боюсь за тех, которые были ко мне сострадательны: ужасно подумать, что они за человеколюбие свое могут получить неприятности.

Черный и Лысый поглядели на меня как на безумную. Худой спросил:

— Откуда это?

— Дневник Кюхельбекера, — ответила я.

— Дайте почитать, — жадно сказал он.

— Так уж и быть, когда кончу.

Тут на меня напал смех: такие у них были похоронные лица.

— Братцы, что это вы меня отпеваете? Ничего, собственно, не происходит. Ну, Комиссия. Ну, Обсуждение. Знаю, что вони будет много, но от вони не умирают.

— Задыхаются, — сказал Худой.

— Не размагничивай! — упрекнул его Лысый.

— В любом случае рассчитывайте на нас, — сказал Черный.

— Там видно будет.

Любя их, я была суха; они все трое постояли, сочувствуя, и ушли.

А дневник Кюхельбекера я читала каждый вечер перед сном и все не могла с ним расстаться: кончала и начинала снова.

Заклоченный жил. Он рассуждал об искусстве, науке, религии, наблюдал сцены на тюремном плацу. Изучал греческий. Писал стихи.

Кюхельбекеру как поэту, не повезло; его стихи дружно осмеяны литературной традицией, начиная с пушкинского:

Вильгельм, прочти свои стихи,  
Чтоб нам уснуть скорее.

Мне, напротив, эти стихи не давали спать, звуча во мне каким-то дымным, страшным, смутным строем. Отдельные строки были положительно прекрасны:

Но солнцев сонм, катящихся над нами,  
Вовеки на весах любви святой  
Не взвесить ни одной душе живой:  
Не весит Вечный нашими весами...

И почти ни слова — о своей судьбе. О своих страданиях. О надеждах — их нет. Только в одном-двух местах вдруг прорвется подобное воплю: «Боже мой! Когда конец? Когда конец моим испытаниям?» А дальше — опять спокойствие, размышление, стихи, сны.

### 12-го января

С неделю у меня чрезвычайно живые сны: прошедшую ночь я летал или, лучше сказать, шагал по воздуху, — этот сон с разными изменениями у меня бывает довольно часто; но сегодня я видел во сне ужасы и так живо, что вообразить нельзя. Всего мне приятнее, когда мне снятся дети: я тогда чрезвычайно счастлив и с ними становлюсь сам дитятей.

Как это верно, что светлые сны помогают жить! Мне, например, снился сад: зеленый, сочный, разнообразный, с крупным гравием на влажных дорожках, где отпечатывались чьи-то следы — никто по дорожкам не шел, но следы возникали сами собой. Сон оставался со мной все утро и окончательно пропадал только в Институте. Дни мои были заполнены бесплодными размышлениями. Я проводила их не в Аппаратной, где была моя точка, а в Обмоточной. Здесь было меньше народу, только двое мотали и не обращали на меня внимания, может быть, даже и не слышали о моем деле. Я брала с собой пачку журналов и просматривала — работа почти механическая, вроде вязанья на спицах. Или же я рисовала лабиринты тропинок, ветвящиеся схемы, со знаком вопроса в конце каждого тупика. Я думала. Я делала смотр войскам. Немного их, честно говоря. Обтекаемый продаст, уже продал. Хлопотливая ушла в декретный отпуск — всегда это у нее некстати. Были еще два ученика — Первый и Второй. Первый — более ориентирован, талантлив. Второй — молод и малознающ, легко сбить. Друзей я решила не привлекать. Придут сами — их дело.

Я представляла себе, как обернется Обсуждение, что они скажут, что я им отвечу. Если так — то так. «Факты, — скажу я, — не могут быть порочными, и вот мои факты». Нет, не так. Надо их просто высмеять, вот что надо. В воображении я их высмеивала. Я произносила речи, не ограниченные регламентом. К счастью, речи я произносила только днем. По ночам я спала, и каждую ночь мне снился сад.

Назначенный день пришел наконец, начавшись дождем и прохладой. Обсуждение состоится в четыре часа — в 16.00, как было написано в повестке. Утро я просидела дома, опять читая свеаборгский дневник.

## 15-го августа

Сегодня я был свидетелем сцены, подобной той, которая забавляла меня 23-го июля, а именно: хохотал, глядя, как котенок заигрывает со старою курицею: котенок рассыпался перед нею мелким бесом, — забежит то с одной, то с другой стороны, подползет, спрячется, выпрыгнет, опять спрячется, даже раза два со всевозможною осторожностью и вежливостью гладил ее лапою; но философка-курица с стоическою твердостью подбирала зернышко за зернышком и не обращала никакого внимания на пролаза. За это равнодушие и увенчалась она совершенным торжеством: всякий раз, когда ветер вздувал ее очень ненарядные перья, господин котенок, вероятно полагая, что она намерена проучить его за нахальство, обращался в постыдное бегство; но великодушная курица столь же мало примечала побед своих, сколь пренебрегала своим трусливым и вместе дерзким неприятелем; она и не взглядывала на него, не оборачивала и головы к нему, она была занята гораздо важнейшим: зернышки для нее были тем же, что для Архимеда математические выкладки, за которыми убил его римский воин.

Мне бы такой курицей, а?

Однако пора было уже собираться. Я оделась со всякою тщательностью, как на праздник. Эх, хорошо бы быть сегодня красивой; к сожалению, это уже невозможно. Волноваться было незачем, на всякий случай я приняла две таблетки квиетазина и еще две — веселые, зелененькие — взяла с собой. Сумка, карандаш, блокнот, папиросы.

В третьем часу позвонил Черный и сказал, что ни ему, ни двум другим (Лысому и Худому) присутствовать не разрешили.

- Почему? — спросила я сухим ртом.
- Говорят, мы не специалисты.
- Ерунда! Как будто там будут одни специалисты.
- А вы позвоните председателю, чтобы нас пустили.

Он назвал номер.

— Я звонить не буду.

— Почему? Разве вы не хотите, чтобы мы пришли?

— Не хочу.

Вышло грубо. Черный обиделся и повесил трубку.

Эх, зря. Объяснить бы ему... Но сперва надо было объяснить себе самой: почему я не хочу, чтобы они пришли?

Почему?

Я размышляла об этом всю дорогу в Институт.

В автобусе было тесно. Сумку мою зажали между двух спин, я была зла и готова кусаться. Близко дышащие чужие рты наводили мысль об инфекции. «Вот оно, — думала я, — все дело в инфекционности. Я — как заразный больной, не хочу, чтобы от меня заражались. Буду стараться чихать мимо...»

В метро было просторнее, и мысли переменялись. Теперь мне казалось: причина в том, что они, все трое, не сотрудники мои, а друзья. Они вступились бы за меня, потому что это я, и за мое Дело, потому, что это мое Дело. Такой заступы не надо ни мне, ни Делу. Значит, все к лучшему. Выходило резонно и даже благородно.

Только подходя к Институту, я поняла, что это все чушь, что ничего не к лучшему и, в сущности, я хочу, чтобы они пришли.

Ах ты, глупость человеческая!

В большом зале Совета со сметанно-белыми, лепными потолками было свежо, я сразу озябла. Черт меня надоумил одеться по-летнему. Высокие, стройные окна были открыты, из них струился ветер и колебал кожаные листья фикусов. Эти фикусы — гордость Института — росли здесь с незапамятных времен, огромные, древовидные, отлично ухоженные, каждый лист, как лодка. Заседания Совета происходили как бы в саду. Раньше мне это нравилось, а сейчас — нет. Мне не хотелось, чтобы меня прорабаты-

вали в саду. Пусть бы это была обыкновенная комната с казенной мебелью, с инвентарными номерками на столах и стульях. Впрочем, присмотревшись, я увидела, что и здесь были инвентарные номерки: на каждой кадке с фикусом светлела овальная бляшка. Это меня как-то утешило. Однако ветер дул слишком сильно; волоски на голых руках встали у меня дыбом, каждый на своем пупырышке, и я боялась, что кто-нибудь это заметит. Лучше бы закрыть эти окна. Я подошла к ближайшему окну и вступила в борьбу со шпингалетами. Массивные бронзовые шпингалеты с петушьими головами — сама старина! — поворачивались с трудом. На третьем шпингалете подскочил Обтекаемый:

— Что ж это вы сами, М. М., как не стыдно? Крутом столько мужчин...

И в самом деле, мужчин было много. Я отступила. Обтекаемый с рыцарским видом, взгромоздясь на стул, орудовал шпингалетами.

Члены Комиссии собирались не спеша. Дворцовые часы с музыкой (нечто вроде «Коль славен») давно пробили четыре, а члены все шли. Они здоровались друг с другом с тихой торжественностью, подобающей моменту, и рассаживались по местам. Перед тем как сесть, каждый отвешивал поклон в моем направлении. В четверть пятого часы опять развели музыку, а члены все шли. В таком саду, полном перезвонов, должны были бы бить фонтаны. Мужчины все прибывали, теперь их было человек сорок, может быть, меньше, потому, что некоторые двоились.

Позже всех вошел председатель Комиссии — желтолицый гном с маленьким лицом эмбриона, потерянном и, пожалуй, огорченным под круглым, отечным черепом, начисто лишенным растительности.

— Товарищи, — сказал Гном, — поскольку имеется, так сказать, кворум из числа Комиссии и приглашенных лиц, разрешите мне открыть заседание. На повестке дня...

Вступительную речь я почти не слушала. Я знала ее заранее. Каждую фразу я бы могла за него произнести. Это были УИ (условия игры) в чистом виде, без тонкостей. Во рту у меня было сухо, и мною постепенно овладевало тяжкое чувство полета. Оно несло меня над фикусами, над низко склоненными, завитыми головами двух стенографисток. Как бы сверху, в ракурсе, я видела лица Комиссии и приглашенных. Это были очень серьезные, я бы сказала, бесстрастные лица. Оживленным было только одно лицо — Раздутого. Он очень активно сидел, даже не сидел, а гарцевал на стуле, подскакивая, порываясь в бой. Все в нем говорило: толстые руки, отвисшее свиное лицо, деятельный живот, пальцы, выбивавшие дробь по обочине стула.

— Конечно, мы все уважаем М. М., как давнего и заслуженного члена нашего коллектива... — сказал Гном.

— Нечего золотить пилюлю, — крикнул Раздутый, подскочив сантиметров на десять. — Уважение тут ни при чем!

— Мы очень уважаем М. М., но... — невозмутимо продолжал Гном.

— Говорите про себя, — крикнул Раздутый. — Лично я ее не уважаю. Она сама себя поставила вне уважения!

— Вам будет предоставлено слово, — спокойно сказал Гном.

Раздутый замолчал, но тело его продолжало разговаривать.

Спустя минут десять Гном закончил вводную и возгласил:

— Товарищи, кто желает выступить?

Поднялось несколько рук. Разумеется, среди них — толстая, усердная рука Раздутого. Она даже содрогалась от рвения. Однако первое слово дали не ему, а Обтекаемому.

Обтекаемый не говорил, а вычислял. Это не был тот грубый стандарт, в котором работал, скажем, Гном: это был



стандарт высшего уровня, сорт экстра. Для неискушенного ума он даже мог прозвучать чистосердечно, со слезой в голосе на высоких словах. Артист, что и говорить! Артистизм сказывался еще и в том, как он умел каждую фразу подпереть оговорками, чтобы в случае чего... Общий тон был взят чрезвычайно мягкий. В музыке это, вероятно, обозначалось бы «*dolce, con pietá*» (нежно оплакивая).

— Вы не финтите! — крикнул Раздутый со своего стула, готового под ним взорваться. — Говорите прямо, без интеллигентской размазни, осуждаете вы или нет это возмутительное, это беспре... это беспрецен...

В слове «беспрецедентное» он, конечно, запутался. «Эх, приятель, — думала я, — проходил ты всю жизнь не в своей одежде...»

— Беспрецен... — упорствовал Раздутый.

Я поймала несколько робких улыбок.

— Товарищи могут скалить зубы, — завопил Раздутый. — Посмотрим, кто будет скалить зубы последним!

Улыбки утасли.

— Разумеется, — достойно и грустно сказал Гном, — мы все сожалеем...

— Не сожалеем, а возмущаемся, — четко сказал Крошечный.

Только тогда я обратила на него внимание. Он сидел смиренно, симметрично, как статуя фараона, торчком держа на коленях стоячий портфель. Крашенные волосы росли у него низко, от самых бровей, грозно расходясь в стороны и слегка нависая.

Обтекаемый смутился, выпал из тона и кое-как, скомкав, закончил выступление. Под железным взглядом Крошечного не было спасения даже в криводушии.

Потом слово наконец-то дали Раздутому. Он поднялся, окруженный, как воздушный шар оболочкой, отвисшим своим животом, и устремил на меня толстый палец. Этот палец, направленный прямо мне в лицо, казался в конце

толще, чем в начале, как это бывает на фотографии, снятой с близкого расстояния.

— Она... — кричал Раздутый.

Он уже был накален, а теперь калился добела. Он кричал напряженно, цветисто, по-своему красноречиво, по-своему талантливо. Он страдал. Он потел. Он обливался потом. Негодование шло из него под давлением в несколько сот атмосфер.

Толстый в конце палец магнетизировал меня, казался устремленным прямо в мозг, где, кто его знает, может быть, и гнездилась смертоносная опухоль. Я слушала, и тяжкое чувство полета росло. В ушах сверлили какие-то дрели. Внешне я держалась спокойно, только иногда вздрагивала.

— Она... — кричал Раздутый, и я вздрагивала, как от удара кнутом, от этого местоимения женского рода, третьего лица, единственного числа.

«В чем дело? — размышляла я в промежутках. — Наверно, в изнеженности. Про меня до сих пор никто не говорил «она». Говорили «М. М.», или, чаще: «уважаемая М. М.», или, еще чаще, «наша уважаемая М. М.»...

— Она... — опять кричал Раздутый, а я вздрагивала, как лошадь, всей кожей.

«Почему председатель его не остановит? — думала я в тупом изумлении. — Впрочем, может быть, ни он, ни Раздутый не понимают, что это оскорбительно. Откуда им знать, как себя чувствует женщина, про которую говорят, про которую кричат просто «она», словно ее вывели для телесного наказания на площадь перед кабаком... Может быть, никто из них не понимает?»

Я огляделась, ища на лицах какое-нибудь отношение. Нет, отношения не было. Разве один, сидевший с краю в кресле, — этот казался вполне довольным. Красный, крепкий, он сидел вольготно, расставив ноги, уперев руки в колени, согнув локти таким кренделем. Он наслаж-

дался. Он купался в происходившем. Он кивал одобрительно. Его я не знала, видно, он был прислан откуда-то со стороны.

А Раздутый кричал, весь вибрируя от напряжения. Теперь я понимала, зачем он кричал. Криком он загонял себя в искренность. Чем громче он кричал, тем больше верил в свои слова. С «я» он уже перешел на «мы». Видно было, как это разросшееся «мы» тычет в меня пальцем, делая вид, что его много, и пальцев много, целые миллионы, и все как один.

Дрели в ушах сверлили жестоко. Впору было согнуться, искать убежища под столом. «Только бы выдержать», — думала я. Украдкой я вынула запасную таблетку и проглотила, неловко ворочая языком. Не помогло, только стало еще суше во рту, и тяжелое чувство полета превратилось в сознание, что я в каком-то смысле хожу по потолку. Я закрыла глаза, чтобы не обрушиться. Кто-то сзади тронул меня за плечо. Я обернулась и увидела дружеские, явно сочувствующие глаза. Тронувшего я знала слегка: он работал где-то в отдаленном транзистории. Я улыбнулась ему как другу. Он нагнулся к моему уху и что-то зашептал. Поначалу я не поняла.

— Громче, — сказала я. — У меня шум в ушах.

— Разорвется, — громче зашептал Тронувший, — а само хорошо. Моральный разложенец-рецидивист. Знаете, мне говорили...

Я стряхнула Тронувшего, как муху. Я повернулась обратно к Пальцу и стойко смотрела на него до конца. Конец наступил внезапно. Раздутый умолк и опустился сразу, как будто в нем сделался прокол и из него вышел воздух. Тяжело дыша и двумя платками вытирая пот, он обвис по обе стороны стула. Уже сев и отираясь, он что-то вспомнил, подскочил снова и крикнул, еще небывалым фальцетом:

— Я ей советую: откажитесь печатно от своих работ! Это будет благородный поступок.

И сел, уже окончательно. В поте лица добыл свой хлеб.

Дальше во мне все как-то спуталось. Я не помню уже, кто выступал и как. Помню, что меня ругали, с каким-то удивившим меня ожесточением, те самые, что улыбались мне ежедневно. Естественно: иначе их бы не назначили в Комиссию... Но я уже не слушала. Я была занята своими ушами. С ними что-то творилось неладное: то я начисто глохла, то вдруг начинала слышать обостренно-громко, так что маленькие часики у меня на руке тикали башенным боем, разыгрывая «Коль славен». Когда я глохла, люди действовали, как в немом кино: они шевелили ртами, будто жевали, и делали несообразные жесты. Под ними мучительно не хватало титров. Потом я поняла, что титры можно привообразить, и дело пошло. Они говорили, я их подтитровывала. Ориентиром мне служило лицо того, красного, который сидел кренделем. Он сидел в кресле, как в тарелке, как в своей тарелке, и кивал с добродушием, из чего было ясно: все в порядке, ругают.

Я была в одном из приступов глухоты, когда начал говорить Белокурый. Он был неизвестен мне, высок, прям, сухонос, гладко и редко причесан. Он встал, по колено в людях. Глухота моя была неполной: сквозь нее было слышно, что голос Белокурого высок и назойлив. На титрах я читала, как он меня поносит, какими учтивыми, припомаженными словами. Тем временем в ушах звучали уже не дрели, а оркестровые тарелки: бамм! — и щщщ... бамм! — и щщщ... — со свистящим дребезгом в конце каждого удара, который похож на звук «щ», если протянуть его как гласную. Бежали ругательные титры. На всякий случай я опять сверилась по Кренделю. Удивительно, он не казался таким уж довольным! Он изменил позу, снял руки с колен, он уже не был похож на крендель. Вдруг по его красному лицу прокатилась снизу вверх кожная складка, из которой я поняла, что Белокурый вовсе не ругает меня, что он говорит — за!

«Слуху мне, слуху!» — взмолилась я, глядя в лицо Белокурому. И вот — чудеса! — тарелки утихли, глухота поредела, и ясно прорезался высокий голос, говоривший «за». Он не был назойлив, наоборот, спокоен и точен, с той джентльменской сдержанностью по отношению к оппонентам, которой владеет одна правота.

Но кто же он, откуда? В словах Белокурого я узнавала собственные свои, родные мысли, но лучше, совершеннее, — свободные от бабьей эмоциональности, с которой я, увы, не могу развязаться. Я смотрела ему в рот.

Председательствующий поднял руку с часами и сказал: «Регламент».

— Сейчас кончаю, — ответил Белокурый, — но мне казалось, что другие ораторы говорили больше.

— Лишить слова! — крикнул Раздутый.

— Регламент, регламент! — закричали многие.

Белокурый пожал плечами, улыбнулся и замолчал.

Ах, мне было невыносимо, что ему не дали договорить! Не из-за себя, ей-богу, нет! Чего стоили все эти склоки по сравнению с научной истиной! Нет, мне до зарезу надо было знать, что он, то есть я сама, думаю по одному вопросу, по которому я еще не имела мнения... Ах ты, Боже мой...

— А кто пригласил этого товарища? Мы его не звали, — могильным голосом сказал Кромешный.

— Не волнуйтесь, я уйду.

Белокурый повернулся к залу высокой спиной, собрал со своего стула какие-то вещи и двинулся к выходу.

...Сейчас он уйдет, я так и не узнаю, что я думаю по этому вопросу! Я вскочила, забормотала, простирая руки, именно простирая, в сторону двери. Змеиный взгляд Кромешного уставился на меня — я это чувствовала двумя горячими точками на спине. Кто-то бежал ко мне со стаканом воды.

— Ничего, ничего не надо, — сказала я и села.

Стакан стоял на зеленом сукне, и вода в нем качалась.

— Продолжим обсуждение, — сказал Гном. — Слово имеет...

С этого момента я уже все слышала. Мне не было интересно, но я все слышала. Передо мной был блокнот, в руке — карандаш. Некоторые фразы, казавшиеся особенно характерными, я записывала. УИ, доведенные до гротеска.

«Автор позволяет себе издевательски квалифицировать отдельных уважаемых товарищей...» (о, это слово «отдельный»!)

«Уже давно нельзя не заметить тенденции к сползанию и скатыванию...»

«Так говорится открытым текстом, но разве нам не ясен подтекст?» — писала я. Ораторов это беспокоило. Я видела, как они, духовно становясь на цыпочки, заглядывали в блокнот через плечи и головы сидящих. Один, выступая, сказал «идеализм» — я записала слово с большим мягким знаком и показала ему издали. Вряд ли он что-нибудь разглядел.

Два-три выступления были в мою пользу. Один весьма пожилой Рефератор (в прошлом — друг) защищал меня плавающими экивоками. Он подчеркивал мои высокие личные качества. Выходило, что, несмотря на ошибки — у кого их не бывает? — человек-то я совсем неплохой.

— И вдобавок женщина, — сладко сказал Рефератор, — а где наше рыцарство, товарищи?

Тут я нарочно высморкалась — очень громко, очень неженственно.

«За» выступал мой второй ученик — молоденький, путаник, с перьями на голове. Этот, слава Богу, защищал, пытался защищать, не меня, а Дело. Раздутый опять начал гарцевать на стуле. Второй ученик говорил, судорожно волнуясь, тиская в руках какую-то рукопись, в каждую фразу вставляя «понимаете?» и сам этого пугаясь, бедный, не привыкший говорить в ареопагах, не знающий никаких УИ, ничего.

— Демагогия! — закричал Раздутый. — Всем известно, она за него диссертацию написала. Рука руку моет!

Второй ученик тоненько застонал. Раздутый подпрыгнул и уронил фикус. Из кадки с номерком посыпалась земля. Фикус лежал, как человек с раскиснутыми руками. К нему подскочили, подняли, успокоили.

После падения фикуса Второму слова больше не давали. Он и не просил. Он сидел опустив голову; между перьями розовела ранняя лысина. Он был отмечен, в каком-то смысле — приговорен.

Неожиданно подвел Первый ученик, моя главная надежда, козырной туз. Я сразу поняла, что этот туз бит. Или наоборот — как там, в «Пиковой даме»?

«— Туз выиграл.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский».

В общем, туз выиграл. Сначала он вилял, не желая высказаться ни за, ни против. Слушать его было, как пить из клистира: вода, но противно. Раздутый подскочил и устремил на Первого указующий перст. «Так его, так его!» — сказала я, вся на стороне Раздутого. Первый не выдержал. Он залепетал, обращаясь почему-то ко мне:

— Видите, я вынужден признать свои ошибки в защите вас.

Я засмеялась.

— Разрешите мне? — послышался взволнованный голос. — Я не записался, но...

— Отчего же, у нас полная демократия, — с достоинством ответил Гном.

Из задних рядов не без труда протиснулся Косопузый. Его лысина — высокая, яйцом — блистала поверх стульев. На ходу он открывал портфель, вытаскивая оттуда бумаги. Под мышкой косо висел свиток. Это оказалась диаграмма. Он повесил ее на доску и устремил в зал темный взор маньяка.

— Товарищи, — начал он, — товарищи!

За этим должно было последовать что-то решительное.

— Я вполне согласен со всеми здесь выступавшими...

По стульям прошел гомонок.

— Но дело не в этом. Я считаю необходимым, именно в связи с данным ответственным обсуждением, еще и еще раз поставить наболевший вопрос. Это вопрос об оплате за научные издания...

— Пожалуйста, ближе к существу дела, — сказал Гном.

— Существо дела надо рассматривать во всей совокупности. А у нас что? Гонорар за научные издания оплачивается только, если они не включены в план! Заметьте: не! И это — в нашем плановом хозяйстве, где, как говорится, план — это закон!

Гомонок усилился.

— Что ж это получается, товарищи? — восклицал Косопузый. — Чтобы получить заслуженный гонорар, кровную копейку, я должен представить в издательство позорную справку, повторяю, позорную, что моя работа сделана не в плановом, а в стихийном порядке!

— Правильно говорит! — крикнул Раздутый.

— Выходит, — окрылился Косопузый, — если я в свободное время левой ногой накропал ерунду, она будет оплачена! А если я, честно трудясь, в порядке плана, написал книгу — шиш!

Он показал ехидно шевелящийся кукиш. Многие засмеялись.

— К порядку, товарищи, — отечески сказал Гном. — А вас попрошу еще раз: ближе к делу.

— Куда уж ближе! — захохотал Косопузый. — Факты налицо! Подшито, перенумеровано! Прошлый раз меня не поддержали, но я с тех пор не дремал, всесторонне подковался! Вот на диаграмме тиражи всех изданий, включая научные, включая библиотечку военных приключений, включая так называемую художественную литературу! Ха-



ха! Я лично ее читал и ничего художественного не нашел. Серятина, мелкотемье, правильно говорит наша критика. А гонорары? Вот здесь у меня...

Он начал вслух читать одну из подшивок, где были перечислены тиражи и гонорары всех писателей от А до Я.

— Все же, это не совсем на тему, — терпеливо заметил Гном.

— Отчего, интересно! — раздался голоса.

Косопузый продолжал чтение, время от времени раздражаясь сардоническим смехом. Особо высокие тиражи и гонорары вызывали у него кудахтанье.

...Обо мне, кажется, забыли. Все слушали...

— Мы верим вам, верим, — сказал Гном. — Эти материалы вы можете показать желающим, в кулуарах.

— Ладно, — Косопузый бросил подшивку. — Будем говорить в общем и целом. Из приведенных фактов видно, что мы, люди науки, трагически отстали как по гонорарам, так и по тиражам. В чем дело? Нет бумаги? Вздор! Тетрадей более чем достаточно. Туалетную бумагу выпускают рулонами. Правда, их иногда не хватает, но это изнеженность. Продукты питания фасуют в бумажной таре. А настольные календари? Вот я недавно говорил М. М. ...

Он взглянул в мою сторону и запнулся. На меня посмотрели. Меня вспомнили.

— Все, что вы сообщили, очень интересно, — сказал, опоминаясь, Гном, — но к сегодняшней нашей теме...

— Я еще не исчерпал регламент, — сопротивлялся Косопузый.

— Ваш регламент истек, — сказал ласково Гном. — Итак, вернемся к повестке дня. Кто хочет выступить по существу?

И тогда поднялся Кромешный.

Портфель он поставил на стул, поднял руку семафором и завыл. Воющий голос сразу отодвинул в сторону гонорары.

рарные и тиражные сказочки. Он был по существу — значит, против меня. Крашенные волосы от самых бровей встали у него дыбом. В его повадке было что-то шаманское. Он задавал риторические вопросы и тут же сам на них отвечал, как бы от лица подвластного ему Духа.

От воющего голоса по коже шли мурашки. Но чем-то все-таки Кромешный был лучше других. Он верил, они не верили. Нет, они верили, но в себя, в свое уязвимое благополучие, в самую его уязвимость. Сейчас было безопаснее осуждать — и они осуждали. Ну, Раздутый — тот просто вымаливал прощенье за моральный рецидивизм. В общем, никто из них ради меня не рискнул бы ничем — квадратным сантиметром площади, копейкой оклада.

Кромешный был не таков. Он, пожалуй, согласился бы получать на десять процентов меньше, лишь бы меня уничтожить. Я смотрела на него с интересом, на грани сочувствия. Любопытно, как у него там, внутри? О чем он думает, оставаясь ночью один, наедине со своими снами? И какие они у него, сны? Я представила себе эту воющую пустоту, и мне стало жаль его, честное слово...

— Товарищи, мы работаем свыше трех часов, — сказал Гном, — записавшихся больше нет. Поступило предложение прекратить прения.

— Прекратить, прекратить, — отозвались ряды.

— Тогда разрешите мне, как председателю, подвести итоги.

Итоги были подведены в обычном стиле. Гном говорил о здоровой товарищеской критике, о плодотворной дискуссии, в ходе которой были вскрыты...

— Надеюсь, уважаемая М. М. сделает из нашей дискуссии должные выводы, признает свои ошибки и перестроится...

Он повернул ко мне грустное лицо эмбриона.

— Вы желаете получить слово?

Да, я желала.

Странное дело, я ведь знала, что придется говорить, но совершенно не подготовилась. Впрочем, это было неважно. Что бы я ни сказала, это не могло повлиять на Итоги. Сидящие глядели на меня внимательно, с трубкообразно сложенными губами; на этих губах я уже видела заготовленные улыбки, которыми они меня наградят, если я приму УИ. Но что делать. У меня не было выбора.

— Нет, — сказала я. — Отказываюсь признать свои ошибки, потому что их не было. Я права. Жгите меня, я не могу иначе.

— Никто не собирается вас жечь, — серьезно перебил меня Гном.

— Ну, ладно. Я сказала неудачно. Делайте со мной, что хотите...

Дальше говорить я не могла, села. Что-то происходило с сердцем. Оно раздувалось, как Раздутый. Оно нависало над стулом. Какие-то там предсердия, желудочки... «Фабрика инфарктов, — подумала я. — Нет, дудки, я не позволю им довести меня до инфаркта. А ну-ка ты там, — сказала я своему сердцу, — цыц, знай свое место».

Тут они зашумели. Шум обрушился, как обильный грозовой дождь. Застучали отдельные струи. И вот, нарастая, зовом волка возник воющий голос Кромешного. Это уже было мне не по силам. Вой убивал меня — самым буквальным, физическим образом. Спотыкаясь о стулья, оступаясь на паркете, стучаясь о фикусы, я добралась до двери и вышла.

Как только я закрыла за собой дверь, меня отпустило. Отороженный дверью вой слышался глуше. Дверь создавала иллюзию безопасности. Мне жгло глаза. Еще чего не хватало — слезы! Я ненавидела эту подлую бабью слабость. Ненавидела все на свете жидкости, все слезы, все сопли, все слюни мира. Ненависть меня подкрепила. Дойдя до парадного входа, я была, слава Богу, уже спокойна.

На улице стояли три моих друга: Черный, Худой и Лысый. Пришли-таки.

— Ну, как? — спросили они в один голос.

— Ничего, — ответила я.

— Это было ужасно? — участливо осведомился Лысый.

— Умеренно ужасно.

— Как полагается по пословице: все на одного, один за всех, — сказал Худой.

Черный засмеялся. Лысый махнул на него рукой и продолжал расспрашивать:

— Главное, какую позицию занял председатель?

Я ответила:

— Естественную позицию. А похож был он на человеческий эмбрион в спирту...

Вот и началась моя новая жизнь. Меня охватили руки Неуспеха. Удивительно скоро я к ним привыкла. Как будто так было всегда.

А ведь всегда было иначе. Сколько я помню, мне всегда сопутствовал Успех. Он выносил меня в каждый президиум, говорил обо мне каждое Восьмое марта. Еще бы: женщина-ученый, автор трудов, переведена на языки, и прочая, и прочая. Я привыкла к Успеху, как будто он сам собой разумелся. Оказывается, не разумелся.

Может быть, бездумность, с которой я принимала Успех, обернулась теперь покорностью Неуспеху. Кто-то из писателей, кажется, Достоевский, сказал: человек — существо, ко всему привыкающее, и это лучшее его определение. Так привыкают к болезни, горю, рабству.

Мое имя стало нарицательным, затем бранным. Его склоняли, упоминали, толкали, заушали на десятках собраний.

Меня подхватил железный поток проработки. Казалось, все было заранее предусмотрено, расписано по штампам, как по нотам. Здесь царили свои собственные, особые УИ, с явными чертами не просто обычая, а ритуала.

Прежде этот ритуал был мне посторонним; плавая в Ус-пехе, я наблюдала его извне, но слишком-то интересуясь, в чем дело и кто прав: мне хватало своих дел. Теперь я имела возможность наблюдать этот процесс изнутри. Мне представился случай изучить феномен Проработки с наиболее выгодной позиции — с точки зрения самого прорабатываемого. Ну, что ж. Не скажу, чтобы это было приятно, но кое-какое умственное удовлетворение все же давало. Неистребимая привычка научного работника: во всем искать закономерности, повторяющиеся черты. Видно, такой и умру.

Наблюдая, вспоминая, сопоставляя, мне удалось, в общих чертах, наметить следующие закономерности.

Каждая проработка (любого масштаба и значимости) имеет в основе чью-то личную заинтересованность. Скажем, кому-то хочется освободить место и посадить на него своего ставленника; другому позарез надо пролезть в академики; третий жаждет поддержать свой пошатнувшийся авторитет и так далее. Бывает в основе проработки заинтересованность не индивидуальная, а групповая. Связи заинтересованностей с ходом и направлением проработки зачастую бывают неявными, законспирированными, не поддающимися обычной логике.

Раз начавшись, проработка развивается как ветвящийся процесс. Прежде всего, некое деяние (статья, книга, устное высказывание) осуждается и вносится в резолюцию (чего — безразлично). Так зарождается основной ствол (или русло) проработочного процесса. Далее он начинает ветвиться, подобно дереву или дельте реки. Обе аналогии неточны, ибо ветвление дерева и реки происходит в пространстве, а проработки — во времени. С поправкой на эту неточность ими можно пользоваться.

Итак, проработка ветвится. Идет процесс размножения резолюций. В каждой малой, вторичной подрезолюции повторяется формула осуждения из основной, материнской,

по возможности буквально, после чего возможны варианты, однако не в очень широких пределах. Вообще же четкость УИ, по мере удаления от основного русла, убывает. На отдаленных ветвях нередко наблюдаются завихрения. Иногда вырастают совсем дикие ветви, по типу «там чудеса, там леший бродит».

Растекшись по множеству мелких рукавов, проработка через некоторое время обнаруживает как бы тенденцию затухнуть. Иногда, в виде исключения, это так и случается: проработка, например, может зачахнуть в тени новой, более молодой (между отдельными экземплярами возможна внутривидовая борьба). Однако чаще этого не происходит. Ослабевший проработочный механизм получает некий оживляющий импульс и начинает функционировать с новой силой. Возникает вторая волна; часто она поднимается выше первой. В процесс вовлекаются новые жертвы (объекты), в частности, те, кто противодействовал первой волне или недостаточно усердно ей способствовал. В редких случаях формируется своеобразный пульсирующий процесс, периодически дающий волны почти одинаковой мощности.

Каждая волна обычно сопровождается чьим-нибудь инфарктом, иногда двумя и больше. По количеству инфарктов можно косвенно судить об интенсивности процесса. Надо заметить, что инфарктам подвержены не только жертвы (объекты) проработки, но и действующие лица (субъекты).

Действующие лица далеко не всегда относятся к категории заинтересованных. Истинно заинтересованные предпочитают оставаться в тени. Это позволяет им в случае чего от всего отказаться. Действующие лица говорят об истинных инициаторах загадочно: «нам говорили», «нам указывали», «имеется мнение».

Длительность жизни проработки различна: от нескольких месяцев до двух-трех, реже более, лет. Бывают экземп-

ляры, которые, после периода агрессивного и пышного функционирования, впадают как бы в состояние анабиоза. Объекты проработки в подобных случаях не считаются ни прямо виновными, ни прямо оправданными (аналогия: души чистилища у католиков). Упоминание о них ни в отрицательном, ни в положительном смысле не рекомендуется.

Встречаются, и не так редко, случаи, когда проработка, не пройдя полного цикла развития, погибает насильственной смертью. Причины могут быть разные: могущественный звонок, удачно направленная жалоба, статья во влиятельном органе.

Сейчас я наблюдала зарождение и развитие лично своего экземпляра проработки, и, естественно, он меня интересовал больше других (как, скажем, собственный солитер интересует больше заспиртованного).

Пока что события развивались закономерно. Спустя месяц-полтора после Обсуждения наступил видимый период затишья, но я не обольщалась: впереди, по всем признакам, ожидалась вторая волна, которая обещала быть выше первой. Начались мелкие репрессии: отобрали вторую лабораторную комнату, ставку мотальщика, трансформаторный крест. Вызывали то одного, то другого, в том числе обоих учеников. Первому, вопреки логике, досталось больше, хотя он и отрекся. Такие нарушения логики нередки, особенно на побочных ветвях; отношу их к классу завихрений.

Вызывали, поодиночке, трех моих друзей: Черного, Лысого и Худого. Было произнесено слово «фракция». Стороной я узнала, что Белокурого — он, оказалось, работал в Лучевом — тоже куда-то вызвали. Косопузый отмежевался от меня в покаянном письме на имя начальства. Письмо было принято с недоумением; в общем, политического капитала он не нажил.

Я тем временем не уходила в отпуск: нет ничего хуже заочной волны. Кое-что я все-таки делала. Добилась при-

ема в КИПе, где меня выслушали благосклонно и обещали разобраться. Обещавший тотчас же ушел в отпуск, а его заместитель был не в курсе дела и холоден по телефону.

Написала письмо в Лучевой Белокуруму, где спрашивала его о неясном мне вопросе. Оказалось, что Белокуруму этот вопрос тоже неясен; писал он мило и умно. Между тем эксперимент подавал кое-какие надежды... У моей установки удавалось порой обо всем забыть.

Завихрения продолжались; неожиданно опубликовали мою статью, которая уже больше года лежала в Периодике под сомнением: слишком дискуссионна... И вот, смотри тебе, напечатали. Очевидно, по недосмотру редактора. Только бы никто не пострадал. Мучительным было растущее сознание своей заразности: самый воздух вокруг меня зачумлялся. Я перечитала свою статью; она показалась мне скучной и заносчивой...

Заканчивалось превращение окружающего в мир без улыбок. Обтекаемый и еще несколько, на всякий случай, перестали здороваться.

На это мне было наплевать, но, независимо от них, во мне поселилась тусклая тревога. Даже дома, под низкой лампой, она меня не отпускала. В отчаянии я хваталась за дневник Кюхельбекера, читанный-перечитанный, выжимая из него последние капли.

5-го мая

Забавный и некропролитный способ вести войну: «Исландцы потеряли на датских берегах корабль, который датчане разграбили. За это исландцы так рассердились, что всем вообще в Исландии было предписание, ввести, в виде подати, с каждого носа по ругательной песне на короля датского...»

...В общем, я продолжала жить, а время шло. В Институте оно мельтешило — мелкое, тревожное, озабоченное.



А рядом, совсем в другом масштабе, шло лето; оскверненное городом, но все же торжественное, оно разворачивалось, созревало, готовилось опадать и хватало меня за душу всеми своими вечерами, дождями, запахами, напоминая о неосуществленном, растроченном... Я съездила в гости к Хлопотливой — пока мы тут прорабатывались, она успела родить сына. Крохотный, с лицом персика, он жил в том же большом масштабе, что и лето, грозы, голуби. И глаза у него были грозового, голубино-го цвета.

Спустя месяца два после первого, состоялось второе Обсуждение. В отличие от первого, оно было единодушным. Белокурый из Лучевого не приехал — очевидно, не пустили. Второй ученик молчал, я сама его об этом просила: жена, ребенок. Какие-то юные аспиранты из Биофонной осторожно высказались не в мою пользу. Пряча глаза, обвинительную речь произнес Седовласый. Обтекаемый признал мои и свои ошибки. С каждого носа по ругательной песне.

Опять гарцевал на стуле Раздутый, опять шаманил Крошечный, но все это было мельче, скучнее, чем в первый раз. По потолку я уже не ходила. Опять мне было предложено признать ошибки, и опять я их не признала. Я была спокойна, привела факты, но они пали в пустоту — никто меня не слушал. Хуже всего, что я сама себя не слушала. Мое внутреннее сознание уже не было цельным, словно бы моя правота осела, дала трещину.

Да, страшная вещь — общественное мнение. Пусть даже вынужденное, внушенное, но когда оно оборачивает всех против одного, одному трудно чувствовать себя правым.

Совсем разбитая после второго Обсуждения, я наутро пришла в Институт и села у телефона. Мне надо было позвонить в КИП. Я взяла трубку — там шел чей-то разговор. Отвратительная институтская связь — вечно что-то за что-то цепляется. Иногда ненавижу телефон, как живого

человека. Я хотела положить трубку, но узнала голоса и прислушалась. Говорили Обтекаемый и Худой. Да простят мне предки — я стала слушать.

*Обтекаемый.* Однако вчерашнее Обсуждение прошло единодушно.

*Худой.* Когда душа заимствована, ей нетрудно быть единой.

*Обтекаемый.* Тебе бы не мешало хоть немного уважать общественное мнение.

*Худой.* Ты видел когда-нибудь, как косяк рыбы, повинувшись таинственному сигналу, мгновенно совершает поворот? Вот тебе модель общественного мнения.

*Обтекаемый.* Наверно, такая способность полезна рыбам.

*Худой.* Вероятно. Однако не все, что полезно рыбам, полезно и людям.

Я положила трубку. Разговорчики. Косяк рыбы. Прав Худой, но мне от этого не легче.

В КИП я дозвонилась через несколько минут. Заместитель Обещавшего тоже ушел в отпуск, и по моему делу никто ничего не знал. Ну что же, живем дальше.

Судя по ряду признаков, предстояла еще одна волна — третья и решающая. Затишье перед этой волной выматывало душу, просто иногда нечем было дохнуть. Если бы я знала, чего ждать. То-то и беда, что не знала. Предполагать можно было что угодно.

Дефицит информации создает труса. Человек, в общем-то, не так уж труслив, он смело идет на опасность, если знает, какая она. Перед дырой неизвестности он цепенеет. Пытка неизвестностью — старый, испытанный прием. Оставляя нетронутым тело, он расшатывает душу. Вот она уже ослабела в своих душевных деснях и готова выпасть...

К тому же мне нечего было читать. Дневник я отдала Худому, который вцепился в него с жадностью шавки,

а новой пицци не попадалось, и сны распоясались. Снились мне большею частью стервятники. Они кричали «прор, прор», хлопали крыльями и толпились вокруг какого-то трупа. Особенно выделялся среди них один, крупнее других, всегда обращенный ко мне левым боком, с полу-волочащимся, глубоко рассеченным крылом, с нацеленным круглым оранжевым глазом. С нацеленным клювом. В клюве висели обрывки трупа, а трупом была я. «Прор» — это, очевидно, значило «проработка». Плоская символика этих снов, откуда-то из начала века, бесила меня, но угнетала весь день.

А главное зло было не вовне, а изнутри, во мне самой. В таком положении, как мое, самое трудное — это держаться внутри себя за свою правду. Что бы ни случилось — за свою правду. На что бы тебя ни вынудили — за свою правду. Но что делать, когда сама правда, гонимая, умирает, когда для ее сторонника она почти уже не правда, и все чаще встает вопрос: а что, если...

Нет, я не признала своих ошибок, это-то было исключено, но правда внутри у меня лежала на смертном одре.

Не знаю, что бы я делала в это страшное время, если бы не трое моих друзей. Встретиться с ними — выпить живой воды.

В частности, Черный был несказанно мил: ребячье сорокалетнее лицо, такая отрада.

Часто думаешь: куда девается прелесть ребенка, когда он вырастает? Глядя на Черного, я видела: никуда она не девается, вот она. Черный был из тех людей, их, может быть, один на десять тысяч или еще меньше, которые вырастают и даже стареют, не теряя нежной ребячьей прелести.

Продолговатое, млечной смуглоты лицо Черного, его тонкие руки, даже золотая коронка в розовом рту выражали что-то бесконечно наивное, детски лукавое. Как я люби-

ла смотреть на это лицо! Сочувствие Черного было приятно, как теплая ванна. Говоря, он время от времени притрагивался к руке собеседника тонкими, теплыми пальцами.

— Знаете что, М. М., — однажды сказал мне Черный с ребячье-шкодливой улыбкой, — а может быть, все-таки имеет смысл... Ну, покаяться, что ли...

— Что вы говорите! — возмутилась я. — Ну, знаете...

— Тихо, — сказал Черный и тронул меня пальцами.

— И вы меня убеждаете покаяться? Вы, друг?

— Слегка, в пределах приличия. Выработать приемлемую формулу, чтобы они от вас отстали. А дальше продолжать работу, конечно, по-своему, не отступая от главных принципов. Разве назвать ее как-нибудь по-другому. Сохранить людей, дело. Подождать более благоприятных времен. А?

Черный опять тронул меня за руку своей узкой, теплой рукой.

— Нет уж, оставьте, — сказала я, сопротивляясь его теплоте. — Этот путь возможен, может быть, он и разумен, но не для меня. Каждому свое.

— Я так говорю потому, что вы... вы дороги мне.

— Знаю, спасибо. Вы хотите мне добра. Весь вопрос в том, как понимать добро. Вы понимаете его как благополучие.

— А вы?

— Скорее как преодоление.

— Ну, а если против вас сила? Впрямую вам ее не преодолеть. Значит, надо готовить обходный маневр. А пока...

— Лучше пусть мне оторвут голову.

— Все мне да мне. А подумали ли вы о других? Ведь за вами идут люди.

— Нечестный прием. Я обо всем подумала, может быть, раньше, чем родилась. Знаете, я сейчас буду говорить неряшливо и потому патетично. В общем, есть два пути: Галилея и Джордано Бруно. Первый отрекся и продолжал

работать, второй глупо сгорел на костре. Первый путь явно разумнее, но...

— Галилей, Джордано Бруно, — с иронией сказал Черный. — Ну уж...

— Замолчите! — крикнула я. — Вы не дурак, чтобы думать, что я себя с ними равняю. Мы все перед ними карлики. Но каждый карлик, у своего маленького костра...

— Как все-таки много в вас романтизма, — перебил меня Черный. — Прямо Алый Парус какой-то. Я, простите, моложе вас, но часто чувствую себя старше, а вас — таким ребенком...

И улыбнулся своей детской улыбкой.

...Об этом разговоре я много думала потом. Несомненно, в чем-то Черный был прав. Но весь мой организм не принимал его правоты. Глупость?

Чаще других я встречалась с Худым. Этот удручал меня тем, что очень уж был умен. От него исходили ум и тоска.

— Не торопитесь, — говорил он. — Сидите в своей Обмоточной. Кампании надо дать умереть естественной смертью.

— Неизвестно, кто из нас умрет раньше, — сварливо отвечала я.

— По всей вероятности, она. На вас это непохоже. И учитите, времена не те. В наше время забить человека до смерти уже не делает чести забившему. Проработчики научились бояться инфарктов, самоубийств, даже обыкновенных жалоб. Они понимают, что в любую минуту колесо может повернуться. И что тогда? Верхние оказываются внизу. А вы заметили, как они избегают ставить подписи под документами? Указания передаются устно. Даже публичных выступлений они не любят, стараются выдвинуть подставных лиц. Например, Раздутый. Если колесо повернется, они наверняка выберут его в качестве свиньи отпущения...

— А Кромешный? Тоже подставное лицо?

— Нет. Эта фигура сложнее. Он — сам по себе. Вас он ненавидит самостоятельно и совершенно искренне.

— За что? Мы ведь работаем совсем в разных областях.

— Еще бы. Он работает в области штампов. Не употребления, а производства. Это его ремесло, единственное, чем он владеет. В идеально устроенном обществе такой специалист мог бы прожить ровно столько, сколько живет человек, не принимая пищи...

...Худой был умен, но труден. С ним все время надо было держаться, чтобы не сморозить глупость. Иной раз после разговора с ним такая тоска нападала — хоть вешайся. К счастью, он мог и насмешить. Он все мог.

Проще всего я себя чувствовала с Лысым. Он ничего не советовал, не объяснял. Он просто жалел меня и говорил, как нянька:

— Ну-ну, будет. Не убивайтесь так. Все перемелется.

Вот с ним я не должна была ни держаться, ни спорить. Однажды я просто положила ему голову на плечо и заплакала. Он легонько обхватил меня и поддерживал, похлопывая по спине, пока я проливала слезы.

— Ну-ну, М. М., не надо.

— Знаю, что не надо, — окрысилась я, рыдая. — Вы думаете, я нарочно? Просто не могу удержаться.

— Ну, тогда поплачьте, если не можете.

От его плеча пахло мокрым сукном, и я сладко поплакала на этом плече. Главное, Лысого можно было не стыдиться...

Я продолжала жить, и время шло, и лето кончалось, и черными стали ночи. Процесс применения к новому состоянию тоже кончился. Мир без улыбок стал привычным, как застарелая болезнь или уличный шум. Придя в Институт, я быстро старалась прощмыгнуть коридором и скрыться. В работе наклеивалась новая идея, но медленно, вяло, как картофельный росток

в погребке. Часто я сидела весь день с пустой головой. Слабый же я человек!

Наряду с этим в моей новой жизни были и свои радости. Я полюбила рано вставать и шла в Институт пешком через весь город. Утренний, деловой и скромный, он вставал, развешивал белье на балконах, громыхал мусорными баками, отправлял множество людей, каждого по своему маршруту, со своей ношей. Каждый шел и терпел и нес свое, полагающееся ему, без шума. Глядя на утренний город, я что-то начинала понимать, прежде, когда со мной был Успех, недоступное мне.

Коварная вещь, этот Успех. Он одаряет, он же и грабит. Смотришь — ты уже нищий. Хотела ли бы я, чтобы он ко мне вернулся? Нет. Препим я его уже не приму.

И еще я поняла очень важное: то, что со мной происходит, — не горе. Люди помогали мне это понять.

Раз, подходя к раздевалке, я услышала разговор двух гардеробщиц:

— Я больше люблю вешать, — сказала одна.

— А я — подавать, — отвечала другая. — Подавать интереснее.

И я подумала: в самом деле, что интереснее? Пожалуй, все-таки подавать. Я тоже больше любила бы подавать. Радость какая-то тронула меня: и чего я боюсь? Много интересного есть на свете, кроме науки.

Я подошла к барьеру и отдала пальто той, что больше любила вешать.

— Чтой-то вы похудали с лица, почернели, — сказала она. — Горе, может, у вас какое?

— Так, неприятности, — ответила я.

— А вы не поддавайтесь, — сказала другая, бойкая. — Я вот всегда так. Ко мне горе, а я его по мордасам.

— А у вас какое горе?

— Сына посадили. Шбфером работал, человека сбил. Шел человек, пьяный, как зюзя, прямо под колеса и готов.

А сыну подводят, что виноват. Алкоголь в нем нашли. Пива с утра выпил, вот и горе.

И в самом деле, горе. А я-то...

— Ну-ну, — сказала я ей, как мне Лысый, — не печальтесь, может, и обойдется.

— Дай-то Бог. Устала я куражиться, сил нет.

В эту ночь мне опять снились стервятники. Они, как полагается, толпились у трупа. Один из них, самый главный, на розовых ногах, что-то очень уж долго не уходил и внимательным, грустным глазом смотрел на меня, как бы по-своему сожалел. Я по-прежнему была трупом, но и стервятник был жалок, и его глубоко рассеченное, волочащееся по земле крыло казалось траченным молью. Мы расставались неохотно, но что делать, меня звали к телефону, и я проснулась.

И в самом деле, звонил телефон, видимо, уже давно. Я подошла, но поздно — короткие гудки. Кто бы это мог звонить в такую рань?

Я взглянула на будильник. Скотина, проспал! Без четверти девять. Вот тебе и новая конструкция. Спеша, я оделась и сбежала по лестнице — лифт не работал, черт побери их обоих с будильником. Шел дождь. Улица была полна зонтиков. По лужам, возникая и лопааясь, прыгали пузыри. Один огромный, прямо-таки королевский пузырь, держался долго-долго, но лопнул и он. В автобусе пахло цветами. Чей-то большой мокрый букет упирался мне прямо в щеку. Люди были веселы и дружелюбно толкались.

Старинный подъезд Института встретил меня мокрыми фонарями. Вокруг каждого колпака стоял ореольчик из скачущих капель дождя.

По коридору навстречу мне шел Обтекаемый, и — о чудо! — на лице его была улыбка. Поравнявшись со мной, он остановился.



— Поздравляю вас! Вы, конечно, уже читали?

— Нет еще, — ответила я.

— Все-таки правда всегда возьмет верх, — сказал он, влажно сияя, точно омытый дождем.

— Несмотря на все ваши усилия.

Он погрузился.

— Вы ошибаетесь, М. М., уверяю вас, вы ошибаетесь! Я лично всегда вас защищал. Спросите кого угодно.

Тут я взорвалась:

— Мне не надо никого спрашивать. Я и сама все про вас понимаю. Вы мне ясны, как на ладони. Видите?

Я протянула вперед ладонь. Он вежливо на нее посмотрел, ничего не понимая.

— Ха! — сказала я горлом. — Жалкий трус! Вы думаете, что можно всю жизнь просидеть между двух стульев? Ан нет! Помяните мое слово, вас еще стукнет. И когда это случится, у вас не будет даже того утешения, что вы вели себя честно.

Он побледнел.

— Вы не понимаете, М. М., — начал он бормотать, — вы еще очень многого не знаете... Все не так просто! К сожалению, я не могу вам всего сказать... Да, кстати, вы слышали о...

Он назвал фамилию Кромешного.

— Что с ним? — грубо спросила я.

— Только что звонила его жена. Инсульт...

Я ответила не сразу. Мне было сложно.

— Эх, не того, — сказала я и отошла.

Обтекаемый, в полной растерянности, стоял, качая головой, и таким, качающим головой, исчез из виду.

Навстречу мне шли люди и улыбались.

Человек — улыбка.

Человек — улыбка.

Все не так просто.

# ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ

## Рассказ

Было это в конце пятидесятих годов. Я ехала в поезде в одну из дальних моих командировок. На душе у меня была одна большая забота, какая именно — говорить не стоит, потому что к моему рассказу это не имеет отношения. Из-за этой заботы мне больше хотелось быть одной, и я почти не разговаривала со своими соседями по купе. Их было двое. Один — военный, бесформенно толстый полковник с прядью волос, переброшенной поперек лысины от одного уха до другого. В дороге он сразу распустился и надевал китель, только выходя на станциях, а так ехал в подтяжках поверх сиреневой трикотажной рубашки (обычное, стандартное мужское белье). Он раздражал меня своей манерой хлюпая пить чай, обручальным кольцом, вросшим в пухлый волосатый палец, и тем общим разлитым тоном превосходства, который обычно идет от высокого оклада в сочетании с низкой культурой.

Другой был, наоборот, аскетически худой, сутулый, с коричнево-смуглым лицом, изрубленным морщинами. Когда он говорил, огромный кадык нырял, как поплавок, на длинной шее. Несмотря на морщины, седые виски и поредевшие, отступившие ото лба волосы, в нем было что-то неприятно-юношеское.

С этим было сложнее, чем с тем. Иногда он почти начинал мне нравиться — и вдруг становился неприятен. Хо-

рош был голос — глубокий, музыкальный, с неуловимо изящными интонациями воспитанного человека. Такой голос сам по себе было интересно слушать. И вдруг, как ножом по стеклу, в нем царапала противная, лебезящая нота. Глаза — большие, голубые, блестящие, но взгляд не прямой, уклончивый, а белки — в мелких кровавых жилках. Особенно раздражала его подчеркнутая, ненатуральная вежливость. Стоило мне войти в купе, как он вскакивал, расшаркивался и всеми средствами выражал предупредительность. Но вот когда он молчал и задумчиво смотрел в окно, я не могла оторвать глаз от его резкого профиля. Кого-то он мне напоминал. Кого-то очень хорошо знакомого, с детства. Только на вторые сутки я догадалась — кого. Это был Иоанн Креститель с «Явления Христа народу». Тот же горячий, вдохновенный глаз. Та же впалая, скорбная щека. Это был Иоанн Креститель — постаревший, полысевший, изрубленный жизнью.

Четвертое место в купе было не занято. И вообще в нашем мягком вагоне было много свободных мест. В проходе обычно бывало пусто, и я подолгу стояла у окна наедине со своей большой заботой. И в тот вечер, о котором идет речь, я тоже долго стояла и смотрела. Мимо летели суровые, изможденные, отработавшие свое степи. Была поздняя осень — начало зимы по-здешнему. На всех неровностях голой земли, как седина в черных волосах, лежали белые полосы инея. Местами ветер трепал сухие, мертвые стебли бурьяна, почерневшие то ли от жестокого летнего солнца, то ли от мороза ранней зимы. А над степью, снизу до половины неба, светилась нежная, пронзительно розовая заря. У одной станции, рядом с водокачкой, стоял чеканный, черный на розовом верблюд. Такое одиночество шло от этого верблюда! А дальше — снова одни пустые степи. Редко-редко мелькали затерянные в степях людские поселки: два-три вросших в землю глинобитных домика. У одного такого домика на целую голову выше его стояла с платком

до самых глаз женщина в ватнике. Высокие резиновые сапоги были облеплены грязью, ветер дергал тонкую ситцевую юбку. Женщина стояла неподвижно, только голова медленно поворачивалась за идущим поездом. На самом краю дороги растопыренный чертополох протягивал черные, обугленные, тонкие руки и словно взывал: «Остановитесь! Выслушайте нас! Не проходите мимо!» Все это почему-то трогало меня, становилось в мысли рядом с моей большой заботой. Как здесь должно быть жутко осенней ночью, когда поезд уже прошел, и заря погасла, и так далеко отовсюду: от городов, от людей!

А заря и вправду постепенно погасла, и за окном не стало ничего видно. Одна темнота: серее — сверху, чернее — внизу, а сквозь нее редко бежал спереди назад дрожащий желтый огонек.

Я вернулась в купе. Оба соседа были там. Мне показалось, что мой приход оборвал какой-то разговор, важный для обоих. Худой даже не вскочил и не засуетился. Им, видно, было одинаково неловко и продолжать разговор, и прервать его внезапно.

— Да, — протянул военный, — сколько воды утекло! Я ведь вас сперва не узнал. Смотрю — знакомое лицо. А где видел — ума не приложу. Спасибо, вы напомнили.

— Я-то вас узнал сразу, — сказал худой своим глубоким голосом. — Вы, в сущности, мало изменились.

— Да, — повторил военный и помолчал. — Умерла, значит, Нина Анатольевна. Жаль, жаль. Такая интересная была женщина.

Худой ничего не ответил, только потрогал себя за шею и издал неопределенный мычащий звук. Я тревожно на него покосилась. Мне показалось — человек сейчас заплачет. Нет, я ошиблась — он заговорил совсем спокойно, даже со своей лебезящей нотой:

— Очень приятно было снова с вами встретиться. Очень рад. Очень рад.

Мне стало как-то противно, к тому же я не хотела им мешать. Я пошла в вагон-ресторан. Идти было далеко: почти через весь поезд. Я все шла и шла через тускло освещенные, жарко натопленные общие вагоны. Здесь было тесно и душно, пахло людьми. С верхних полок поперек прохода протягивались мужские ноги в носках; нужно было нагнуться, чтобы пройти. Внизу спали и бредили женщины, маленькие дети. В одном вагоне на откидном деревянном столике с треском «забывали козла» и ругались. В другом — надрывно, с сипотой, плакал-убивался грудной ребеночек и женский голос терпеливо, заунывно тянул: «Аа-а! аа-а!» А между вагонами шатались и гремели темные, холодные площадки-переходы, лязгало железо, приплясывали буфера. Здесь сразу холодом и грозной чернотой вступала в свои права окаянная, безлюдная, кричащая от одиночества степь. Так и чередовались: вагон и площадка, людское и степное бездолье.

Вот наконец и вагон-ресторан. Я села у окна за столик с залитой скатертью и мокрыми окурками на грязных тарелках. Другие столики были не лучше. Кроме меня, в вагоне посетителей не было. Только в дальнем углу унылый, серый пьяный, видно давно уже все съевший и выпивший, тихо объяснял что-то сам себе на матерном языке и никак не мог понять, переспрашивал. За стойкой дремала пожилая толстая буфетчица с красными руками, в белом халате поверх ватника, в кружевном, жестко накрахмаленном кокошнике. Ко мне никто не подходил. Я подошла к стойке и разбудила буфетчицу. Она проснулась неохотно, явно меня ненавидя, но пошла и привела (вероятно, тоже разбудила) официантку. Эта была великолепна: молодая, статная, раскрашенная блондинка с ярко-лиловыми ногтями. Брезгливо, медленно она убрала со стола и приняла заказ — тоже холодно и враждебно. Ох, эта ресторанный ненависть! Как мы ее хорошо знаем — мы, одинокие женщины, не пьющие водки... Народу в ресторане не было,

и все-таки пришлось ждать больше получаса, пока она принесла скользкие биточки с холодными макаронами и синеватое какао. Оставленная сверх счета мелочь на ска-терти выглядела ужасно сиротливо. Блондинка казалась смертельно оскорбленной, но деньги взяла.

Я сидела и без охоты ковыряла вилкой свои биточки, когда вдруг услышала голос:

— Разрешите к вам присоединиться?

Это был худой из моего купе. Он стоял и кланялся, как петрушка.

Я медлила с ответом. Кругом же было много свободных столиков. А мне не хотелось нарушать наше одиночест-во — наше с большой заботой. Но он об этом знать не мог.

— Я понимаю, что вы думаете, — сказал он. — Зачем ему понадобилось садиться как раз за мой столик? Вы пра-вы, конечно. Но у меня сегодня... одним словом, мне се-годня трудно быть одному. А наш с вами сосед, полков-ник, уже лег спать.

— Да нет, ничего, — поспешила сказать я, — садитесь тут, пожалуйста. — Он вдруг напомнил мне чертополох у дороги.

Официантка подошла, играя бедрами, и довольно ожив-ленно приняла заказ: четыреста граммов и бутерброды. Удивительно, как скоро она их принесла.

— Может быть, сделаете мне честь? — спросил худой. — Нет? Ну не надо.

Он налил рюмку и профессионально, даже изящно оп-рокинул ее в рот. Закусил бутербродом.

— Тысячу раз прошу извинения, — вдруг спохватился он. — Я забыл вам представиться. Игорь Порфирьевич Галаган.

Он снова встал и по-петрушечьи поклонился. Снова пришлось его усадить. Я довольно неохотно назвала себя: имя, отчество, фамилию, профессию. В наше время, реко-мендуясь, надо назвать профессию. Чтобы сразу видно бы-

ло — кто ты. Я сказала ему об этом. Он задумчиво выслушал и не сразу улыбнулся.

— Кто я? А этого я и сам не знаю. Знаете что? Давайте я вам расскажу свою историю. Тогда вы сами увидите, кто я. Может быть, даже мне объясните.

Это он славно как-то сказал и понравился мне. Я совершенно искренне ответила:

— С большим удовольствием вас послушаю.

Он снова выпил водки и начал рассказывать.

— Ну, с чего же начать? Прежде всего я коренной ленинградец. Петербуржец даже. Все мои предки жили в Петербурге. Я из старинной путейской семьи. Отец мой был инженер путей сообщения, и оба дяди, и дед. И по материнской линии тоже все путейцы. Целый клан. А из меня путейца не вышло. Я захотел быть художником. Отец был против, но я стоял на своем. Любил я живопись, знаете, до страсти. Просто трясся, когда о ней думал.

Родители мои были очень хорошие люди, особенно мать. Я ее страшно любил. Хотите, покажу карточку?

Он порывлся дрожащими пальцами в бумажнике и вынул старинную, на твердом картоне, фотографию. С краю карточка была грубо срезана, наверно ножницами, — видно, не помещалась в бумажнике. На снимке была удивительной прелести молодая белокурая дама в белой блузке с высоким воротом, с тревожными и трогательными глазами. Прижавшись к ней щекой, такими же глазами смотрел хорошенький кудрявый мальчик в белой матроске.

— Это вы? — спросила я.

— Я, а что? Трудно узнать? Естественно. Много лет прошло, да и жизнь...

Да, жизнь. Кому не случалось горестно вздыхать, глядя на ее жестокие труды. Но здесь было другое. Как бы это объяснить? Здесь поражало не различие, а тождество. Словно в эту минуту кто-то сказал: «А и слаба же ты, жизнь! Била, била, а так и не смогла убить в этом лице

красоту». И точно, она была здесь: неизменная, тождественная самой себе, тревожная красота тех двоих — дамы и мальчика.

— Но я не об этом хотел рассказывать, не о детстве. Детство мое было довольно заурядным детством мальчика из интеллигентной, обеспеченной семьи. С боннами, гувернантками, бельми чулочками. С тремя языками. С музыкой. Совсем обыкновенное в том кругу детство, если бы не мама. Я у нее был один. Любила она меня бесконечно. И я ее. Мы всё друг другу говорили и вместе мечтали, как самые близкие друзья. Это я как-то не так рассказываю, выходит обыкновенно, а было... Ну вот. Когда я захотел стать художником, отец был против, а она всегда была за меня, больше, чем я сам.

Отец умер вскоре после революции, в восемнадцатом году, и остались мы с ней вдвоем. Время было трудное, голод. Я уже был лет семнадцати. Посещал студию изобразительных искусств — были тогда такие, и каждая с порывом к новому. Всю жизнь заново строили — и искусство тоже. Наша студия помещалась в разоренном барском особняке. Ободранные диваны, позолота. Отопление не действовало, трубы полопались. В зале, где мы работали, зимой лед стоял на полу. Чтобы согреться, мы жгли бумагу прямо на паркете. Такие дикарские костры! А какие ребята были! Голодные, оборванные, веселые, и все — пророки. Работали как одержимые. Писали красками, только красок не было. Мы делали их сами из чего придется — из сажи, из толченого кирпича, из известки... Это даже было интересно — писать такими красками. Каждая картина была как задача. Вроде как в геометрии задачи на построение: только циркулем и линейкой.

Зимой руки у нас мерзли и краски тоже. Пока разотрешь, разогрешь... Мне все это было нипочем. Я был счастлив, знаете. Молодой, способный. Возможно, даже талантливый.



Маме было труднее. Она хозяйничала, неумелая, варила в кафельной печке на лучинках кашу — ржаную, овсяную, из отрубей. Я эту кашу съедал и даже не замечал, что ем. А ведь крупу надо было достать. Мама зарабатывала: давала уроки музыки спекулянтским дочкам. А еще вещицы разные носила на базар — менять на продукты. Вещиц этих у нас очень мало осталось, потому что в самом начале у нас какой-то отряд почти все реквизировал. Вернее всего, незаконно. Помню, принесла она мне как-то раз два кусочка сахару — все в хлебных крошках. Я их съел и даже не очень заметил. А она на меня, когда я ел, так смотрела — словно молилась. Исхудала, стала такая голубая, прозрачная. Я не очень беспокоился. Я ведь и сам был худой, как уличная собака, но все у меня внутри горело.

Света, конечно, не было, по вечерам темно. Мы с мамой рано ложились спать, в валенках, в шубах, наложив на себя сверху все тряпье, какое было в доме, и тут начинались разговоры. Мы говорили в темноте без конца. О чем? Об искусстве, о его перспективах, о моих замыслах. О моем будущем. Никогда не говорили о быте, о еде, о трудностях. У нас это не было принято. В нашем доме и раньше не говорили о деньгах, например. Как-то считалось, что приличные люди об этом не говорят.

Так мы жили с ней, и я был счастлив. И вот однажды, в феврале девятнадцатого года, двадцать пятого февраля, такой сиреневый был вечер, я пришел домой из студии и нашел ее мертвой.

Он остановился и снова издал тот внутренний мычащий звук, и снова я покосилась: не плачет ли? Нет, не плачет.

— Как я тогда выжил, выдержал — объяснить не могу. Я был в отчаянии. Виноват: увлекся искусством (черт бы его взял, это искусство!), а ее, знаете, убил. Но, так или иначе, я выжил и даже в люди выбился. Но это уже потом. Сначала был на фронте, в каком-то дорожном отряде. По-

том заведовал конюшной. Вернулся в Петроград, когда уже жизнь стала полегче. И опять — искусство. В новой студии писал уже настоящими красками. А потом стукнулся в Академию художеств. Вообразите, приняли — с моим-то происхождением. Впрочем, мне везло. Работал как бешеный. Еще студентом выставлялся. Имел успех. Академию окончил с отличием. Но это все, конечно, пустяки. Вы же вот, например, не знаете, что был такой художник Галаган?

— Видите ли, я не из той среды и вообще плохо знаю живопись. Только почему вы говорите был?

— Потому что был. Посмотрите.

Он протянул над столом свои тонкие коричневые руки. В них было что-то неестественное, не совсем человеческое. Может быть, так казалось потому, что средний палец был много длинней остальных, как на орлиной лапе. И эти орлиные руки дрожали. Они буквально плясали над грязной скатертью. Чтобы их остановить, ему пришлось уцепиться за край стола. «Так вот почему, — подумала я, — он все время за что-то держится».

— Был, — повторил он — Был такой художник Галаган. Знаете, мне иногда кажется, что это не я был. Уж очень я был счастлив. Я ужасно горевал после смерти матери, но все-таки, вы понимаете, был счастлив, несмотря ни на что. Словно был приговорен к этому счастью. Все видел свои картины, которые напишу, чувствовал их — до обморока, до галлюцинации. А главное, знал, что могу их написать и напишу и что жизнь велика. Трудно поверить, но, знаете, я даже теперь по ночам иногда не сплю и вижу картины. Но теперь это очень тяжело, из-за рук.

Так вот, о чем я сейчас рассказывал? Да. Был я художником, и жил один, и был счастлив. И тут я влюбился. В первый раз в жизни. Да как влюбился! Она была жена одного моего приятеля, инженера. Звали ее Нина Анатольевна. Прекрасная женщина. Вот именно прекрасная. Большая, статная, сильная. Волосы светлые-светлые, почти бе-

лые. Обычно светлые волосы бывают мягкие, а у нее они были жесткие, густые и вьющиеся. Стояли на голове, как шлем Афины Паллады. И такого невероятного цвета! Все думали, что она красится. Она уже привыкла. Бывало, спросит кто-нибудь: «Правда ведь, вы красите волосы?» А она: «Нет, но брови и ресницы крашу». Ресницы были длинные, черные и от краски слипались лучиками.

Веселая была женщина. Голос — силы необыкновенной. Я в нее влюбился, когда она пела. Смотрю ей в рот и вижу: зубы, все до одного, белые и крепкие, как у собаки, без единой пломбы. А из-за зубов — голос. Иерихонская труба. Я просто пропал. Грудь у нее была мощная, широкая, выпуклая. Знаете, сколько кубиков она выдувала? Шесть тысяч. А мускулы какие! Представьте себе, потом, когда мы с ней уже были женаты, иной раз она меня даже била. Вам смешно: баба бьет мужика, но, честное слово, я очень это любил. Думал: бьет — значит, любит.

— А за что она вас била? Простите за нескромный вопрос.

— Ну что вы! Какая же нескромность, когда я сам вызвался вам все рассказать. Била за женщин. Знаете, мне всегда очень женщины нравились. Может быть, потому, что я с мамой вырос. Мне с ними было как-то больше по себе, чем с мужчинами. Мне почти все женщины нравились. Каждая по-своему. И я им нравился, вероятно, за то, что умел их различать. Случалось и согрешить. И всегда после этого я приходил к Нине и каялся. Она никогда не устраивала трагедий, как другие женщины: слезы там и прочее. Сердилась она, это верно. Ругалась. Иногда даже собиралась совсем уйти. А уж когда побьет, я знаю, что в душе она меня простила. Какая была женщина! Этого не расскажешь.

— Вы, кажется, говорили, что она была женой вашего приятеля? А потом — вашей? Как же это произошло?

— Знаете, я в нее сразу же влюбился и, видимо, тем ее и взял, что очень уж сильно любил. А она любила мужа.

Ну, и меня тоже полюбила. Вы не подумайте, она вовсе не была легкомысленной женщиной. Только мы с ней четыре раза женились и разводились. Выйдет она за меня замуж, и начинает ей казаться, что она того, Леню, больше любит. Уходит от меня и выходит замуж за Леню. Тогда с браками и разводами просто было. Чтобы жениться, надо было вдвоем прийти, а чтобы развестись, достаточно было заявления одного из супругов. Теперь трудно даже поверить, что была такая свобода. Доверяли людям. Так вот, моя Нина записывалась вдвоем — то со мной, то с ним, — а разводилась одна. Не мог я с ней ходить разводиться. На третий раз (кажется, на третий) я уж не захотел даже идти регистрироваться, сказал: может, просто так попробуем? А она сверкнула на меня глазами (голубые были глаза, а сверкали, как черные) да как закричит: «За кого ты меня принимаешь? Я ведь к тебе по-серьезному пришла, на всю жизнь!» И пошли записались. Мне уж было неловко перед барышнями в ЗАГСе: все нас знали и смеялись. Мелкий человек. А Нине — хоть бы что. Идет каждый раз в ЗАГС веселая, гордая, счастливая, а волосы так и сияют. А потом пройдет недели две-три, и начинает она задумываться. Думает о Лёне. Даже плачет, жалеет его. Видите ли, она так трогательно о нем говорила, что иногда я сам с ней плакал — ну не плакал буквально, а таял от жалости. Один раз даже сам сказал ей: «Иди», — и пальто подал.

— А как же это все кончилось?

— Знаете, кончилось это самым неожиданным образом. Я почувствовал, что больше не могу, и перевез к себе тещу. Тещу свою, Аделаиду Филипповну, я терпеть не мог. Должно быть, за то, что она очень была похожа на Нину, но в карикатуре. Нина — большая, полная, сильная, а теща — грузная, грубая. Голос у Нины — громкий и яркий, как фанфара. А у тещи был голос вышибалы. Меня она терпеть не могла, а Леню любила. Жила она отдельно, и я даже редко ее видел. Когда Нина ушла в третий раз, я поехал к Аде-

лаиде Филипповне и предложил ей у меня поселиться. Старуха меня просто ненавидела. Но тут почему-то согласилась и ко мне переехала. Ну и ругались мы с ней! Бранилась она куда крепче меня, как грузчик. Прожили мы с ней месяца полтора-два, и тут вернулась Нина. И, представьте себе, навсегда вернулась. Зарегистрировались мы в последний раз и больше уже не разводились. Удачно получилось у меня с тещей, как говорят — осенило. Потом я ее даже полюбил, и она меня, хотя ругались по-прежнему. Умерла она года через два, — я о ней очень жалел, вот ведь как бывает.

С Ниной мы жили хорошо. Она, я вам уже говорил, была певица, и отличная певица. Успех огромный. Всегда были у нас букеты, цветы в горшках, даже венки. Другие певицы поют только в концертах, на эстраде: боятся голос надорвать. Нина была не такая. Она везде пела: в ванной так в ванной, в кухне так в кухне. Иной раз даже на улице запоет, милиционера дразнит. А дома она всегда пела, а я рисовал или писал красками, и мне казалось, что я рисую то, что она поет. А портретов с нее я не писал, боялся.

Дома у нас порядка большого не было. Хозяйка она была никакая. Вот тут, поскольку я заговорил о хозяйстве, можно вам рассказать про Татьяну. Она потом много для нас сделала.

Татьяна эта была большая, толстая, сильная бабища, вроде каменной бабы с кургана. Лицо, впрочем, красивое — в русском духе. Гладкое, широкое, румяное, глаза с поволокой и коса до колен. Ее раскулачили, и пришлось ей с семьей бежать из деревни. Муж у нее — этакий незаметный мужичонка с насморком. Двое детей, еще маленькие: Нюра и Коля. Приехали они всей семьей в Ленинград. Конечно, без прописки — об этом и заикнуться нельзя было. Стали жить без прописки. Приткнулись в уголке за занавеской у брата Татьяниного — тоже пьяница, род занятий неопределенный. Татьяна семью кормила и брата тоже. Энергии в ней было через край. На работу, конечно,

поступить не могла — ни одной справки. Стала она, что называется, спекулировать: выстоит в магазине очередь, купит, несет на рынок, продает — конечно, с наценкой, с божеской, а то и без наценки, если покупатель по душе придется.

По этим делам она и к нам попала, по спекулятивным. Нине ее рекомендовали: все, мол, может достать. И правда. Нина любила хорошо одеться, хоть и не умела носить вещи — то запачкает, то прожжет. На мой вкус, чем проще она была одета, тем лучше. Нину не надо было украшать, она ведь очень была красивая. Кажется, я это уже говорил. Татьяна стала к нам ходить сначала как спекулянтка. А потом прижилась. Стала Нине помогать по хозяйству, приходила каждый день. Привыкли мы к ней, а она к нам.

Меня в этой Татьяне всегда поражало невозмутимое спокойствие, даже, я бы сказал, веселость. Казалось бы, какая ее жизнь? Бьется одна с детьми — муж не в счет, — в чужом городе, без прописки. Ютятся в каком-то мерзком подвале, за занавеской. В любую минуту могут дознаться, что она живет незаконно, выслать из города, а то еще хуже — арестовать за спекуляцию. Я все удивлялся: как она может быть такой безмятежной? Очень уж мне это было непонятно. Знаете, наш брат, проклятый интеллигент, родится с любовью к законности. Ему непременно надо быть прописанным, зарегистрированным, куда-то причисленным, иначе ему не жизнь. А Татьяна жила, как птица небесная. Наш брат на ее месте загрыз бы себя страхами, сам бы пошел в милицию — давайте меня, мол, куда хотите, только определите мое положение. А Татьяне ее жизнь казалась естественной, как всякая другая. Улыбалась она очень хорошо. Я ее портрет написал с косой и с улыбкой, ничего. Он потом пропал, как и всё. Нина к ней почти не ревновала, один раз только или два попало мне за Татьяну.

— Как, вы разве с Татьяной тоже?..

— Да. — Он сказал это просто, с доброй улыбкой. — Я ведь вам сказал, что мне женщины очень нравились. А Татьяна была даже очень красивая в своем роде, в своих габаритах. Главное — спокойная. Ничего лишнего не было у нее в душе.

Ну так вот, жили мы с Ниной хорошо, только детей у нас не было. В тот первый год, когда Нина уходила от меня к Лёне и обратно, она сделала два аборта, а потом как-то не получалось. Жили мы так лет пять или шесть. А в тридцать четвертом году Нина забеременела, и мы были рады. Я детей очень люблю. Ждали мы девочку Леночку. Только ничего из этого не вышло, потому что скоро началось все.

Что все? Вы понимаете, я кировского набора. Не понимаете? Да, вы же не ленинградка. «Кировским набором» у нас называли тех, кого из Ленинграда выслали в тридцать пятом году, после убийства Кирова. Сколько тогда выслали народу — никто в точности не знает. Только наверняка очень много. Многие тысячи. А нам казалось — всех. Ведь каждый из нас живет в довольно замкнутом мире, и ему кажется, что этот мир — все. Высылали, конечно, не всех, а главным образом интеллигенцию. А пуще всего — старую, потомственную интеллигенцию, с крепкими ленинградскими корнями. Рвали с корнем. Всех наших друзей выслали. И нас с Ниной — тоже. Пришли однажды ночью, отобрали паспорта, приказали через два дня выехать в Казахстан. Даже село, куда ехать, в точности обозначили. Там тогда не целина была, а сплошная дикость. Нина была беременна на восьмом месяце, и я пошел к одному — черт его знает, кто он был по должности, — от которого мы зависели, и очень просил, чтобы нам разрешили остаться до родов. Очень хорошо помню, как он меня принял. Я ему: «Ведь мы же ни в чем не виноваты». А он: «Вас никто ни в чем и не обвиняет. Вы высылаетесь в порядке массового оздоровительного мероприятия. Ничего для вас не могу сделать». А сам смеется особым таким сме-

хом, беззвучно, — знаете, как собаки смеются: открыл рот и дрожит языком. Тут я понял, что говорить ему что-нибудь бесполезно. Пошел домой, и стали мы собираться.

Татьяна нам помогала укладываться. Грустно ей было с нами расставаться, привязалась все-таки. Вот она и говорит: «А вы не поезжайте». — «Как так?» — «А очень просто, не поезжайте, и все тут». — «Так ведь у нас же паспорта взяли». — «А вы живите без паспортов. Я же вот живу».

Нет, куда там! Разве это нам было по силам? Легальность нас заедала. Собрались и поехали.

Село это в Казахстане, куда нас выслали, было даже не маленькое, но очень уж далеко отовсюду, глубоко в степях, от железной дороги километров сорок. Знаете, как может быть одиноко в степях? Я всю жизнь прожил в Ленинграде и привык чувствовать рядом море. А тут — страшно даже подумать — на тысячи километров кругом одна сухая земля. Вначале я от этого очень тосковал с непривычки.

Нас, ссыльных, в этом селе много было, человек пятьсот, и все из Ленинграда. Нашли там знакомых: Головиных, Голицыных, Геллеров. Потом оказалось, что в это село высылали только букву Г. Жить было негде, работать — тоже. Кое-как устроились мы с Ниной в избе, вернее, землянке глинобитной, вместе с хозяевами, спасибо — пустили нас. Жили мы в углу, за ситцевой занавеской, как Татьяна у брата. На другой день после приезда начались у Нины роды, раньше срока. Больница — за тридевять земель, да и везти не на чем. Верблюды там, но как-то не решился я на верблюде. Принимала у Нины одна докторша, тоже на букву Г. Нина рожала там же, за занавеской, а я выходил на двор и сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладони. Роды были трудные, двое суток. А ребенок — девочка — родился мертвым. Да.

Нина долго болела. А когда встала, начали мы с ней пытаться жить. Трудно было. Главное, ведь мы из-за легальности ехать согласились, а легальности — никакой. Никому до нас дела не было. Живи как хочешь и чем хо-



чешь, только ходи каждую неделю отмечаться в районный центр. Полное село учителей, инженеров, библиотекарей — а работы нет даже для десятка. Кое-как мы все-таки перебивались. Нина на картах гадала за хлеб. А я пробовал рисовать. Даже один раз сделал маслом портрет местного вельможи и получил за него баранью ногу.

Но все это не так страшно. Самое страшное было то, что среди нашего населения на букву Г начались уже настоящие аресты. Ночью залают собаки, так и зальются. А утром выйдешь, и говорят: того взяли, другого взяли. Очень это было страшно. Человек трус, пока уязвим, а у меня была своя уязвимость: Нина. Помню, выйдешь ночью во двор, луна светит, огромная, белая. Тень от плетня черная-черная. И слышно, как по всему селу перекликаются, лают собаки. Идут, значит. И чувствую, что на этот раз к нам идут. За нами. И так становится страшно, что думаешь: хоть бы уж скорей приходили. А собаки лают уже дальше — значит, не к нам. Утром смотришь: одного нет, другого. Шепоты. Страшнее всего эта неизвестность: за что, почему, кого? Немцы, нацисты, это очень хорошо понимали. У них такая система называлась «Nacht und Nebel» — «Ночь и туман».

И вот однажды, в одну такую ночь с собаками, я почувствовал, что больше не могу. Сойду с ума. На другой день я заявил Нине: «Мы с тобой едем в Ленинград». — «Как в Ленинград?» — «А так, очень просто. Возьмем и поедем». Она сразу согласилась, даже повеселела. Я сам-то больше колебался, во мне крепче была легальность, но я переломил легальность, и мы уехали. Добрались до станции, продали мой костюм (хорошо, Нина его сберегла) и купили билеты. Нина настояла, чтобы в мягком. Кутить так кутить!

Едем мы, значит, в мягком вагоне. Едем совсем как люди, и никто нас не знает. Все оторвано — сзади и спереди. Словно легишь куда-то. Помню, в молодости был у меня друг, тоже художник. Он говорил, что ему хотелось бы существовать, но не числиться ни в одном списке. Так вот,

мы ехали и существовали, но нас не было ни в одном списке. То есть там, позади, оставался список на букву Г, но от этого списка мы оторвались, и теперь у нас списка не было. Любопытное ощущение.

Ехал с нами в купе один военный. Высокий такой, молодой, красивый. Я его сегодня с трудом узнал. Это тот самый — наш с вами сосед. Изменился он, конечно, ведь двадцать лет прошло с хвостиком, да и посидел, но все-таки узнать можно. Вспомнили мы с ним сегодня про Нину. Она тогда ему очень понравилась. Моя Нина ведь была очень красивая, все в нее влюблялись. А тут, когда мы вырвались из списка и ехали, особенно она была хороша — веселая, как в лучшие времена, и немного пьяная от свободы. Достали они у проводницы гитару и целыми днями пели. У него голос был неплохой, а Нина — чего вы хотите — профессиональная певица. К нашему купе со всего вагона сходились — слушать.

Один раз вышел он в коридор покурить, а мы с Ниной остались в купе, и я ей говорю: «Завидно на него смотреть. Есть же такие счастливые люди! Едет он и знает, куда едет, есть у него свое место. Хозяин жизни. А мы с тобой?» Нина ничего не ответила, только по щеке потрепала. А тут он вошел, и снова начались песни.

Вечером я лег на верхней полке, а они остались внизу. Четвертое место было не занято, вот как у нас с вами. Лежу я на верхней полке и все думаю: что будем делать в Ленинграде? А они разговаривают, и слышу я этот разговор. Сначала смеялись, шутили, а потом замолчали. И вдруг, слышу, говорит он — совсем другим голосом: «А знаете, Нина Анатольевна, как мне приятно на вас с мужем смотреть? Смотрю и думаю: едут двое, молодые, красивые — хозяева жизни. А я? Не могу даже понять, кто я такой. Хочется мне все вам рассказать. Был я в отпуске и получил письмо от приятеля по работе, что на меня поступил донос и, как только я вернусь, меня сразу же арестуют. Разумеется, не всеми словами написано,

но понятно. И я решил — не возвращаться. Взял билет и поехал просто так, куда глаза глядят. И сейчас я рядом с вами еду, и вид у меня как у человека, а на самом деле меня вовсе нет. Вы этого не поймете». И тут, понимаете, он заплакал. Я тоже лежу на верхней полке, прикрывшись пальто, и, верите ли, плачу. А Нина была твердая, она не заплакала. Она только сказала ему, совсем тихо: «Мы такие же, как вы».

Пока шел рассказ, мой собеседник несколько раз наливал рюмку. Он совсем не пьянел, только становился спокойнее, и из голоса совсем пропали неприятные, заискивающие ноты. Он сидел за столом красиво и просто, как хозяин, и нравился мне все больше. Все-таки, когда он еще раз налил, я на всякий случай спросил:

— Может быть, хватит?

— А, это вы о водке, — не сразу понял он. — А я думал, о моей истории. Насчет водки вы не беспокойтесь. Я никогда не бываю пьян. Мне, если хотите, чтобы стать нормальным, нужно двести граммов, без этого я не человек. Так сказать, отрицательное опьянение.

В вагоне-ресторане было совсем тихо. Статная официантка с кружевной короной на голове несколько раз подходила узнать, не нужно ли чего еще, но нам ничего не было нужно. Наконец поняла, что ждать больше нечего, и ушла, окинув меня через плечо презрительным взглядом. Так умеют смотреть молодые женщины на тех, кто постарше. Серый пьяный за дальним столом наконец успокоился, уронив голову на руки. Мой собеседник через стол на мгновение положил свою прыгающую руку на мою — теплым, дружеским жестом.

— Вам в самом деле не надоело еще слушать?

— Нет, что вы, напротив, очень интересно.

— Какая вы милая! Так я буду продолжать. Собственно, не так много уж осталось. Приехали мы в Ленинград. Под ногами — родные камни. Хочется целовать эти камни. Денег

нет, жилья — тоже. Идти — некуда. Друзья все, как и мы, высланы. А кто и остался, того страшно подвести. И тут сразу, не сговариваясь, решили: к Татьяне. Пошли к Татьяне.

Брат ее, пьяница, жил все в том же подвальчике, только спился уже окончательно. Еле мы его растолкали. Рассказал, что сестра больше тут не живет, муж ее умер, сына взяли в армию, а дочь вышла замуж за рабочего, и теперь Татьяна, как путная, живет у дочери и даже прописана. Дал нам ее адрес.

Представьте себе, встретила нас Татьяна, как родных. Накормила, напоила, вымыла. Стали мы с ней советоваться — как быть? Она говорит: дальше будет видно, а пока что живите у меня. Я даже удивился, что она так смело говорит: «У меня», — дом-то ведь был Нюрино мужа. Но потом стало ясно, что она здесь полная хозяйка. Мальчик этот, Нюрин муж, просто в рот ей смотрел. Да и в материальном смысле она по-прежнему была глава семьи. Откуда уж она деньги добывала, чтобы кормить всех, и нас в том числе, — не знаю. Боюсь, что по-старому спекулировала.

Я, вероятно, плохо рассказываю. Вам может показаться, что Татьяна эта дурной женщиной была. Ведь спекулянтка — это, по-вашему, плохо. Значит, это я виноват перед ней, что плохо рассказываю. Татьяна была чудесный, настоящий человек. Это про нее сказал Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Ничего она не боялась, все делала просто и весело. Верите ли, пока мы с Ниной у нее жили, мы ни разу не почувствовали, что живем из милости, на ее счет.

У них в квартирке — плохонькая такая квартирка, в старом деревянном домике — был темный чулан, и она отдала его нам с Ниной. И стали мы жить у Татьяны. Мы с Ниной тоже немного зарабатывали. Она вышивала салфетки, я рисовал коврики — русалок и лебедей, — а Татьяна наши изделия продавала на рынке. Немного, но что-то выручала.

Скоро я научился так рисовать, чтобы было красиво. Ведь у нас, в сущности, вкус испорчен, а по-настоящему

красиво это то, что всякому нравится: огромные глаза, губы сердечком, лебедь на фоне зари. Татьяна этих ковриков больше бы продавала, спрос был, но боялась, как бы не дознались, где она их берет.

И так мы жили, от всех спрятавшись, два года. На улице не выходили: заметят. Увидим, что идет к Татьяне кто-нибудь, и сразу с Ниной к себе в чулан, сидим тихо-тихо. Уйдут — мы обратно. Один раз даже милиционер приходил. Только не за нами, а по Татьяниним рыночным делам. Она быстро с ним справилась, очаровала, даже водкой угостила, ушел ручной.

В общем, жить можно было, только очень скучно без книг (книг-то у Татьяны не было, я уж календари читал по многу раз) и без воздуха. Я иной раз даже задумывался: а хорошо ли сделали, что уехали? Там хоть иногда подышать удавалось.

А Нине труднее всего было — не петь. Нельзя ей было петь: соседи услышат. Иногда забудется, запоет, а я ей: «Нина, не пой». Раз она на меня так посмотрела, даже страшно. Я сразу понял, что она подумала: тебе хорошо, ты рисуешь, этого никто не слышит. А я уже совсем ничего не мог рисовать, кроме лебедей и русалок. Они даже по ночам мне снились.

Прожили мы так года два, и стал я замечать, что с Ниной что-то неладно. Прежде всего у нее изменился взгляд. Раньше был голубой такой, открытый, а стал серый, подозрительный. Раз как-то я вошел в чулан, а она от меня что-то прячет. Я все-таки увидел: это была маленькая-маленькая рубашечка, как ее называют... распашонка. Только совсем маленькая, меньше, чем на грудного ребенка. Я было обрадовался, хоть и испугался, но потом оказалось, что нет у нее никакой беременности, а это начиналась душевная болезнь. И все из-за ребенка.

Когда Леночка умерла, Нина не очень сильно горевала. Нет, вы не поймите меня плохо, она плакала, как всякая мать, но горе ее не сломило. Оставались и блеск в глазах,

и голос, и осанка. А два года в чулане — сломили. Скоро я понял, в чем дело. Достаточно было раз увидеть, как она сидела в углу и баюкала тряпичный сверток, называла Леночкой... Я все понял. А еще иногда она принималась хохотать. «Тише, Нина», — я говорил. Она умолкала и начинала рвать на себе волосы. Я их каждый день находил на нашей койке в чулане — красивые такие, блестящие локоны, — она их рвала целыми прядями. Я...

Он снова немного помычал с закрытым ртом. Я уже знала, что это ничего, нужно только переждать, и он заговорит спокойно. Он все не говорил, а я торопила его мысленно: «Ну же, ну...» Он заговорил:

— Пришлось нам с Татьяной отдать Нину в больницу. Она уже мало что понимала. Договорились, что Татьяна отведет ее и скажет, что нашла больную на улице. А я не пойду с ними, чтобы себя не выдать. Мне-то было все равно, выдам или нет, но Татьяна заботилась о ней, чтобы ей было куда вернуться, когда поправится. Я согласился. Довел Нину только до перекрестка. Первый раз я был на улице за два года. Небо такое голубое — больно глазам. На углу я поцеловал Нину. Она на меня посмотрела — и, честное слово, это был совсем осмысленный взгляд. Я смотрел, как они уходили под солнцем, она с Татьяной, и волосы у нее стояли на голове и светились. Я это на всю жизнь запомнил. Больше я Нину не видел. То есть видел один раз — в гробу.

Мы посидели и помолчали. Он не говорил, я не спрашивала. Прошло минуты две или три. Кстати, где была моя большая забота? Кажется, ее не было.

— Умерла моя Нина в больнице. Об этом я рассказывать не буду. Тогда я совершенно оступел. Мне было все равно. Я сидел в чулане и молчал. А когда кончил молчать, оказалось, что руки у меня трясутся и я даже не мог рисовать лебедей.

Татьяна меня буквально выходила. И знаете, что она сделала? Она мне купила паспорт и новое имя, устроила меня на работу. Стал я бухгалтером в одной артели. Звали

меня Иван Матвеевич Сидоркин. Никто в мою жизнь не лез. А перед самой войной я даже получил работу получше: стал референтом в научно-исследовательском институте. Устроил меня туда один знакомый, еще по старой жизни. Знал, кто я, но не испугался. Не все же трусы. В науке я ни черта не смыслил, но знал три языка и, в общем, справлялся. Жил по-прежнему у Татьяны, только был уже прописан и почти легален.

Так я жил до самого начала войны. А зимой сорок первого меня арестовали. И вот что интересно: арестовали уже под новым именем, за преступления Ивана Матвеевича Сидоркина. И, представьте себе, когда арестовали, я в каком-то смысле даже обрадовался. Это давало мне какую-то почву под ногами. Я сразу же объявил следователю свое настоящее имя. Он не поверил, решил, что я заметаю следы. Говорю ему: «Я Галаган». А он: «Не морочьте мне голову, вы Сидоркин». Сказал, разинул рот и засмеялся беззвучно, как собака. И тут я его узнал. Это был тот самый, с песьим смехом, который тогда высылал нас с Ниной. Я его узнал, а он меня — нет. Ведь таких, как мы, были тысячи. И тут я потерял над собой контроль и сказал ему: «Ах ты сволочь, сволочь! Ты думаешь — ты хозяин жизни. А ты — пес жизни». И дал ему в морду. После этого меня сильно били в тюрьме.

Приговорили меня на двадцать пять лет — значит, пожизненно. Обвинение было какое-то опереточное. Будто бы была в Ленинграде тайная организация, которая ждала прихода немцев и заранее формировала правительство. И будто бы мне предназначали портфель министра торговли. Именно «портфель». Мне было все равно, и я все подписал, только в одном пункте заупрямился. Признавал, что министр, а что торговли — нет. Требовал портфель министра по делам искусств. Они говорят: нет такого министерства. А я им: а у нас было. Ведь я же участвовал в заговоре, а не вы. Держу пари, что некоторые из них даже поверили, что выдуманый ими заговор действительно существовал! Люди вообще часто верят в заведомые фанто-

мы. А я уже ничего не боялся, смеялся над ними. Думаю — бейте, а все равно на министра торговли я не согласен. Только они больше меня не били. Спать не давали, это верно, будили среди ночи и подсовывали на подпись показания, а я не подписывал. И, вообразите, уговорил их. Дали они мне портфель министра по делам искусств. Очень это мне было приятно. Часто потом, уже в заключении, в лагере, я вспоминал, что переломил-таки их, и чувствовал себя человеком.

В заключении было не так уж плохо. Или мне лагерь такой попался, благополучный сравнительно. Другие — те страхи рассказывают. Лагерь был в Сибири, далеко от войны, и мы ее почти не чувствовали. Разве что кормить стали похуже, но все-таки сносно, просуществовать можно. Холод, конечно... Зимой было тяжело. Но вообще все это не так страшно. Страшен по-настоящему только страх. Те собачьи ночи, когда я еще был уязвим. Жили мы, заключенные, все по пятьдесят восьмой, дружно, и начальство не очень притесняло. Когда выводили нас на работу, конвойные удивлялись: все мужики, а мата нет.

Тяжело только было с «верующими». Мы так называли тех, кто верил в виновных. Они-то как рассуждали: не может быть, чтобы все это было совсем бессмысленно. Чтобы вся страна сошла с ума. Поэтому должны быть виновные. Не все, далеко не все, есть и невинные (я же вот невинен!), лес рубят — щепки летят (слышали, наверно, такую пошлую фразу), да, щепки летят, но где-то должен быть и лес. А на самом деле все мы были щепки, а лесу вовсе не было. Я, по крайней мере, ни одного случая не видал. Были такие, которые брюзжали, критиковали, но ни один не был по существу против власти. Наоборот, все были за. И даже озлобленных, таких, чтобы через меру, не видел. Все-таки святая она, наша российская интеллигенция.

Ну, что же вам дальше рассказать? В сущности, я уже кончил. В пятьдесят четвертом меня освободили, в пятьдесят шестом — реабилитировали. Прописку дали в Ленингра-



де и даже компенсацию денежную за сколько-то времени.

А того, с песьим смехом, я еще раз видел. Меня вызывали давать против него показания. Я ведь из всего нашего «совета министров» один-единственный жив остался. Видел я его. Облинял он сильно и не смеялся. Не стал я его гробить, не сказал про то, что меня били. И тс, сказать по совести, я же его первый ударил.

Вот, кажется, я вам все и рассказал. Вы меня давеча спросили: кто я? А я и сам не знаю. Поселился я в Ленинграде у Нюры — Татьянина дочка, помните? Татьяна сама умерла в блокаду, Нюрин муж на войне погиб, она сошлась с другим, а он ее бросил. Осталась она с маленьким мальчиком, Сашенькой зовут. Очень я этого мальчику полюбил. Нюра на работу ходит, а я Сашеньку нянчу. Хорошенький такой мальчуган, голубоглазый. Когда гуляю с ним, все его за моего принимают — кто за сына, кто за внука. Так и живу — у Нюры в няньках. И нисколько мне не стыдно, что я нянька. А вы спрашиваете: кто я? Сказал бы вам тогда: нянька, — вы бы не поверили.

А куда я сейчас еду? Это так, глупость одна. Деньги у меня пока есть — от компенсации остались, и захотелось мне съездить на Леночкину могилку. Посмотреть, как она там, не срыли ли. Холмик-то был совсем маленький.

Он кончил рассказывать и добавил:

— Да, хозяева жизни. Не видал я, в сущности, хозяев жизни. Разве что Татьяна. Но она не в счет. Что это за хозяйка — спекулянтка. А как вы думаете, есть ли они где-нибудь — настоящие хозяева жизни?

— Должны быть, — ответила я.

# СОДЕРЖАНИЕ

На испытаниях. <i>Повесть</i> . . . . .	5
За проходной. <i>Повесть</i> . . . . .	185
Рассказы	
Без улыбок . . . . .	231
Хозяева жизни . . . . .	271

**И. ГРЕКОВА**

## **На испытаниях**

**Повести и рассказы**

**Художественное оформление**  
**Андрей Бондаренко**

**Редактор**  
*Ольга Авилова*

**Компьютерная верстка**  
*Сергей Карпухин*

**Корректор**  
*Наталья Суздалева*

**По вопросам распространения обращаться по телефонам:**

**(095) 378-81-11**

**(095) 378-84-74**

**(095) 378-82-62**

**ООО «Издательство «Эксмо».**  
**107078, Москва, Орликов пер., д.6.**  
**Интернет/Home page — [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)**  
**Электронная почта (E-mail) — [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)**

**Подписано в печать с готовых диапозитивов 27.09.2002**  
**Формат 70x100/32. Гарнитура «Newton». Печать офсетная**  
**Усл. печ. л. 12,35. Тираж 4 000 экз. Заказ № 3267**

**Издательский Дом «Зебра Е»**  
**115597, Москва, Воронежская ул., д. 46/1, к. 77**  
**тел/факс (095) 2915934**  
**e-mail: [info@zebrae.ru](mailto:info@zebrae.ru)**

**Отпечатано с готовых диапозитивов**  
**во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»**  
**432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14**

*Любите читать?*

*Нет времени ходить по магазинам?*

*Хотите регулярно пополнять домашнюю библиотеку и при этом экономить деньги?*

**Тогда каталоги Книжного клуба "ЭКСМО" – то, что вам нужно!**



*Раз в квартал вы БЕСПЛАТНО получаете каталог с более чем 200 новинками нашего издательства!*

*Вы найдете в нем книги для детей и взрослых: классику, поэзию, детективы, фантастику, сентиментальные романы, сказки, страшилки, обучающую литературу, книги по психологии, оздоровлению, домоводству, кулинарии и многое другое!*

Чтобы получить каталог, достаточно прислать нам письмо-заявку по адресу: **101000, Москва, а/я 333.**

Телефон "горячей линии" **(095) 232-0018**

Адрес в Интернете: <http://www.eksmo.ru>

E-mail: [bookclub@eksmo.ru](mailto:bookclub@eksmo.ru)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
**ЭКСМО**

**ПРЕДСТАВЛЯЕТ**

Современная проза от  
**Александры Марининой**

“Мы попадаем в жуткую зависимость от собственных неблагоприятных поступков и от людей, которые об этом знают.

Как с этим жить? Что делать? У меня нет готового ответа.

Я пытаюсь предложить читателю подумать об этом вместе со мной”.

А. Маринина



**КНИГА ДЛЯ ТЕБЯ, КНИГА О ТЕБЕ!**

«Тот, кто знает. Опасные повороты» (в 2-х книгах)

«Тот, кто знает. Перекресток» (в 2-х книгах)

Все книги объемом 320 стр., мягкая обложка.

Книги можно заказать по почте:

101000, Москва, а/я 333. Книжный клуб «ЭКСМО»

Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>



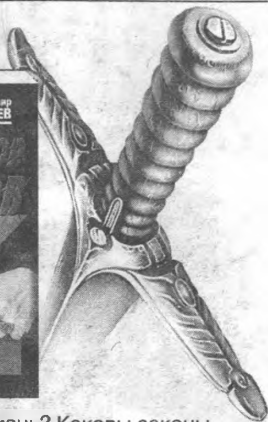
издательство

**ЭКСМО**

**ПРЕДСТАВЛЯЕТ**

Собрание сочинений

# ВЛАДИМИРА КОЛЫЧЕВА



Как становятся  
бандитами?

Так ли проста и романтична их жизнь? Каковы законы  
преступного мира? Почему одним зона – дом родной, а  
другим – испытание хуже смерти?

## **НОВИНКИ ЛЕТА – 2002:**

**«Ликвидатор паханов»  
«Брат за брата»**

Все книги объемом 320-400 стр., мягкая обложка.

**Книги можно заказать по почте:**

101000, Москва, а/я 333. Книжный клуб «ЭКСМО»

Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
**ЭКСМО**

ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
МАЗСТРО КРИМИНАЛЬНОЙ ИНТРИГИ

# АНДРЕЯ ИЛЬИНА

И один в поле  
ВОИН!



**БЕСТСЕЛЛЕРЫ ЛЕТА – 2002:**

“Боец невидимого фронта”

“Маска резидента”

“Миссия выполнима”

Все книги объемом 320-400 стр., мягкая обложка.

Книги можно заказать по почте:

101000, Москва, а/я 333. Книжный клуб «ЭКСМО»

Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>

и.грекова

# На испытаньях

новеллы, рассказы



9 795895 170648



И. Грекова – псевдоним Елены Сергеевны Зенициной (1906–2002).

Почетный член Академии наук СССР, профессор, автор знаменитого учебника по теории вероятностей, вопреки всем советским литературным табулам о рангах, на долгие годы стала культовым писателем русской интеллигенции.

Книга «На испытаньях» (1967) посвящена годам, которые в не лучшие для страны годы (действие происходит летом 1952-го года) сохраняют не только врожденную интеллигентность, но и мужество быть собой. «Производительный» роман о войне превращается у И. Грековой в романтическую новеллу со сложной драматургией характеров, судеб и мнений.